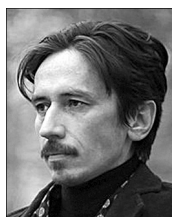


ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

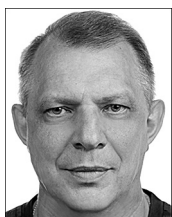
НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 (6 3) / 2 0 2 5



РУСТАМ
МАВЛИХАНОВ
САЛАВАТ

12



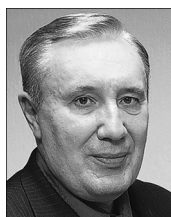
АНДРЕЙ
ПУЧКОВ
СОСНОВОБОРСК
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

31



НАТАЛЬЯ
ВЕСЕЛОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

40



АНДРЕЙ
ШАЦКОВ
МОСКВА, РУЗА

56



БОРИС
ЛУКИН
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

62



ЕВГЕНИЙ
СТЕПАНОВ
БЫКОВО
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

66



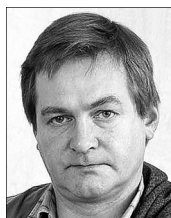
ЭВЕЛИНА
АЗАЕВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

95



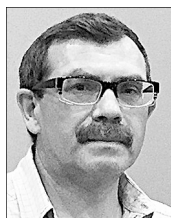
ДМИТРИЙ
УНЖАКОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

127



ОЛЕГ
ЗАХАРОВ
КСТОВО

134



ПАВЕЛ
БАСИНСКИЙ
МОСКВА

138



ПЕТР
РОДИН
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

165



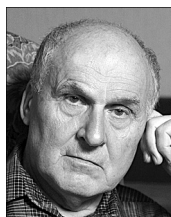
НИКОЛАЙ
БЕНЕДИКТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

167



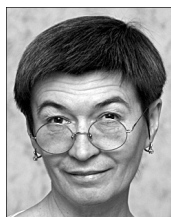
ИГОРЬ
ВИРАБОВ
МОСКВА

178



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

202



ТАТЬЯНА
КРИНИЦКАЯ
САРОВ

233

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Роман ПАРАМОНОВ	
СОБЕСЕДОВАНИЕ	4
Марина СОЛОВЬЕВА	
ДВАЖДЫ СПАСЕННЫЙ	7
Рустам МАВЛИХАНОВ	
СВОИ	12
ЛЮБОВЬ ЦВЕТА ЗАКАТА	16
Елена ГОФМАН	
Из цикла «ЧЁТКИ»	20
Андрей ПУЧКОВ	
КРОВЬ И КРАПИВА	31
Наталья ВЕСЕЛОВА	
ДОГНАТЬ ЛУНУ	40
Виктор ШАПКИН	
ДОНДИК	51

Поэзия

Андрей ШАЦКОВ	
Я ЖДАЛ ТВОЁ МЕРЦАНИЕ ЗАРНИЦ....	56
Борис ЛУКИН	
А СЫНУ ДО СИХ ПОР СМОТРЮ В ГЛАЗА....	62
Евгений СТЕПАНОВ	
ИДУ И ПОЮ	66

Проза

Дмитрий КОРЧАГИН	
ЮБИЛЕЙ СВЕТСКОЙ ЛЬВИЦЫ	69
Эвелина АЗАЕВА	
НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ	95
Анатолий САХОНЕНКО	
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК	106
Юлия АЛЕКСАНДРОВА	
ПУСТЫРЬ	115
Дмитрий ИГНАТОВ	
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ	118
Татьяна АКИЛОВА	
СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ	123
МИНИАТЮРЫ О ПРИРОДЕ	125

Поэзия

Дмитрий УНЖАКОВ	
БЕЗДОМНЫЙ ОГОНЬ	127

Константин КОМАРОВ	
ОСТАВАЙСЯ ЗДЕСЬ	131
Олег ЗАХАРОВ	
ЧТОБ ЛЕРМОНТОВ В ГРОБУ ПЕРЕВОРА...	134

Почва и судьба

Павел БАСИНСКИЙ	
КОТОЧКА: ОРЛОВСКОЕ ДЕТСТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА	138

Стихи по кругу

Юлия РУБИНШТЕЙН	157
Анатолий ГЛАДЫШЕВ	158
Егор ПЕРЦЕВ	159
Анна РЕТЕЮМ.	160
Владимир ПЕСКОВ.	161
Екатерина ГРУШИХИНА	162
Аниэтэс РУДМАН	163
Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА	164
Петр РОДИН	165
Иван УДАЛЬЦОВ	165
Юрий ЕРМОЛАЕВ	166

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ	
«ЭТРУССКОЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ»?	
О пропавших веках русской истории	167
Игорь ВИРАБОВ	
ЭВАКУАЦИЯ В ТАШКЕНТ	178

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ	
ЛОЯЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ ТРИФОНОВ.	202
Вера СЫТНИК	
ЧАЙКА. С РЕВОЛЮЦИЕЙ ПОЛЁТ	221
Дмитрий АНИКИН	
ПЯСТ. КОШМАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК	228

Литпроцесс

Татьяна КРИНИЦКАЯ	
ОХ КАК НЕПРОСТ ПРОСТОЙ МУЖИК ОПАРИН!	
О рассказе Елены Крюковой «Последний конь»	233
Михаил СТРИГИН	
ОТЦЫ И ДЕТИ. РЕАЛЬНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ	
Анна Теплицкая. Роман «Все их деньги»	236

Роман ПАРАМОНОВ

Родился в 1987 года в Брянске. Окончил Московский университет культуры и искусств по специальности «Информатик (менеджер) в информационном бизнесе». Работает ведущим методологом в IT-компании.

Публиковался в журнале «Нижний Новгород», на интернет-ресурсах. Участник Слета молодых писателей в Барнауле, Слета молодых литераторов в Большом Болдине.

Живет в Королеве.

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Мне надо тогда начать издалека. У вас есть время? Отлично! Частичную мобилизацию, как и многие мужчины, принял с определенной долей тревоги. Это же объяснимо. У нас такого не было со времен Великой Отечественной войны. А тут под пули, мины, холод, окопы, грязь, смерть...

Я не являюсь элитным членом клуба «Верхний Ларс», за мной нет шлейфа популярности и тонны подписчиков. Я люблю Родину. Здорово, без лобызаний в десны. Вот еще недавно свирепствовал ковид, я был ярым противником вакцинации и свою позицию не скрывал. Так и говорил: «Родина, ты не права!» Зачем запрещать, стращать и так далее?

Мне на момент частичной мобилизации было 35. В армии не служил. Нет, я не покупал военник. Все согласно закону. Сначала технарь, затем университет, а после аспирантура. Как раз в 27 и закончил. Я кандидат педагогических наук, преподаю. Понимал, что с большей долей вероятности не призовут, но все равно было страшно. Я долго думал, что делать буду?! Понял, что, если Родина позовет, – пойду. Бегать, скрываться точно не стану. Тошно потом будет жить. Как людям смотреть в глаза? Пронесло с повесткой...

Ужасно волнуюсь – глоток воды сделаю... С момента начала спецоперации я не был амебой какой-то. Следил активно за фронтом, подписался на несколько военных телеграм-каналов, причем отбирал их с учетом того, что много ципсошных каналов есть, даже деньги переводил пацанам какие-то. Когда мы взяли Бахмут, такая гордость взяла за страну, за тех простых парней, штурмовиков, которые еще вчера работали официантами, курьерами, менеджерами, в конце концов. Дядя Женя стал просто своим, родным человеком. Хлесткий, но четкий мужик, правдоруб. На Руси всегда таким было сложно.

И тогда задумался, а почему я не там? С «оркестром». Ведь сколько обьяв по городу висело. Звони, иди. И тут понял. А ведь я трус и эгоист! Стыдно признаться, но боюсь за собственную жизнь. За свою никчемную жизнь. Я видел гниющие трупы солдат, мне не хотелось становиться «мясом», чтобы меня вот так же разворотило, попасть под шальную пулю. Наверное... да нет, точно не смог бы подорвать себя, дабы не попасть в плен. На это нужно мужество. Нужно быть воином. Жить вечно. Не умею.

Да и оружие толком держать не умею. У меня тремор, повышенная потливость, давление скачет, как сайгак. Какой из меня, в самом деле, штурмовик? Дрался всего лишь два раза в жизни. Один раз мне по морде пьяный амбал заехал, второй раз я заступился за девушку, удалось повалить нахала.

Знаю, как это выглядит со стороны. Оправдание собственной трусости и ничтожности...

Извините, забыл отключить звук. Какой-то незнакомый номер. Спам. Задолбали! А ведь в тылу все далеко неоднозначно. Как только все началось – такое говно посыпалось, страшно подумать было, что такое могло случиться когда-то. Множество знакомых сразу сказали: «Вы – уроды! Напали на Украину! Орки». И им нельзя было доказать обратное. Почему началось, как. Уроды, и все. И кастрюлю на голову. Так и хотелось сказать: раз ты так ненавидишь эту Родину – вали! Иди к хохлам! Воюй. Так нет же, будет ненавидеть из собственной квартиры с полным холодильником. Вот что западные ценности с человеком делают-то! Некоторые открыто стали бандеровцев поддерживать, поменяли фамилию, имя в соцсетях и шпарят фейки. Тьфу, противно.

Но здесь понятно, кто враг. А есть же еще категория неопределившихся. Есть те, кто просто ссыт высказаться, мало ли чего? Не так поймут, не так поглядят, не одобряют, не примут. Это те, которые не посмотрят и нож в спину воткнут и даже не поморщатся, главное, чтобы потом было хорошо. Слепо по головам пойдут. А есть неопределившиеся, которые по ряду причин просто не интересовались войной и не знают, что там творится на самом деле и из-за чего всего сыр-бор. Им трудно чью-то сторону принять. Таких я тоже не понимаю.

А есть молчуны. Они против однозначно, за спиной осуждают спецоперацию, именно потому, что лишились колы, бургеров, мерседесов, айфонов, поездки в Париж, теперь только грязная Анапа. Для них комфорт превыше всего. Мало встречал, кто открыто выражает позицию – за. Увы.

Я всегда в таких случаях говорил, ты можешь не любить нынешнюю власть, я тоже ее не шибко люблю, но ты должен желать победы Родине, потому что если она проиграет – ты вместе с ней, а что делают с проигравшими, обьяснять не нужно.

Что-то не туда разговор ушел... Вдобавок скажу, что я украинцев не ненавижу. По сути, у нас гражданская война идет. Мне их жаль. Очень. Они загуманены, запуганы, загнаны. У меня ведь бабушка в Черниговской области по отчиму была. В начале войны мы предложили ей переехать сюда, в Россию, возможность была. Наши войска стояли в том городе, но она долго не решалась, благодарила нас за поддержку, а когда все-таки решилась – уже было поздно. Возможность пропала. А затем она вообще стала нас обвинять, что мы оккупанты... А затем исчезла из поля зрения, а потом нам сказали, что у нее случился инсульт и перед смертью звала отчима. Отчим до сих пор не может приехать на могилу...

Сушняк. Извините, еще раз глотну. Идти на войну – значит стать другим человеком. Она меняет сильно. Не могу представить насколько, я гражданский, но, возможно, это как в купель нырнуть – выныриваешь совершенно другим. Вся желчь уходит, все человеческие качества обнажаются до невероятных размеров. Психика ломается – видеть сослуживца, с которым ты только что пил чай, а затем видеть его оторванные конечности – это непередаваемо. Повсюду же взрывы, смерть, к этому никогда, мне кажется, не привыкнуть, только смириться. Каждый день в бой, как в последний. Контуженый, с потерянной рукой, ногой...

Родина правильно делает, что поддерживает своих воинов. Вот льготы все различные предоставляет и для семьи тоже. Здесь, в тылу, порой дико слышать фразу: «Ну вот, опять блатной. Батя типа на СВО был, сыночка без экзаменов в универ теперь зачислят. Знаем мы эти СВО. Алкаш». Окститесь, люди! Хочется верить, что поменяется что-то в тылу.

А эти, мигранты? Смотришь ролик и понимаешь, насколько эти работники высокопрофессиональные, мля, тебя ненавидят. Просто за то, что ты здесь на своей земле. Повторюсь, на своей, мать вашу, земле.

С годами сентиментальным стал. Попадают на глаза видео, где отцы возвращаются с фронта к своим матерям, детям, супругам... Плачешь, как мальчишка, это слезы радости. Вот он живой, приехал, и как он нужен своей семье... А сколько осталось лежать в сырой земле..?

Знаете, отношение женщины к мужчине можно понять по ее телефонной книге. Сначала ты «любимый», затем просто «Коля» и на финише – «папа ребенка». У меня есть сын. Очень его люблю. Но я никудышный муж да и отец неважный. Много работаю, свободное время провожу с любовницей. Я так бегу от трудностей. Даже в семье у нас разногласия относительно спецоперации. Она больше склоняется к нейтральной позиции. А как увидела про набор добровольцев на фронт, так сразу же надо мной стала подтрунивать: «Может, ты сва-лишь? Деньги поднимешь!» Это неприятно, но я отшучивался.

Все, заканчиваю. По глазам вижу, устали от моего рассказа. Нет, не подумайте, я иду к вам не из-за несчастной любви, хотя она присутствует. Иду ради себя, чтобы понять, насколько хватит моей человечности, смелости. Ведь не конченный же еще мудака! Или конченный? Да и в конце концов, Родину иду защищать, ей нужны люди – а это немало.

Я бросил работу и вот тут у вас. Размышлял так: штурмовиком – боязно, танкистом – не справлюсь, паника у меня в замкнутых пространствах, разведчиком – не умею. А с различными квадрокоптерами дело имел, поэтому и выбрал специальность – оператор БПЛА. Тут, надеюсь, вам пригожусь.

Служу России!

Марина СОЛОВЬЕВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт и всю жизнь работает врачом – дерматовенерологом, онкологом, лазерным хирургом.

Автор романов «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет», «Время неискушенных», сборника рассказов «Разные двери». Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Север», «Подъем», «Бельские просторы», «Традиции и авангард», «Русская мысль» (Париж), «Наш современник» и других. Переведена на китайский язык и опубликована в русско-китайском сборнике «Хочу в семью» (2023).

Финалист премий «Гипертекст», «Болдинская осень», им. Левитова, «Петроглиф», «ЭтноПеро», «Современный российский рассказ», форума-фестиваля «Капитан Грей»; Международного литературного конкурса «Данко», литературного конкурса им. Курбатова, лауреат I открытого межрегионального литературного конкурса имени Алексея Пичкова «Снежные дали», международной литературной премии им. М.В. Исаковского.

Живет в Нижнем Новгороде.

ДВАЖДЫ СПАСЕННЫЙ

Я шла непривычно чистыми дорожками зимнего кладбища, выискивая глазами крепкий дубовый крест с большой фотографией. Вон от той старой запорошенной ели два раза свернуть направо. Перед Новым годом здесь по-особенному безлюдно и немного жутковато. 31 декабря. День рождения бабушки.

Наползали сумерки. У соседней оградки, сгорбившись, стояла женщина в белой норковой шубе, темном пуховом платке и огромных валенках. Лица ее не было видно, но такое несоответствие старомодного платка, по-старушечьи завязанного назад, опавших плеч, сутулой спины и этой элегантной шубы поневоле бросалось в глаза. У ног стояла потертая, но еще крепкая пузатая хозяйственная сумка.

– Снега в этом году мало, пробираться несложно! – она повернулась ко мне и попыталась улыбнуться.

Женщина не была старой, как мне показалось со спины. Лет пятьдесят пять, максимум шестьдесят, не больше. Ее открытое бледное лицо можно было назвать интересным, но из-за отсутствия красок оно походило на безжизненное полотно, на котором выделялись только темные смородиновые глаза.

– Еще и дорожки почистили, – ответила я, чтобы не молчать, и шагнула к могиле.

– Бабушка ваша?.. А я ведь знала ее. Известная в городе акушер-гинеколог была...

...этот день всегда справляли шумно и весело, начиная праздновать прямо с утра. Так было заведено, потому что вечер уже принадлежал Новому году. Угораздило же нашу Елизавету Петровну так родиться! Но была своя прелесть, и особенность этого дня сформировала важную семейную традицию. Ближе к ночи мы могли разбежаться по своим компаниям, но день принадлежал бабушке. Иногда вздыхали и сетовали на катастрофическую нехватку времени, бубнили, что пора бы перенести этот день рождения на потом, но спорить было бесполезно. Даже обсуждать эти крамольные мысли бабушка не хотела. И каждый раз, отбросив все дела, семья неизменно собиралась за столом, поздравить нашу дорогую Елизавету Петровну и вместе проводить старый год. Всем руководила сама именинница. Стол всегда был накрыт к приходу гостей и выглядел безупречно. Все продумано до мелочей: от толстых новогодних свечей в глянцевых разноцветных стаканчиках и салфеток с Дедом Морозом до вкуснейших кулинарных изысков. В свой день бабушка бывала в ударе. Юморная от природы, в праздник она просто отжигала, заражая всех весельем. Казалось, так будет всегда. По-другому просто невозможно! Она умерла два года назад накануне своего юбилея, в радостной суете и предвкушении большого события. Присела на табуретку передохнуть, и сердце остановилось. Это нас всех ошарашило. Сразу все изменилось. Мы осиротели без этих новогодних утренников, а приближение заветной даты теперь вводило в ступор. Я стала ездить на кладбище, не в день смерти, а в день рождения. Оставалось впечатление как от общения с близким человеком.

– Если б не ее помощь, не родился бы мой сыночек! – по лицу женщины промелькнула тень улыбки, связанной с воспоминаниями.

– Да, это она, наша Елизавета Петровна. Всю жизнь в роддоме работала, заведовала отделением. Из ее новорожденных мог бы целый город получиться! Причем все самые сложные случаи попадали именно к ней.

– Вот-вот! И мы с Николашей ей достались. Долгая история, я почти смирилась: детей никогда не будет. А муж до последнего надеялся. И вдруг – такая радость! Ребеночка Бог послал. Поначалу даже верить в это чудо боялись. Мне уже под сорок было. Не все гладко протекало, пришлось в больнице полежать. Там я с вашей бабушкой и познакомилась. Благодаря ее назначениям и получилось выносить ребенка. Но дальше снова проблемы. Роды начались внезапно, отслойка плаценты и кровотечение. На счастье, в этот день дежурила Елизавета Петровна. Меня без промедления отвезли в операционную и сделали кесарево. Бабушка ваша оперировала. Сказать, как я ей благодарна – ничего не сказать. Это она подарила мне счастье быть матерью, – женщина умолкла. – Летом можно уже и памятник поставить.

С большой фотографии мне улыбался молодой парень в светлых куртках с веселыми чуть прищуренными глазами, похожий на свою мать.

– Это же он, сыночек ваш?

В ответ она только кивнула, шмыгнув в комок носового платка.

– Надо же, лежат теперь рядом ваша бабушка и мой Николаша. С первого вздоха и здесь вместе. Удивительны дела твои, Господи!

– И что же случилось? – осторожно произнесла я после паузы.

– С того момента, как сын родился, вся наша жизнь закружилась вокруг него. Я с работы ушла, чтобы точно знать, как он кушает, спит, с кем и сколько времени гуляет. Как с ума сошла, детские вещи скупала чемоданами, развивала его сама, по специальным книжкам. Садик исключила с самого начала. На прививки не водила, боялась, подцепит какую-нибудь заразу. Вызывала врача частного центра на дом. В детской поликлинике все меня знали и старались не связываться. Всю жизнь подчинила нашему кудрявому солнышку. Светлому ребенку. Такой он смысленный был, такой хорошенький. Не хотела его и в школу отдавать, договорилась уже об индивидуальном обучении, но тут муж взбунтовался. Как посмотрел на меня, как выговорил: любому человеку необходим социум, а уж ребенку... Пришлось подчиниться. Наверно, прав он был. Я тогда обнаружила, что у Николаши общение со сверстниками началось только со школы. Он погрузился в новую жизнь, и каждый вечер взахлеб рассказывал мне свои новости. Это было время открытий. Друзья появились, хорошие мальчишки – Валик и Павлик. Я все сделала, чтобы они как можно больше времени у нас дома проводили. Когда на глазах, как-то спокойнее. Так они и дружили до самого конца.

– Он 31 декабря умер? Поэтому вы тут сегодня? – я всматривалась в заледеневшую табличку с датами рождения и смерти.

– Да нет... Прихожу сюда к нему Новый год справлять. Любимый праздник Николаши. С детства. Не могу же я его одного в такой день оставить, – женщина присела на скамеечку и вытянула ноги в больших несурзных валенках. – Я и в прошлом году с ним тут была. Разговаривали всю ночь. Ну, я говорила, а он слушал. Свечки зажгла, вкусностей принесла, елочку маленькую с игрушками поставила. Его любимую.

– Неужели не страшно? Ночью, одной, на кладбище?

– А кого мне бояться? Да и не одна, с сыном. Я и в этот раз целую сумку наготовила, все, что любил мой мальчик, принесла.

– Как вас только муж отпускает?... И почему он не с вами?

– Мы расстались после смерти сына. Муж всегда называл меня сумасшедшей матерью. Сначала в шутку, потом всерьез. Он считал, излишняя забота о ребенке ему только вредит. Доказывал абсурдность моего поведения. Но все было бесполезно. Когда Николаши не стало, я предложила развестись. Он отказался, но ушел жить к своей матери. Правильно сделал. Что ушел – правильно. Не смогли бы мы дальше вместе... Давайте помянем вашу бабушку и моего сыночка!

Женщина смахнула снег с лавочки, постелила яркую новогоднюю скатерку, достала из сумки фляжку с коньяком, бутерброды с красной икрой. Я присела напротив, наблюдая, как она зажигает свечу в красном стаканчике и ставит рядом с фотографией сына.

– Бабушка тоже любила украшать новогодний стол свечами в разноцветном стекле! Меня, кстати, Наташей зовут.

– Я Маргарита.

Женщина наполнила две рюмочки коньяком и покрыла их бутербродами с икрой. Потом налила нам.

– Так забавно, Николаша в детстве называл их бутербродами с шариками и очень любил. А под ёлочку всегда Деду Морозу машинку заказывал. Обязательно – джип. Получилась целая коллекция,

мы ее новогодней называли. И когда вырос, мечты не поменялись. О джипах мог рассказывать бесконечно. Все эти разговоры заканчивал одинаково: «Дождусь ли я своего джипа?» И обязательно хитро подмигивал.

Я засмотрелась на разгоревшуюся свечу. В сумраке огонь немного подрагивал, становился то ярче, то будто затухал. По портрету гуляли тени от языков пламени,

– Пока горит свеча, кажется, мальчик мой живой, смотрит на меня и улыбается.

Мы выпили, не чокаясь. Коньяк сразу согрел.

– Расскажите, что было дальше?

– Николаша поступил в престижный вуз. Все силы мы кинули на подготовку к ЕГЭ и репетиторов. Ему казалось, он самое важное дело своей жизни совершил, чувствовал себя героем. Не понимал, что в институте надо еще и учиться. Первую же сессию с треском провалил. Я об этом узнала, только когда повестка из военкомата прилетела. СВО в разгаре. Подняла все связи, бегала по врачам. В детстве у сына аллергия была с кожными проявлениями, в карточке поликлиники отражено. А с возрастом все исчезло. Анализы как у космонавта. И сделать ничего нельзя. В итоге помогли. В больнице сыну сделали эту фибро... фибро-гис...

– Фиброгастроскопию? – подсказала я.

– Да, вот её. Отщипнули в желудке кусочек слизистой, а потом научили раздражающее попить, ну, чтобы язва получилась. На освидетельствовании допризывников «язву» зафиксировали. После этого муж впервые в жизни перестал со мной разговаривать. Николай тоже был расстроен. Друзья не поняли и не поддерживали. Зачем только им рассказал?! Валька ушел в армию первым, бредил профессией военного и планировал через год поступать в училище, говорил, так это сделать проще. А Павлик вообще отчудил, подал заявление на службу по контракту. Дети же еще совсем! Все доблестные истории про войну только из фильмов и знали, но отчаянно хотели проявить себя. И сын туда же, все мои доводы отвергал, тоже рвался Родину защищать. Провожали всем классом сначала Вальку, а потом Павлика. Мальчишки ушли в неизвестность, а Николаша остался со мной. Дома, в безопасности.

– Хотели оградить его, спасти?

– Хотела, еще как хотела!.. Через неделю пьяный водитель большого джипа не справился с управлением. Въехал прямо в остановку, полную людей. Один погибший. Мой сын... Дождался своего джипа. Как раз в больницу ехал, забрать акты для военкомата...

Моя собеседница надолго замолчала. В тишине мы выпили еще по стопке. Поднялся ветер, и стало выюжить. Пора возвращаться. Я медленно поднялась.

– Удачи вам! И спасибо, что выслушали. Бог даст, еще увидимся! – Маргарита подняла свои темные глаза и грустно улыбнулась. – Подстелила сыну соломку. А он упал. Только не туда, мимо... Ребята, друзья Николаши, мне пишут, с праздниками поздравляют. Все хорошо у них, живы, здоровы. Валентин, как мечтал, после года армии в военное поступил. А Павлик по-прежнему на СВО. Недавно в отпуск приезжал, ко мне забегал. Изменился, конечно. Уже не мальчик, даже взгляд другой. Хлебнул испытаний, в госпитале с ранением долго провалялся. И вот опять к своим поехал...

* * *

Меня долго не отпускала та странная встреча. Я не пыталась установить окончательную истину, однако снова и снова мысленно возвращалась к своей случайной знакомой. Через год, собираясь к бабушке на кладбище, я положила в сумку бутылочку коньяка, маленькие рюмки и две толстые свечи в цветных стаканах. Сунула в пластиковый контейнер бутерброды с красной икрой.

Я шла по слегка заметенной дорожке, издалека высматривая фигуру в белой шубе. Но никого не было видно. Подошла ближе. Там, где раньше стояла скамейка, теперь возвышался свежий холмик, украшенный цветами. С большой фотографии на новом деревянном кресте смородиновыми глазами смотрела красивая Маргарита.

Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Поставив на могилы три рюмки с коньяком, я положила на них бутерброды и зажгла свечи.

Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изысканная словесность», «Лифт», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

СВОИ

Это был её шанс. Ничтожный, фантастический, но шанс. Какой выпадает раз в несколько жизней. Если местные ламы не врут.

Сретенск – место, где встречаются железная, кровавая дорога и чистая река, городишко, зажатый меж сопок, – разгорался с окраин. Огонь медленно подступал к десятку «дворцов» провинциальных нуворишей и нелепой одинокой триумфальной арке – сюда когда-то, вечность назад, изволили припереться наследник престола. Обыватели прятались по погребам, обороняющиеся стягивались к пристани, на которой не оказалось парохода, обещанного местным промышленником. Впрочем, он уже висел на своих воротах – между вензелей и уточек.

Окраины огрызались. Зло плевали пушки белых казаков с сопок, отчаянно стрекотал пулемёт у депо. Безнадёжно. Было бы дело где-нибудь на Волге, там ещё, может, и пощадили бы – там красных лишь ставили к стенке или топили на баржах. Но тут расправа была по-даурски суровой. Тем более над своими, над красными казаками – без пролития крови, с перерезанными сухожилиями, вниз головой: «бешеный барон» был мистиком, «предателей России» вешал как на XII аркане Таро. А семёновцы ещё и кишки выпустят.

И вот теперь напротив Али сидел шанс. Ничтожный. Который можно даже не принимать во внимание. Надёжней застрелиться.

Дурак Андоверов! Говорили же ему: собери своих, отобьёмся, уйдём по Шилке в Китай, а там – православные направо, ваши – налево! Их же полно – тут, в Сретенске, чуть ли не вторая черта оседлости. Ссылные. Как рассказывал ей муж, там, в западной черте оседлости, у них ни денег, ни оружия отбиться от погромщиков. Вот они и старались попасть в ссылку, во «внутреннюю эмиграцию» – здесь ружьё у каждого: тайга! А в тайге – золото.

Отбились бы. Хотя как, но отбились. Но нет, упёрся, куркуль, с краснопузыми-де дела не вожу, свои люди, сочтёмся. Золотом счесться хотел, дурак. А теперь атаман будет их крестить – «или огнём, или водой». Им повезёт, если водой – хоть не заживо гореть.

Могла ли знать дочь самарского юриста, сколько огня и воды принесёт ей любовь. Муж заразил её интересом к Востоку, она выучила японский и монгольский, и когда его ссылали в Сибирь – без раздумий, как в ангарскую прорубь головой, поехала с ним. Заре своей жизни навстречу. Первые три года – огонь в печурке, пара картофелин на ужин, шаль на плечах, зябнувшие пальцы, которые он отогревал своим дыханием. Потом, после конца срока, – ночные костры в экспедициях, израненные руки в бамбуковых джунглях Сахалина, амурские мари, соляные топи Барун-Торея, тигриный рык, отзывающийся вибрацией в животе, реки, закипающие нерестящейся кетой, а по утрам – синие моря полубезымянных хребтов до самого края мира.

Когда мир превратился в войну, муж сделал свой выбор: и потому, что как исследователь и путешественник был скорее социалистом, и потому, что сочувствовал туземцам, цинично спаиваемым местными «рачительными хозяевами» – перекупщиками пушнины. Он понимал их: самогоном платить экономней. Но не принимал.

А война загнала их в Сретенск. Место сретения жизни и смерти.

Где она встретила свой шанс. Своё зеркало. Несостоявшуюся подругу. Такую же, как она, закинутую любовью к чёрту на кулички – или к дьяволу в печень. Аля ещё раз перечитала документ: «Анна Пакшина. Фельдшер 3-го класса медицинской службы императорского флота». Рост, вес, цвет глаз, возраст – всё совпадало. Цвет волос отличался, но сейчас тиф гуляет – все выбриты налысо. А в остальном – почти копия. Русские отличат сразу, но фотокарточки к документу не прилагается, а для японцев мы все на одно лицо. Может, «муж» Анны и отличил бы, но вон он – лежит в углу двора без головы и без мундира: очередной безвестный «китаец», каких тысячи сгинуло в русской гражданской войне.

Уроженка Барнаула, жила во Владивостоке, потом в Харбине... Допрашивать Анну было легко: в её глазах читалось настолько лютное, чуть ли не животное желание жить, что даже не пришлось бить – достаточно было направить маузер в лоб. В 1910-м, во время маньчжурского мора, работала в противочумном отряде Марии Лебедевой. После гибели врача («надо же, в 35 лет – как нам с ней сейчас») завербовалась к японцам, славившимся жестоким карантинном, – на большую землю было не выбраться. Барон Китасато Сибасабура, глава японского отряда, взял Анну под крыло: санитары вымирали целыми госпиталями, и лишние руки были в цене. На международной конференции эпидемиологов в Мукдене (подумать только: врачи со всего мира поехали в брюхо к самой Чуме!) познакомилась с лейтенантом медицинской службы флота. Влюбилась, он стал её содержать и всюду возить с собой: Токио, Гонконг, десант на германских островах в Тихом океане, интервенция в Россию. И вот – Сретенск. Конец карьеры.

Попались они глупо: занимались любовью в вагоне, когда на станцию накатили красные. Любовь была, похоже, в японском стиле – с игровым насилием – и кончилась по-японски:

– Прости, Рюкити, – сказала Аня, приставив к его голове наган с одним патроном, – но жизнь я люблю больше.

– Это хорошо, что любит, – прокомментировал Але муж, сравнивая женщин. – Как там... жизнью жизнь поправ? Жить – это чудно. И чудно, – добавил он, отсекая голову японцу: чтобы не опознали.

Теперь выбирать предстояло Але... Надёжней бы пулю – вот сюда, в ямку над ключицей, сверху вниз, в сердце – не обезобразить грудь.

Остаться красивой навсегда. Но... он завещал: «Прощай, товарищ жена. Выберешься – помнишь ту ступу на перешейке между Зун и Барун Торейями, где нас лама обвенчал? Я там у деревца – оно одно, не ошибёшься, – закопал свои заметки. Попытайся забрать их. Когда всё успокоится. Сильно не рискуй».

Значит, так тому и быть.

А медицину подучит. Хотя бы в память об этой, напротив, на которую пора перестать смотреть как на человека. Потому что напротив – зеркало. А у женщины нет врага ближе, чем зеркало.

– Иди, – махнула Аля.

– Куда? – трясущимися губами, сухим горлом спросила Аня.

– Туда, – Аля кивнула на дверь. – Ты же хотела жить?

– А... – исподлобья взглянула Аня. – А... а моя одежда? – кивнула она на полевую форму.

– Времени нет, – звуки пожара приближались. Кажется, бой шёл уже вокруг банковской четырёхэтажки.

Анна подскочила. Боясь поверить, на негнувшихся ногах пошла к выходу. Вот крыльцо – доска подгнила, гвоздь торчит, не наступить. Двор. Труп лошади, убитой осколком. Море её крови. Ещё тёплой... такой тёплой... такой нежной. Яркое, до одури, серое небо. Какое-то тело в углу, без головы. Как же его звали?.. Запах гари. Сладкий запах гари. Не надышаться... Проём ворот. Всё ближе. Пять шагов. Четыре. Свет! Свобода! Я жива!!!

Выстрел удачно снёс половину головы. Аля подбежала и разрядила остатки барабана в лицо. Деловито, без ненависти – не до неё, когда нужно быстро становиться Анной, фельдшером 3-го класса императорской армии... стоп, флота! Застыла на секунду: тело, в одном исподнем, быстро наливавшемся кровью, было красивым – ему бы жить и жить. Мёртвый глаз лошади блестел укоризной.

«Извини, – застыла она на мгновение. – Так... Собралась! – скомандовала себе. – Что со мной делали “красные палачи”? Чёрт, надо было раньше об этом позаботиться, пока мой жив был! А он смог бы?»

Аля – нет, уже Аня – два раза глубоко вдохнула-выдохнула и прижала ещё горячий ствол к животу. Боль чуть не согнула пополам, но – время! Забежать в дом, надеть японскую форму, достать кочергу из печки – «помнишь вечера в ссылке? шаль... боже, верни меня в ту шаль...» – приложить к бёдрам, отдышаться, к спине, отдышаться, проклятье, надо было застрелиться, что сделать с лицом, чем себя ударить? документы! – в карман, взять нож, надрезать срамные губы, натянуть штаны обратно, выбежать во двор, плеснуть крови на промежность... топот у ворот. Всё.

– Ух, глянть какая! – прозвучал зычный голос. Гнедая туша толкнула её на землю, копыто мелькнуло над головой. – А ну, вставай, подстилка большевицкая! Втопчу!

Аля приподнялась, казак перегнулся, схватил её за ворот и ударил о стремя. Кровь хлынула из рассечённой брови.

– Чё, не навалилась под красными? – ухмыльнулся он в усы. – Ничё, под нами полежишь! Пшла!

Женщина утёрла лицо, вышла за ворота, направо. Камни впивались в босые ноги, напоминая: ты ещё жива. Но... свинцовое небо, боль от ожогов, вонь горящих домов, хлебов, плоти, рёв запертой скотины, вой молодой, которых за волосы оттаскивали от семей, тёмная река, набираемая мужиками, бабами страшней, детьми – «всё-таки водой», –

мат... её, красные, казаки, уже голые, уже кастрированные, уже вниз головой... муж? да, это он, эту руку, нелепо лежащую около иссечённого, но ещё дышащего тела, она узнала бы из тысячи, – и солнце, пробивающееся из-за туч и дыма.

– До последнего стоял, отстреливался, – кивнул усатый конвоир молодому.

– Так ведь он свой, тоже казак... наверное... – просипел тот.

– Тьфу ты! Был бы чужой, китаёз какой, – прогнали бы в евонный Китай! А своих куды прогонишь со своей земли? Только в землю!

– Та я не о том! Может, кончить его, что ж так мучить-то? – возразил молодой.

– А пушай полежит, подумает, как против нас идтить! – гоготнул усач.

И Аля решила: она будет жить. Она пройдёт все допросы – вон, навстречу уже спешит офицер, он заберёт её, патриоты побоятся конфликтовать с японцами, – а потом переживёт и японские пытки, и выйдет с новым именем, и будет жить – это обещает золотой закатный свет, заливающий изумрудные сопки, этого требует Река, которую заставили уносить тела баб и мужиков... Жить. Хотя бы для того, чтобы вырвать глотку у этого гарцеватого гоготуна, затолкать трахею в его жену, закопать их в землю.

Потому что он тоже свой.

Потому что гражданские войны не кончаются никогда.

Примечания.

Сретенск – город в Забайкалье.

Андоверов Яков – «патриарх» богачей Сретенска, из ссыльных евреев.

Барун-Торей и *Зун-Торей* – озёра в Даурии.

Марь – разновидность болотного ландшафта.

Лебедева Мария Александровна (1875–1911) – уроженка Нарыма (Томская губ.), врач, доктор медицины; после окончания Женевского университета служила доктором на Енисее; погибла в борьбе с маньчжурской чумой.

Китасато Сибасабуро (1853–1931) – японский врач, один из первооткрывателей (наряду с Йерсеном) возбудителя чумы.

ЛЮБОВЬ ЦВЕТА ЗАКАТА

К закату любитися иначе. Не требовательно. Прощая грошовые грешки и старательно отворачиваясь от шкафов, набитых скелетами. Наверное, потому, что уже не строишь планов на будущее: день прошёл с лампою любви в руках, и хорошо. А завтра оставим завтрашним нам.

Нет, страсть есть – в этом возрасте она знает, что ей нужно, и знает, как желаемое получить, не мучается, как лет в двадцать, в серебряной юности, вопросом, чего же ей хочется и хочется ли чего-то. Но то ночью и в постели – смятой, лихорадочной, в которой её тело разрывается и проступает вечно молодая Она: преданная на эту короткую бесконечность и отдающаяся на минутное «всегда».

А при свете дня она другая. Не раздражается. Не ищет своего. Но помнит о себе.

– Детей заберёшь с собой? – смотрю на её руки: обветренные, с мозолью на указательном пальце. Если бы умел рисовать – рисовал бы человеческие руки.

Она перебирает соль в солонке. Отделяет травинки, песчинки, мусор, хвою. Урок мелкой моторики и способ не думать лишнего. В небольшом фарфоровом соуснике растёт, крупинка за крупинкой, горка – белой, чистой, святой... Если осталось хоть что-то святое в мире, где знания стали праздны, грядущее прекратилось, а язык предпочитает молчать.

Молчит и она.

Тихо молчат, боясь спугнуть мгновение уюта, голубые глаза.

Улыбка несмело блуждает в уголках губ. Лишь морщинки у век подрагивают чертёнышами.

Да родинка на шее влечёт, пробуждая древнее, драконье чувство в чреслах.

– Нет, – отвечает она, тщательно всё обдумав. – Я бы позвала тебя с собой, но...

– Приревнуют?

– Да.

Холодный ветер бьёт в заколоченные окна вагона.

– Забавно. Всю жизнь меня ревновали те, у кого не было повода, и не ревновали те, у кого была причина. Но ты права. Конфликт на борту – корабль ко дну.

– Поясни, – просит минуту спустя, выкладывая рожицу из кристаллов соли.

– Давно... в той жизни... я работал на корабле. И там мне показалось, что есть неписанный морской закон... Если у кого-то к кому-то появлялись претензии, то он никогда не высказывал их напрямую – их озвучивали через день-два, через третье лицо, боцмана или старпома, жёстко, но давая возможность сохранить лицо. Потому что если тот же

моторист психанёт, то... у него много возможностей поставить всем жирную точку. Поэтому, кстати, команды кораблей, идущих мимо Сомали, никогда не вооружали – от греха подальше. А то случилось бы как у Высоцкого.

Приподнимает брови, впервые оторвав взгляд от соли.

– Капитана в тот день называли на «ты», бесновались матросы на вантах, – цитирую В. С.

– А теперь никому не хватило земли – ни колумбовой, ни магеланской, – завершает она. – Ты так и не сказал: почему остался один?

– Лошадей пожалел, нарушил приказ.

– Лошадей?!

– Да. Мы с Нижнего пробивались... Где-то там наткнулись на частный конный заводец. Отборные рысаки! Что Славутич – мышастой масти со стальным отливом. Дурной, правда, упрямый. Как в воду войдёт – скачет, будто стреноженный. Наверное, ему путы на ногах чудились... А ещё Рыжик – гнедой, с белыми чулками, поджарый, бежит – мышцы словно волнами переливаются! Совсем как твои бёдра!

– Не отвлекайся, – отводит она мою руку. – Зачем вам кони, что дальше было?

– Хозяина упокоили, животину спасли. Организовали разведку. Почему-то для местных езда верхом – целое искусство, вот меня и назначили в неё. Зачем? Уклоняться от этих. Если смотреть в оба, то можно просочиться лесами.

– Умно-о, – констатирует. – А мы пытались в доме тихо пересидеть. Там нас и взяли в осаду. Пошли на прорыв. Половиной своих и удобрили поле... зелёное. С озимыми.

– Умно, не умно... нас ведь тоже прижали. Может, эти и не семи пядей во лбу, но загонять умеют. Да и кони выдохлись. Даже если опушками двигаться, то всё равно вязнут на каждом шаге. – Отдираю кусок пластика от стола. – Тут не земля, а чёрт пойми что. Там, откуда я, там чернозёмы и суглинки, грязь налипает на ноги, а тут – проваливаешься по шиколотку. Супесь. Болото. Как тут танки ездили?!

– Вот так и мучились – давились и жучились. – Она неожиданно, змеиным броском, щиплет за плечо и – уже миролюбиво – тянет мою руку, укладывает на столешнице, пристраивается головой к ладони: – Можно? Так вкусно про коней рассказываешь – Расскажи ещё.

– Колбасы захотела? – подтруниваю.

Резко поворачивает голову. Всматривается.

– Конской, – поясню я. – Никогда не ела?

– А... нет. Но захотела, – глядит с вызовом. Прикусив губу.

– Была там ещё изабелловая лошадь. Жемчужина. Просто жемчужина, – я провожу по её щеке загрубелой ладонью, но она отзывается, подаётся навстречу. – Она долго шла за нами. Держалась в отдалении, звала.

– Выжила? – вопрос тих, дремотен, бархатен.

– Надеюсь. Они же быстрые. Однажды утром взяли и ушли втроём за речку. Там места вроде дикие, этих быть не должно. Жаль будет, если погибнут.

– А твои куда делись? – подставляет затылок под руку.

– А псы их знают! – запускаю пятерню под волосы. – Может, сожрали их, может – за вон те холмы ушли, – машу куда-то на северо-восток, в ту сторону, где у стены еле слышно потрескивает буржуйка. – Проснулся как-то, смотрю – только палатка сожжённая и куча следов.

Если бы эти набежали, то... Спасибо хоть не связали, чтобы оторваться от них.

– Жёстче, – просит она. Я собираю волосы в кулак и начинаю покачивать голову: её шея расслаблена, и чувствуется, как с похрустом позвонков нега стекает по телу вниз и пропитывает мозг, изгоняя мысли, которые нет смысла думать. – Подожди, – прерывает она то ли меня, то ли себя, снимает кобур, кладёт на стол. – А дети откуда?

– Сами прибежали. Нормальные пацаны, соображают, что к чему: бойкие, даже борзые, активные, тихие. Им сколько, лет девять старшаку, наверное? Правда, у них малолетка громкий, всех под петлю подводит. Его бы воспитать резко – или... Пока они сами его не утопили.

– Или? – переспрашивает, замирает, словно ища что-то, находит, накрывает кобурой соль: – Вот теперь можно... Или, пока не сожрали эти, – всем лёгкой смерти?

– В принципе... Но ведь они как-то до сих пор выживали.

– Посмотрим. Может, и помогу. Так или иначе. Хочешь меня?

На закате любовь милосердна. Даже когда жестка и жестока.

* * *

Где-то в чащобе, не по сезону, выли волки. Это хорошая примета: воют волки – значит, этих поблизости нет. Ветер стих. Я приоткрыл дверь, разминая сырую сигарету: на закате, в небе цвета весеннего льда, одиноко сияла Венера. Затворил – от холодного металла заныли суставы пальцев, – вернулся к нам, подкрутил фитиль в консервной банке и только тогда закурил: дым, как и огонёк, тоже чуется за километры, но – волки же воют!

Стало светлей и уютней.

– Ирина! – позвал я тихо. – Спишь?

– Нет. Думаю.

– О чём?

– Тут иногда проходит поезд. Полубронированный. Его никто не трогает – ни наши, ни чужие. Ну, кроме этих, конечно. Я знаю помощника машиниста. Уважаемый человек – всегда в костюме и без автомата. Он как-то сказал: «Бог разгневался на нас, но в последний момент смиростивился и оставил нам связь»... А я подумала... нет, не за что, а почему всё так? Почему не сразу?

Замолкла. Значит, не риторический вопрос. Что же на него ответить? Что всё это – чума, в которой нет ничего героического?

– Конец света, – вспоминаю древнюю мысль, – это не массовый геноцид в считанные секунды. Конец света – это не поход стройными колоннами в рай. Это не списание всех долгов, не амнистия и не аудиенция у Бога. Конец света невозможно пережить как мгновение, легко и просто. Конец света – это начало долгой тьмы.

– Что это?

– Литания.

– Умеешь ты утешить... Так вот, – вернулась она на землю: – Раз есть связь, то есть и жизнь? Может, твою ребятню – туда?

– Они оттуда. Города есть – покажу на карте.

– Ну, тогда... – вздохнула она, скрывая печаль за мимолётной маской безразличия. Потянулась, заразительно позёвывая, свернулась обратно калачиком: – Брр!.. А ты куда пойдёшь, домой?

– Вряд ли, через реку всего четыре моста, а значит – и эти. Может, где найду лодку, хотя там водохранилище – как целое море. Его речники в своё время опасались: на короткой волне баржи ломало. Но попытаться стоит.

– Зачем тебе это?

– Надо же куда-то идти. Я не умею перебирать соль.

Она резко встала, всунула ноги в берцы, накинула бушлат на голое тело – даже не будучи одним из этих, хотелось накинуться и овладеть им до последней жилки, до последнего хрящика, вонзить зубы в это живое, страстное, – прихватила пистолет, подошла к столу, плеснула еле тёплого кофе в кружку:

– Скорей бы эта весна кончилась. Достал этот холод. Оставь пару затяжек.

Прижал её к себе:

– Не мёрзни. Лето придёт, – отстранил чуть. – Пора пост сменить.

– Да, сейчас. Обними только крепче. На прощанье, – она потянула мою руку и уложила на грудь.

Сжал.

* * *

На закате любитесь иначе. Без веры и без отчаяния – но с безмолвной надеждой. Без гордости и зависти, без страха, но с яростью, без зла и, в общем-то, без добра. Не ради чего-то, не ради будущего, которого не настанет.

Лишь ради Неё самой.

Елена ГОФМАН

Родилась в 1970 году. Окончила Ленинградский государственный институт культуры (библиотечный факультет, художественная литература), живёт в Ленинградской области. Инструктор по ЛФК и йогатерапии, экскурсовод по Карельскому перешейку и Северному Приладожью.

Стихи и проза публиковались в журналах «Российский колокол», «Нижний Новгород», коллективных сборниках. Работает над сборником рассказов «Четки» об островах Ладоги.

Живёт в Ленинградской области.

Из цикла «ЧЁТКИ»

Ладожские острова... Один священник в своей проповеди уподобил острова чёткам, Божьим узелкам на нитях Севера. Они, по его разумению, призваны приближать земное к небесному, поэтому именно там целое скопление церквей и монастырей.

Мои рассказы тоже подобны чёткам: они нанизаны на нить повествования о людях Севера, обычных и необычных, верующих и не очень, потому что именно люди создавали и создают на островах, осколках скудной каменистой земли, обители жизни и света.

Е. Г.

Угорелые

Два здания каре, одно в другом, внешнее и внутреннее, окружали пространство собора и были построены на острове Валаам специально для монашеского общежития. Представьте себе длинные коридоры, вереницы дверей и топок. Дверь в келью, а рядом печная дверка. И вновь келейная дверь и вновь топка. Так была устроена монастырская бытность. Сами печи, так называемые щитки, находились внутри толстых кирпичных стен и топились из коридора. И делал это один человек. Он по благословиению игумена исполнял послушание истопника: принесённые дрова сначала складывал у топок в коридоре, а затем затапливал их в определенное время. Дрова заготавливались в местных лесах и всегда были сырыми. И для того, чтобы они лучше горели, истопники иногда сушили их внутри остывших, но ещё тёплых печек. Щитки были сложены из старых кирпичей, прочных и теплоёмких. А дымоходы строились так, чтобы печи хранили долго драгоценное тепло. В девяностые годы после полувекового забвения монастырская жизнь на Валааме возродилась, но немногочисленная братия занимала кельи только внутреннего каре, во внешнем же жили работники и местные жители.

Истопники знали печи в совершенстве, чего нельзя сказать о современных островитянах, в том числе и о Вере. Она проснулась, но никак не могла открыть глаза. Сознание возвращалось медленно, словно пробивалось сквозь толщу вязкой жидкости, в которой тонули любой

образ, любая цельная мысль. И тяжесть... Откуда эта непривычная тяжесть в висках? Веки было не открыть, даже когда пришло понимание, что Вера проснулась дома в своей кровати у печки. Старая печь длиною метра в два остывала долго, и Вера чувствовала спиной её уютное тепло. Но почему болит голова? И где найти силы, чтобы поднять веки? Ведь не Вий же она, в самом деле, а Вера. И живёт, хоть и в квартире монастырского каре с чёрным котом, но к нечистой силе никакого отношения не имеет. Она лежала, не в силах пошевелиться, стараясь собраться с мыслями. А правда, где кот Понтифик? Почему не скачет весело по кровати, как обычно, не будит её? Как поднять голову? И что за тошнотворный кислый запах витает в воздухе?

И вдруг резко, как мячик на резинке, выскочила мысль: «Угорела!» Вера быстро открыла глаза и даже приподняла голову. Она увидела сумрачный свет за небольшим окошком второго этажа, широкий подоконник, на котором любил нежиться кот, светлые шторы и сводчатые потолки, создающие небесный купол прямо в квартирке – келье. «Да, угорела! Кислота в воздухе, тяжесть, тошнота... Да, так и есть. Надо встать, встать... и открыть форточку...» Казалось, тело по-прежнему пребывало во сне, не слышало и не слушалось команд хозяйки. И вдруг неожиданно оно, словно на пружине, само по себе неловко подскочило. На секунду Вера ощутила себя в вертикальном положении, поспешила сделать несколько шагов к окну и с грохотом упала на пол. Сознание камнем полетело в вязкость обморока, и остатки телесных ощущений разошлись, как круги по воде.

Что-то мягкое и шершавое коснулось щеки, и Вера пришла в себя. Понтифик, распластавшись по полу, лизал её лицо, оказывая посильную помощь угорелой хозяйке. Она попыталась улыбнуться, но распухшая от удара губа не позволила это сделать. Кот пополз к дверному проему в сторону кухни. «Он знает, что делать. Надо брать с него пример», – подумала Вера и, упершись ладонями в гладкие половые доски, проползла немного вперед. Она поняла, что основная кислота разлита в воздухе выше, и, отдышавшись, стала медленно продвигаться туда, где за дверью исчез Понтифик. Мыслительный процесс работал медленно, но четко, в виде команд самой себе. Конечной целью её движения был телефонный аппарат, стоявший на тумбочке у входной двери. Хорошо, что в её служебной квартирке был рабочий телефон. Из всех друзей такой имелся только у подружки Тани.

Ещё немного, и Вера преодолела дверной проём, увидела Понтифика, который уткнулся мордочкой в щель между плинтусом и полом, вдыхая холодный неотравленный воздух. Ещё немного, и телефон, потянутый её рукой за провод, упал на пол и спасительно загудел.

– Таня, я... я у-у-угорела! – Верин голос сорвался на кашель.

– Вера, где, где ты?

– Дом-м-м-а...

Кашель слился дуэтом с телефонными гудками на несколько минут, но Веру не напугал. Главное – не потерять сознание. Дверь была закрыта изнутри, поэтому нужно было встать и откинуть крючок. Вскликать ни в коем случае нельзя, губа болела невыносимо, напоминая о недавнем падении. Значит, нужно продумать стратегию подъёма, пока кашель соревновался с телефоном и постепенно сходил на нет. Продумать и действовать. Тумбочка оказалась в нужном месте, в неё Вера уперлась локтями. Потом она приподнялась ещё выше и оперлась на стол под рукомойником, и ощупью, не поднимая головы, попыталась

откинуть крючок. Несмотря на плавность движения, подъём вызвал сильную волну тошноты. Вера, сползая вниз, всё же успела откинуть крючок и, распластавшись, отползла от двери, зная, что та открывается внутрь. Она закрыла глаза, ожидая долгожданные шаги подруги. И вот, наконец, волна холодного коридорного воздуха обдала Веру, когда Татьяна резко открыла дверь и ухватила её за подмышки...

– Немного теплого молока и спать, Вера, спать. – Таня нежно и заботливо укрыла Веру одеялом. – Столько сил потратила, пока на первый этаж спускались. А теперь спи... Дима за котом к тебе наверх побего-жал. Пока твоя квартирка проветривается, у нас побудешь. А, вот и он...

Зашёл Дима с Понтификом в руках. Кот, завидев хозяйку, вырвался из сильных мужских ладоней, забрался на кровать и стал ласкаться к хозяйке. Вера с трудом подняла руку и погладила питомца, который перенёс угар гораздо лучше её.

– Эх, Вера, поспешила ты, однозначно, поспешила, да? Дрова сырые в топку закинула? И кто тебя научил мокрые дрова в теплой печке сушить? – Димин голос звучал строго, но глаза улыбались.

– Ты, – прошептала девушка.

– Разве я?! Не может быть!.. Ну тогда я однозначно должен был предупредить... Про опасность угореть.

– Нет...

– Да быть такого не может! – стал отнекиваться Дима и плавно перевёл разговор: – Я вот почему мастером печных дел стал? Однозначно не просто так. Когда нам эту квартиру дали, стена вся в трещинах была, дымоход не справлялся. Печь мощная, однозначно, но на ладан дышала, дымила как паровоз... Я сразу смекнул, что самое главное на острове – это хорошая печка. Однозначно. Да и тебе повезло. Стена, отштукатуренная после ремонта, углекислоту не сильно пропускала. А то иначе ты и не проснулась бы: дрова-то почти метровые были. Ты молодец, но теперь спи. Мы созвонились с фельдшером, он на материке: прописал молоко и сон.

Понтифик засопел у неё в ногах. Глаза у Веры слипались. Тошнота накрывала только от поворотов с боку на бок. И казалось, что холод её одиночества сгорел вместе с дровами в закрытой топке. Словно образ девушки – перекасти-поле, странницы, которая живёт, где хочет, сама по себе, – превратился в пепел на углях в монастырской печи. Что искала она? Какую истину стремилась постичь? Отстраненность от житейских бурь всегда была присуща Вере, но в последнее время одиночество совсем сильно стало давить и угнетать её. Вот если бы рядом был близкий человек, разве такое могло случиться? Зачем она, молодая девушка, уехала на край света, далёкий монашеский остров, где людей меньше, чем лодок на пристани? Зачем живёт в келье со сводчатым куполом, созданной не для мирского жития, а для молитвы? Да, здесь время бежит медленнее, люди ближе друг к другу, но семья... Может быть, её занесло на остров именно для того, чтобы понять, что ей очень нужна семья... Супруги шептались на кухне. Трещали дрова. Молоко разливалось внутри, смягчая отравленные легкие. И сон пуховым одеялом накрыл Веру. Проснувшись, она увидела бородатое лицо лесника Коли.

– Угорела, значит? – прямолинейно заявил он. – Жена тебе чернички-бруснички передала. На хуторе уже все знают, что ты угорела. Такая угарная девица и угорела! Кто тебе разрешил? Да молчи, не отвечай. Вон как губу раздуло! Упала, наверное?

Вера поджала губу и чуть не расплакалась: вспомнила, как упала лицом в пол с высоты собственного роста, как ползла к телефону, как тянула его за шнур из последних сил. И волна жалости к себе захлестнула Веру.

— Когда мы с женой в бане угорели, я тоже сильно загремел об косяк, — продолжил лесник. — Обе губы разбил сразу, значить. Пару месяцев ходил мордастым-губастым, как голливудская звезда.

— Ты тоже угорал? — прошептала Вера, и плакать ей расхотелось.

— Угорал, угорал... Я и сейчас угораю над тобой. Истопница ты наша! Хотя и сам когда-то был таким же... молодым-зеленым... А я разве тебе не рассказывал?... Давно это было, до детей ещё, когда только приехали на остров. Поспешил я, значить, топку-то раньше времени закрыть. Дрова березовые хорошо горят, значить, углекислоты много выделяют. Я повороchal угли в печке ногой-кочергой да и не посмотрел, что под синевой ещё краснота сохранилась, закрыл заслонку. А сидели мы с женой в парилке долго, хотели, значить, распариться получше. Ну я и упал прямо на ступеньках, а она в предбаннике. И что удивительно, жена первая в себя пришла и меня разбудила, спасла! О, там к тебе ещё гости. Ладно, пошёл я. Бывай, поправляйся, значить.

Влетела неугомонная Ксюша, раскрасневшаяся с мороза, улыбнулась. Ямочки прелестно заиграли на её щеках, и она затараторила:

— Верка, ты как? Моргаешь? Ну, будешь жить, раз моргаешь! Я только со спевки. Рассказала отцу Корнилию, что ты угорела, так он прямо на спевке молебен о твоём здравии и отслужил. Да как отслужил! Пели от всего сердца! После такого молебна ты не только ходить, летать должна, аки птица небесная!

— Летают в раю... — прошептала Вера и вздохнула.

— Да рано тебе ещё в рай-то, на земле полно дел. Я тоже думала, что, того-этого, не выживу, когда от обогревателя старого угорела.

— И ты угорела? — удивилась Вера.

— А ты не знаешь эту историю? Почти угорела... Меня силы небесные спасли... Обогреватель старый был, масляный, начал перегреваться. Келья-то у меня маленькая, сама знаешь. Сплю я и вижу сон, что раскаленная пирамида лежит на моей груди. Жарко мне, задыхаюсь, а сплю, пошевелиться не могу. И вдруг слышу голос с неба: «Встань!» А я не могу... И опять тот же голос: «Встань!» Не веришь? А я точно знаю, что это не мой внутренний голос был, а настоящий ангельский. Потому что проснулась я в тот самый момент, когда провод обогревателя искриться начал. Так что, Вера, хочешь не хочешь, а поверишь в силы небесные... Вот тебе малиновое варенье. Давай с молоком выпей, да я побегу в храм...

Вера, несмотря на разбитую губу, заулыбалась, провожая взглядом искрометную Ксюшу, которая помчалась как угорелая на службу. Комната погружалась в сумерки. Понтифик забрался под одеяло и мурлыкал совсем рядом. Девушке казалось, что события последних лет сплелись в удивительный странный узор, как сиреневые тени в комнате. Не случилось в её жизни всё и сразу: и беды, и радости копились постепенно. Мало-помалу и сырые дрова разгораются. Жизнь чаще тлеет, чем горит, чадит, а не полыхает. Исподволь возникли в душе безнадежность и ощущение тупика. Но мало-помалу и птица гнездо свивает. И как бы ни складывалась её судьба, сейчас Вера чувствовала покой и умиротворение.

Да, она на далёком северном острове, за тысячу километров от родных. Он затерялся в холодных водах Ладожского озера, скованных мощными льдами. И городок Сортавала, ближайшее поселение

на большой земле, прятался в шхерах в сорока километрах от архипелага. Валаамский дух островитян горожане чувствовали безошибочно. Одна продавщица в магазине, где Вера мерила спортивный костюм, неожиданно спросила её: «А вы с Валаама?» Вера ответила утвердительно и поинтересовалась, как же она догадалась. «От валаамских всегда пахнет дровами», – простодушно заявила та. Да, на острове было только печное отопление, и стать жертвой едкого дыма было что-то типа посвящения в островитяне. Здесь опасность угара уступала только опасности провалиться под лёд. Вера чувствовала, что находится у себя дома. Её окружали добрые заботливые люди, пусть угорелые, но живые и настоящие. Но, лежа под сводчатым куполом в квартире друзей, она отчетливо поняла, что обязательно уедет на материк: не место молодым девушкам в монашеских кельях.

Таня гремела посудой на кухне. Пахло блинами и уютным семейным теплом. Вдруг в коридоре загорелся свет, и послышались громкие шаги.

– Кто там? – спросила Татьяна и опешила от ответа.

– Попкорн!

– Кто?

– Поп... Корн! Поп Корнилий...

Таня рассмеялась, и они зашептались в коридоре.

– Где ваша угорелая?

– Спит...

– Ну, пусть отдыхает, сил набирается. Вот ей просфора, – протянул руку отец Корнилий, – пусть завтра натошак скушает. А я за Дмитрием зашёл. Печка больно дымит в покоях у эконома. Пусть посмотрит.

Послышался Димин голос: «Да, иду...» И пока печник одевался, отец Корнилий рассказывал ему о том, как прошлой зимой на Никольском скиту он чуть было не угорел...

Льды

Грузовик с треском проехал мимо. Отец Иоиль присел и замахал руками в попытке сохранить баланс. Лёд заходил ходуном, стал подниматься и опускаться, немного вверх, немного вниз, совсем невысоко, но достаточно для того, чтобы выбить почву из-под ног священника. Вода подо льдом разволновалась, зашлась небольшими волнами, стала плескаться, стучаться изнутри в ледовую преграду, словно просилась наружу, на свежий морозный воздух и яркое полуденное солнце.

Трудник Сергей, парень, косая сажень в плечах, усмехнулся, поддерживая невысокого священника за руку.

– Лёд не асфальт, он живой... Сейчас успокоится...

– Да, непривычно немного... – в голосе отца Иоиля послышались нотки нарочитого равнодушия, – я впервые по льду хожу...

Пришлось подождать несколько минут, пока вода и лёд придут в первоначальное равновесие, и только потом отправиться дальше, вслед за быстро удаляющимся грузовиком, который и нарушил зимнюю неподвижность озера. Трудник уверенно шёл по скользкому льду в кирзовых сапогах, и на каждый его шаг священнику приходилось делать три своих. С высоты собственного роста Сергей посматривал на отца Иоиля снисходительным взглядом. Таким обычно одаривают местные жители карельских островов заезжего горожанина. Темно-коричневые кожаные полусапожки священника были начищены до блеска и сияли

от собственной красоты. Шерстяной подрясник отца Иоиля насыщенно чёрного цвета, казалось, только что покинул швейную мастерскую, настолько был опрятен и выглажен. А светлая дубленка, наверное, ещё вчера висела на Черкизовском рынке в ожидании достойного покупателя. Сам Сергей одет был просто, обычно для островного монастырского поселенца: в чёрную куртку, из-под которой выбивались полы рубахи, и старые потрепанные брюки.

Они подошли к берегу, где стоял немецкий «Робур» с высоким крытым кузовом. Небольшой, но тяжелый грузовик, полноприводный, был подарен Валаамскому монастырю военными, когда обитель только начала возрождаться в начале девяностых. Возле машины топтался коренастый водитель Ваня, проверяя состояние колес. Безбородый и белобрысый, одетый так же, как Сергей, он нарочно сдвигал брови, чтобы казаться старше и серьёзней. Ему предстояло проехать по ледовой дороге от Сортавальских шхер до острова Валаам сорок километров, чтобы доставить в монастырь долгожданную провизию и отца Иоиля, который и в Карелии-то был впервые. Сергей специально прогулялся с ним по льду, пока Ваня сгонял до ближайшей заправки. Они забрались в кабину, усадив батюшку посередине. Священник никак не мог устроиться поудобнее: то смущенно ёрзал по сиденью, то болтал короткими ногами в новых сапожках.

— Кому дорожка скатертью, а нам вот скользкая выпадает... Говорят, скользкую дорогу надо тормозной жидкостью поливать, — попробовал пошутить отец Иоиль, но водитель, протирая тряпкой лобовое стекло, на шутку не отреагировал.

— О скользком вскользь лучше не говорить, так ведь? — обратился батюшка к Сергию с усмешкой, но тот только пожал плечами.

В иные моменты люди подобны льдинам. Они становятся немymi, холодными и отстраненными. Жизнь собрала их, как торосы в кучу, в одном каком-то месте и вынудила уживаться и примиряться друг с другом. Даже христианская вера не в силах разрешить противоречия сложной человеческой натуры. Вода и ветер шлифуют льды на Ладогe, а души и характеры людей оттачиваются жизненными обстоятельствами. Отец Иоиль вздохнул, прочитал молитву Николаю Угоднику, и грузовик, взревев, тронулся в путь.

Ладога настолько обширна и глубока, что не успевает остыть и замёрзнуть полностью. То тут, то там появляются промоины и открытые участки воды, откуда даже в сильные морозы клубится пар. Эти испарения оседают на прибрежные острова, превращая их в белые изваяния. Скалы застывают в оплывах льда, местами голубоватого, местами жёлтого. Заиндевелые деревья стоят, не шелохнувшись, погруженные внутрь самих себя. Даже солнце не в состоянии прервать зимнюю задумчивость северного мира. И только человек нарушает безмолвие.

Грузовик загрохотал и отравил прозрачный воздух выхлопными газами. От подобной наглости залежалый лёд возмущенно затрещал под тяжестью «Робура». И снежная пыль резко взметнулась из-под колес. Грузовик разогнался и помчался вдоль изрезанного берега по узким проливам шхер, которые были испещрены рыбацкими путями. Проезжающие каракаты, трехколесные грузовые мотороллеры на надувных колесах, походили на гигантских робо-муравьев. Они то разбегались к берегам, то вновь приближались к основной ледовой трассе мимо неподвижных фигур рыбаков.

– В России не две, а три беды: дураки, дороги и рыбаки на льдинах... – усмехнулся отец Иоиль, но трудники, будучи северными жителями, не приняли шутку священника.

– У трещин и торосов всегда лучше клюёт, вот рыбаки и ищут ненадежные места. Да и потом... в наше время перемен... без рыбы здесь не проживёшь, – деловито объяснил Сергей.

Возможно, что именно лёд определял бытие местных жителей. Суровые условия, конечно, закаляли характер и сплачивали людей. Однако холод, мерзлые камни, обломки льда проникали даже в сердце людское и превращали северного человека в одиночку – закрытое, постоянно погруженное в себя существо. Он привыкал прятать своё тепло и свет внутри ледяного панциря собственной личности.

Лёд трескуче возмущался за спиной, но был слишком крепок и легко выдерживал тяжесть грузовика в прибрежных заливах. За час с небольшим «Робур» достиг крайних островов и вышел на простор открытой Ладоги. Половина пути осталась за спиной. Казалось, сама жизнь спряталась в шхерах, и впереди не было ничего, кроме льда. Белая пустыня, бескрайнее озеро с разными подводными течениями, перепадами глубин и температур, застывшее, но живое, оно словно дышало. Иногда на вдохе его ледовая рубаха трещала по швам, образуя прорехи и длинные расколы. Тогда льды либо расходились по линии швов, углубляя ширину трещин до полутора метров, либо сходились и вздыбливались торосами. Сверкающие прозрачной, немного мутноватой, белизной глыбы разнились по очертаниям и размерам: большие, малые, толстые, тонкие, острые, округлые, тусклые, яркие. Они напирали друг на друга и вставали на дыбы, толкались, бодались ледяными лбами. Их вершины замирали в немом противостоянии: кто кого?

– Красота! – маленькие глазки отца Иоиля заблестели от сияющего разнообразия торосов. – Но красота обманчива: по таким местам гулять, особенно мне, новичку, что в шахматы играть: сделал шаг, тут тебе и мат, и маты... шагх-мат-ты...

Батюшка натужно засмеялся, но парни по-прежнему молчали. Прикрывая лоб ладонью, Сергей смотрел то в лобовое, то в боковое стекло. Ему казалось, что свои шутки священник говорил не к месту, да ещё и с наигранным простодушием. Молодой насельник не понимал ребяческой непосредственности зрелых бородатых мужей. Чрезмерная смешливость, по его мнению, словно трещина во льду, способна нарушить монолитность духовного подвижничества. Сам он был родом из этих мест, в монастырь пришёл недавно и представлял священников строгими и благообразными старцами, погруженными в постоянную молитву. Сергей не был близко знаком с Ваней, но мнение об отце Иоиле у них сложилось одинаковое. Ещё утром во время загрузки «Робура» они успели обсудить своё недоверие к незнакомому священнику.

– А вещей у отца столичного как у невесты на выданье, – возмутился Ваня, принимая сверху из рук Сергея несколько тяжелых чемоданов один за другим.

– Да, точно. Тяжеленные чемоданы-то... Ещё и дипломат с деньгами... Он и сам всё шутит про приданное. Всё шутит, шутит, а глазки хоть и маленькие, а словно буравчики во льду, насквозь тебя буравят...

Ваня ответил:

– Да... От столичной монашеской жизни даже монаху надо уходить в монастырь куда подальше... – Ваня хоть и был всего лишь трудником, но считал себя зрелым опытным насельником. Он уложил батюшкины

вещи на монастырские коробки и, спрыгнув на снег, длинно сплюнул через щель между передними зубами: – Пристал ко мне Иоиль с вопросами: типа как поедешь да на какой скорости, а я ему сразу: моё дело – водительское, а ваше – пассажирское... Давно уж по зимнику с завгаром гоняю, сам разберусь.

– Одно дело с опытным завгаром рядом сидеть, а другое – самому рулить. Ты, Вань, сколько раз за рулём самостоятельно гонял по льду на остров? – спросил Сергей.

– Да ладно, проскочим... – не отвечая на вопрос, отвёл глаза Ваня.

Молодежь в монастыре, что тонкий лёд, который в любой момент может обломиться. Как вода приобретает твердость в морозном воздухе, так и монах кристаллизует свой характер в чувственном холоде. Чтобы кристаллы воли сформировались, необходима внутренняя опора, точка отсчёта. Основой для льда могут стать любые вещества и мелкие тела в воде: пылинки, пузырьки воздуха и даже сами молекулы воды. Они являются центрами, вокруг которых собираются, как лего, чистые кристаллы и прозрачные узоры льда. Так же в душе человека. Личные недостатки, мелкие помехи, шероховатости характера заставляют искать смысл своего существования, проникать в природу своих слабостей и вокруг этого выстраивать кристаллы воли к чему-то высшему и совершенному. Процесс этот медленный, а молодежь полна энергии, удали, желания совершать подвиги сейчас и сразу. Обломившись, тонкий лёд может принести немало бед. Но со временем он крепнет, становится весомей и старше. Промоины быстро затягиваются новой ледовой коркой. Нарастая слой за слоем, появляются ледовые бугры, торосы, в тех местах, где небольшая глубина и нестабильные течения. Нагромождение старых и молодых ледяных глыб, поддерживающих друг друга, складываются в гряду, словно оборонительную полосу, и подобно крепостному валу защищают береговые шхеры от вечной пустоты бескрайнего озера.

Ваня следил за дорогой и щурил глаза, выискивая проход между торосами. Заметив его, он стал выкручивать руль. Тяжелый грузовик сначала занесло немного в сторону, но водитель легко выровнял машину и лихо проскочил между вереницей торчащих льдов по узкой колее, проложенной местными рыбаками.

– Ух, наконец-то, финишная прямая, – выдохнул Ваня и, подняв подбородок, предложил посмотреть на линию горизонта. Туда, где, поблёскивая, появился пока ещё призрачный и далёкий остров Валаам. Ваня нажал на педаль газа, и грузовик помчался быстрее. Гул мотора сливался с треском позади, и этот грохот казался звуковой чёрной меткой за спиной, которая не позволяла расслабиться ни на секунду.

Двигаться по льду гораздо безопасней в морозную ясную погоду, когда Валаам отчетливо виден в открытой Ладоге. Ведь ледовые пути на озере неисповедимы. Даже Дорогу жизни во время блокады не просто проезжали, а прокладывали, часто меняя её направление в зависимости от состояния ледяного покрова. И движению машин помогали регулировщики. Местные рыбаки тоже умели отмечать автомаршруты по замёрзшему озеру. Они бурили лунки, измеряли толщину льда и затем в эти отверстия вставляли елочные ветки или небольшие деревца, которые становились дорожными знаками. Однако в ясный день такие предосторожности были излишними. Остров сам являлся лучшим ориентиром для любых путешественников.

– Валаам! Господи, помилуй, Валаам! – воскликнул священник. Он заулыбался и вновь заерзал на сиденье, смешно болтая ногами. Потом,

видимо, что-то вспомнил и серьезно обратился к Ване, всматриваясь в приборы на водительской панели. – Ваня, а ты с какой скоростью едешь? Мне не видно, отвечает... Самая опасная скорость – тридцать пять километров в час. Это учёные устано...

– Отец Иоиль, под руку водителю не стоит ничего говорить... Главное, чтобы Ваня видел сам, с какой скоростью едет, – холодно перебил Сергей батюшку и стал теревить пальцами свою небольшую бородку, так как сам не ожидал от себя подобной резкости.

– Да всё я знаю... Осталось двадцать километров по прямой. Скоро будем на месте, – Ваня немного повысил голос, и священник осекся.

Отцу Иоилу стало не по себе. Белая ширь пятнами расплывалась в его глазах. Однородность блестящего горизонта пугала воображение. И только бледные очертания Валаама придавали уверенность. Треск за спиной усилился в несколько раз. В открытой Ладоге лёд всегда тоньше и опасней. В проливах шхер он походил на дикое животное, посаженное в тесную клетку островов и скал. Здесь же на ветреном просторе лёд – единственный хозяин положения, ненадежный капризный повелитель и сам себе господин.

Впереди показалась трещина. Узкая щель. Разрыв в ледовом теле. Затрещина путешественникам. Кажется, само слово родилось из дикого треска ледяных глыб. По мере приближения грузовика ломаная линия становилась всё темнее и шире, превращаясь в разделительную полосу между людьми в машине и заветным островом.

– Объедем, широкая... – вслух решил Ваня. Приблизившись к трещине, он повернул в сторону и повёл грузовик вдоль неё.

– Наверняка, рыбаки навели мостки, обычно брёвна издалека видны... найдем, – поддержал водителя Сергей.

– Была бы небольшая, проскочили бы мигом. А эта вон какая широкая, полметра, а то и больше... – рассудил Ваня и сбавил скорость, высматривая место переправы.

– Не сбавляй скорость... Лучше остановиться, раз переправы не видно, – предложил отец Иоиль.

– Зачем останавливаться? Грузовик тяжелый, бронированный, с грузом... Нельзя медлить... – рассудил Сергей.

«Робур» летел вдоль трещины, уходя всё дальше и дальше от кратчайшего пути к острову по прямой. А ширина разлома росла на глазах. Ваня передёрнул плечами и вцепился в руль. Он сжал его так, что костяшки пальцев побелели от напряжения. На скоростной панели виднелась цифра – тридцать пять километров. Но взволнованные попутчики не обращали на неё внимания.

Казалось, трещина, разделив озеро на две части от горизонта до горизонта, будет тянуться вечно. Снежная буря из-под колёс становилась плотнее, и Валаам стал таять где-то в стороне. Вдруг раздался сухой резкий звук. Задние колеса пошли вверх, а кабина начала оседать. Попутчиков повело вперед и вниз. Перед глазами мелькнул неожиданный разлом, и они поняли, что тонут.

Если бы в это время по небу летел вертолёт, то лётчики увидели бы, что грузовик двигался вдоль широкой трещины по направлению к ещё одной, едва заметной расщелине на поверхности узорного ледового поля. Чем ближе тяжёлый «Робур» приближался к новому, пока еще пунктирному, разлому, чем больше он давил мощным весом на ненадежный лёд, тем больше смещался центр тяжести к зарождающейся трещине. И когда нагрузка превысила допустимый предел, лёд

разошелся сначала по пунктирной линии впереди машины, затем треснул сзади, и образовалась отдельная льдина наподобие крышки гигантской кастрюли. Один её край поднялся вверх, а другой соответственно накренился вниз, и «Робур» покатился под лёд.

Когда во время блокады Ленинграда машины пошли по Дороге жизни, то многие из них проваливались в ладожскую пучину. Водители часто держали дверцу открытой, чтобы успеть выпрыгнуть. Перед учёными, изучающими льды, была поставлена задача выяснить, в чём причина подобных происшествий. Буквально за несколько дней, проведенных на Ладого, группа специалистов определила, что дело в колебаниях. Когда автомобиль двигался по льду, под ним появлялась волна, и, если скорость волны совпадала со скоростью машины, то возникал резонанс. И происходило это при скорости грузовика в тридцать пять километров в час. Именно тогда лёд начинал трещать по швам.

Ваня и Сергей среагировали мгновенно. Почти синхронно открыли дверцы и прыгнули на твердую ледовую поверхность. Водитель оказался между полыньёй и основной трещиной и драпанул назад, обегая «Робур» сзади, чтобы оказаться на безопасной стороне, где беспомощно бегал Сергей, устремив тревожный взгляд на кабину, медленно уходящую под лёд. Грузовик имел высокий кузов, а значит, и достаточно воздуха внутри. Он, словно поплавок, всё-таки задержался на поверхности озера, но ненадолго. Завис на несколько секунд прежде, чем затонуть окончательно.

Отец Иоиль сначала метнулся к открытой водительской дверце, но шерстяной подол подрясника зацепился за рычаг переключения передач. Растерявшись, священник бросился в другую сторону к дверному проёму, в котором исчез Сергей. Он увидел, как осколки льда, словно прозрачные мёрзлые рыбины, толкаясь над тёмной водой, уже задрали острые морды, чтобы с волной проникнуть к нему в кабину и заполнить её полностью, забить до отказа, утяжелить «Робур» до такой степени, чтобы тот сдался, перестал сопротивляться и безвольной машиной пошёл ко дну.

Парни что-то кричали, но священник не понимал слов. Перед его глазами возникло пшеничное поле из подмосковного детства. Оно колосилось живым золотом. Сильные налитые стебли тяжело покачивались на ветру. Маленький Иоиль, тогда ещё Илюша, бежал без майки в одних трусах, чувствуя, как колосья касаются и щекоют его загорелую кожу, как напевно шепчут: «Рррршшшш». В глазах рябило от бликов, и казалось, весь мир состоит из солнечных лучей, тонких и ярких, из лучей и колосьев. Ему хотелось бежать и бежать, вечно, без оглядки, чтобы жар от стремительного движения, сливаясь с летним пеклом, пропитал и заполнил каждую клеточку его крепкого маленького тела; чтобы кожа его ладоней непрерывно ощущала легкие приятные уколы колосьев; чтобы пахло землей и сухой травой, твердыми тёплыми земляными комьями, из которых торчали мелкие корни и изогнутые стебли полевых трав; чтобы...

Сергей быстро расстегнул ремень, вытащил из штанов и забросил его бляшкой вперёд, словно удочку, по направлению к барахтающемуся священнику:

– Держи ремень, батя, батя Иоиль, да хватай же его... давай... крепче, крепче держи...ну же...

Светлая дублёнка топорилась колом из воды. Борода уже намочилась и покрывалась инеем. Священник почувствовал под ногами опору – крышу тонущей кабины, рывком оттолкнулся от неё и продвинулся вперед, раздвигая руками осколочный лёд. Он с трудом разжал покрасневшие пальцы и схватился за спасительную бляшку обеими руками.

– Ваня, помогай, тяни, брат, тяни... плавно... не резко... Батя, держись... брат... ещё чуть-чуть... Ещё... ещё... Ваня... давай... Фух...

Ваня схватил отца Иоиля за подмышку с одной стороны. Сергей бросил ремень и вцепился в воротник дублёнки. Они потянули изо всех сил и вытащили на скользкий берег священника, промокшего, но живого и невредимого, да, всё-таки спасли себя и... ближнего своего, человечка – человечка с короткими смешными ногами в новых сапожках, ставшего за несколько мгновений настолько ближним, что и описать нельзя...

Бывает, поднимется снежная крошка с поверхности льда и заиграет на солнце миллиардами светящихся точек, словно сам воздух пышет морозным румянцем. Снежные искорки нестерпимо блестят несколько мгновений и осыпаются вниз. Так же ярко, но хаотично, воспринял отец Иоиль остаток пути на остров. Он видел происходящее словно со стороны и запомнил его больше потому, что потом парни часто и долго рассказывали об этом монастырской братии.

Они вспоминали наперебой, как священник неожиданно вскочил и затрусил по малому кругу словно мокрая псина, дрожа и отряхиваясь; шерстяной подол мгновенно заиндевел на морозе, покрылся ледяным панцирем и встал колом, а отец Иоиль смешливо заявил, что теперь он колокол и звон его должны услышать на острове; как заботливо парни переправляли отца через трещину, практически перекинув; Ваня отдал священнику свою черную куртку, надел его дублёнку, вывернув светлой шерстью наружу, и отец Иоиль стал веселить расстроенного водителя, пытаясь отвлечь от мрачных мыслей об утопленном «Робуре», своими смешными рассуждениями: мол, теперь-то он стопроцентный колокол по цветовой гамме, и сверху, и снизу, а Ваня в дублёнке и без шапки стал белобрысым по пояс, словно викинг; как Сергей участливо спрашивал, не холодно ли батюшке, а тот отвечал, что он батюшка, а не барышня с пышным подолом, который, кстати, заиндевел так, что не пропускал холод внутрь, а он «именно колокол, понимаешь, Сергей, колокол», и священник щёлкал пальцами по стальному подолу, пытаясь «зазвенеть»; парни уже не могли сдерживаться и смеялись от души, не переставая идти быстрым шагом к всё более и более увеличивающимся очертаниям острова; вдруг отец Иоиль резко остановился и как-то вдумчиво, непривычно серьезно сказал, что монах должен жить так, чтобы каждый удар его сердца стал похож на удар колокола; парни притихли, а священник стал рассказывать о Дороге жизни и роковой отметке в тридцать пять километров; и Ваня вспомнил наставления завгара о том, что ехать нужно было со скоростью либо ниже тридцати, либо выше сорока километров в час; как батюшка Иоиль обратил внимание на мелкие блестящие сосульки, торчащие изо льда вертикально; наблюдая за полярной травкой, он пропустил самое главное: парни остановились, радостно закричали и замахали руками, стали подпрыгивать, потому что увидели старенький ЗИЛ с завгаром за рулём, который спешил им на выручку; он повёз путешественников напрямик в баню на Смоленский скит; и как долго ещё братия шутила, что отец Иоиль пришёл в монастырь без приданного от московских олигархов, а послушник Сергей в ответ защищал его и не скупился на похвалы, повторяя: «Отец Иоиль... молоток... даже не заболел... наш человек!»

Андрей ПУЧКОВ

Родился в 1963 году в посёлке Хандальске Красноярского края. После демобилизации из Советской армии служил в МВД в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2006-м вышел в отставку.

Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Север», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей», «Сура», «Аргатак», «Гостиная» (СПА) и других, а также в коллективных сборниках и альманахах.

Живёт в г. Сосновоборске Красноярского края.

КРОВЬ И КРАПИВА

Деревня выглядела вымершей. Тишина стояла ненормальная, и это напрягало меня. Очень напрягало. Даже петухов не слышно! То ли съели всех, то ли они, несмотря на дурость, сами попрятались от греха подалее. За четыре года войны я привык к постоянному грохоту, и если он прекращался, жди беды. Значит, фрицы что-то удумали!

Я опустил бинокль и задумался. Эта деревня и на деревню-то не похожа. Этаким городок в миниатюре, где маленькие домики идеально ровно выстроились вдоль дороги. Возле каждого палисадничек с оградкой высотой до колена, через жёрдочки которой перевешивается давно не кошенная сухая трава. Да и сами дома без присмотра, как оспой покрылись пятнами от обвалившейся краски. Некому следить за их внешним видом – война сказала. Невозможно от войны уберечься, отойти в сторонку и переждать. Везде она достанет и возьмёт своё, столько, сколько ей потребуется.

Название у деревушки странное – Binnensee, или, если по-нашему, – Озеро. Странное в том смысле, что ближайший водоём, согласно карте, находился от неё в двадцати километрах. И то небольшая речка. Непонятно, при чём тут озеро?

Но самыми необычными мне казались заасфальтированные улицы. Ладно бы одна такая деревня была. Нет же, много таких, кукольных и аккуратных. Не первый день на германской земле воюем, успел уже кое-что посмотреть и сравнить. Наши «мягкие» деревенские дороги явно проигрывали германским. Но я бы сейчас многое отдал за то, чтобы скинуть сапоги и босыми ногами ступить на разбухшую после дождя пашню. Почувствовать, как при каждом шаге между пальцами ног протискиваются жирные, чёрные червяки чернозёма, увидеть, как под солнцем парит земля, дышит...

– Почему вперёд не идём? Почему застряли здесь? – подошёл ко мне замполит батальона капитан Рябов и, оглянувшись на укрывшихся за деревьями бойцов, повторил:

– Почему вперёд не идём? Ждём чего?
– Не нравится мне здесь, товарищ капитан! Тихо уж больно...
– Да плевать я хотел на твою тишину, – вызверился вдруг капитан, – командуй взводу вперёд! Какого чёрта тебе ещё надо?!

Я посмотрел в узкое, покрывшееся красными пятнами лицо замполита и отвернулся, встретившись с ним взглядом.

Невозможно выдержать его взгляд – глаза мёртвые, тёмные провалы, и всё, жизни ноль. Сам вроде психует, а глаза без эмоций. Я знаю своих бойцов, некоторые из них со мной с самого начала войны. Научился уже определять состояние человека и чего от него ожидать. Чего ждать от капитана в его нынешнем состоянии – непонятно.

Срываться он начал год назад, когда узнал, что его семья погибла под авиабомбой. Вся! Одним махом. Родители, жена, двое сыновей. Он стал нервным, психованным, часто повышал голос, и его руки стали заметно подрагивать. Он знал об этом и прятал их за спину.

– Подождём ещё, понаблюдаем, послушаем, – как можно спокойнее ответил я, мельком глянул в лицо замполиту и, не давая ему возразить, настоял: – Ещё надо подождать, на всякий случай, а потом и зайдём. С двух сторон зайдём...

– И так видно, что немцев в деревне нет! – рыкнул капитан, зло сплюнул и сел на землю, привалившись спиной к дереву.

– В этой деревне все немцы, – пробормотал я и поднёс к глазам бинокль.

Замполит оказался привязанным к моему взводу случайно. Можно сказать, оказался не в том месте и не в то время. Может, и наоборот, именно с нами он и должен оказаться, кто знает? У каждого своя судьба.

Наш полк получил приказ окружить небольшой городок, в котором, по данным разведки, укрылось полторы сотни фрицев. Сложностей не предвиделось, враг якобы находился в состоянии, близком к панике, и готов сложить оружие. Поэтому замполит и обходил вверенные его политической заботе подразделения.

Разведка опростоволосилась. Но, как я подозреваю, никто глубоко не копал. Не то это место, чтобы тратить на него время и силы. Так, прошлись поверхностно, обнаружили наличие войск, решили, что одного полка будет более чем достаточно, и откомандировали нас на зачистку. Немалую роль сыграло то, что война уже неделю как закончилась, и фрицы понимали, что обречены.

Получили мы конкретно. Из города, прямо с улиц, по нам ударили из пушек, укрытых за дощатыми щитами. Смотрели издалека – домик как домик, а потом щиты упали, и началось!.. Когда у них закончился боезапас, на прорыв при поддержке нескольких «тигров» ломанулись хорошо вооружённые и не помышлявшие о капитуляции эсэсовцы.

Удар пришёлся в аккурат между позициями двух взводов, и мне, чтобы сохранить людей, пришлось отвести свой взвод в сторону. Благо, что сразу после этого пришёл приказ не пытаться фрицев удерживать, а выпустить из кольца и дать уйти. Мол, чёрт с ними, потом добьём, никуда они не денутся. Слава богу, научились уже людей беречь, не то что, помнится, в начале войны.

Фашистов оказалось на удивление много. Чем шире становился клин, тем дальше приходилось отводить взвод, в котором волею войны оказался и замполит батальона, прибывший с разъяснением текущей обстановки.

Обойти эту деревню стороной я не мог, а ну как в ней войска окажутся? Ударят в тыл – беда будет, откатились мы недалеко, километров на пять, не больше.

Пора. Аккуратно уложив бинокль в футляр, я оглянулся и, зная, что сержант обязательно где-то рядом, негромко позвал:

– Семашко!..

– Я, товарищ старший лейтенант! – высунулся из-за соседней сосны командир первого отделения и, оглянувшись, поправил сбившуюся на затылок пилотку.

– Вместе с отделением поступаешь в распоряжение капитана. Обойдётся посёлок лесом и пощупаете, что там с другой стороны. На рожон не лезьте, действуйте аккуратно и тихо, если что – сразу отходите!

– Ясно! – кивнул сержант и посмотрел на сидящего под деревом замполита. Тот, словно не слыша нашего разговора, отрешённо глядел перед собой и рвал траву. Захватывал пальцами по несколько травинок, отрывал их и бросал, и так раз за разом – отрывал и бросал, отрывал и бросал.

– Товарищ капитан! – повысил я голос. – Вы как, остаётесь со мной или с отделением идёте?

Тот молча поднялся, отряхнул руки, одёрнул гимнастёрку и привычным движением поправил выдавшую виды фуражку с помятым козырьком.

– С отделением, – ответил он и, не оглядываясь на потянувшихся следом бойцов, скорым шагом направился в лес.

– Приглядывай там за ним, – понизив голос, попросил я сержанта, – не нравится мне его состояние, как бы под пули специально не полез!

Сержант кивнул, перебрросил автомат с груди на спину и побежал за мельтешившим между деревьями замполитом.

Я посмотрел им вслед и вздохнул. Капитан – смелый воин, в тылах не отсиживался, за спины солдат не прятался. Не один раз бойцов в атаку поднимал. Не зря же на его гимнастёрке красуются орден Красной звезды и медаль «За отвагу». Да и к бойцам он относится по-человечески. Свой командирский паёк сам никогда не получал, распоряжался, чтобы его сразу передавали в окопы.

Война уничтожает людей. Не только жизни забирает, но и выжигает души, обугливаются они, перестают жизнь чувствовать. Умирают. Так посмотришь, вроде человек как человек – ест, пьёт, спит – всё как обычно. Приглядишься повнимательней – понимаешь, выгорел человек, ушёл из нашей жизни, чужим стал.

Подождав ещё минут тридцать, я обернулся к бойцам и негромко скомандовал:

– Вперёд!..

* * *

Мы уже минут сорок шерстили деревню. Заходили в каждый дом и осматривали его. Жителей на удивление оказалось много. Но взрослых мужчин пока не встречали, только женщины да дети со стариками. Они, как правило, собирались в одной комнате и с ужасом наблюдали за обыскивающими дом бойцами.

По всей вероятности, люди перебрались сюда из городов. Спасался народ от боёв, пришедших с войной и уничтожавших всё на своём пути, не разбирая, блиндаж это или жилой дом, казарма или школа.

Время шло, и я всё больше убеждался, что, кроме гражданских лиц, в деревне никого нет. Бойцы расслабились, перестали осторожничать и уже спокойно, не опасаясь нападения, ходили по улицам. В результате чего и нарвались.

В тишине, одеялом накрывшей деревню, одиночный выстрел прозвучал резко и хлётко. Шедший передо мной пожилой боец, которого называли по отчеству – Макарычем, схватился за плечо и резво скаканул в ближайший палисадник под прикрытие дома.

– В укрытие! Все с улицы! – заорал я и сиганул следом за ним. Макарыч, зажимая ладонью рану на левом плече, яростно матерился.

– Гриша! Давай сюда, – позвал я молодого, прибывшего с последним пополнением бойца, – помоги перевязаться деду и оставайся пока с ним, а мы посмотрим, кто это нам решил так нагадить.

Обернулся к бойцам, прижавшихся к стенам домов, и приказал:

– Никому не вылезать, пока со стрелком не разберёмся! – затем посмотрел на воевавшего со мной с самого начала ефрейтора Потапенко и спросил: – Сможешь узнать, откуда этот гад бьёт?

– Уже узнал, – перебравшись ко мне поближе, усмехнулся ефрейтор.

Он выглянул из-за угла дома и, быстро отпрянув, удовлетворённо кивнул:

– Ну точно, с чердака лупит! С соседней улицы. В аккурат между двух домов ему дед и попался. Он, кстати, как дурак в чердачном окошке маячит... можно снять.

– Желательно бы живым взять. По возможности, конечно, – не согласился я, – язык в нашем положении не помешает, а то ничего об окружающей обстановке не знаем. Но не геройствуйте там... чуть что, валите его к чертям!

Ефрейтор кивнул, прихватил трёх бойцов и, обогнув дом, за которым мы укрылись, скрылся во дворе.

Как только бойцы ушли, я надел на ствол автомата каску и высунул её за угол дома. Этого чёрта надо отвлечь, чтобы он занялся делом и не думал о собственных тылах.

Выстрел раздался почти сразу, но стрелок в каску не попал. Я спрятав приманку и через несколько секунд выдвинул её уже пониже. Выстрел. Опять мимо. Хотя в угол дома он всё же зарядил. Каску прятать не стал и, дождавшись очередного безрезультатного выстрела, выглянул уже сам.

Стрелок находился именно там, где и говорил ефрейтор. Он поидиотски высунул ствол винтовки из слухового окна и с азартом, достойным лучшего применения, пытался пристрелить хоть кого-нибудь. Странно, он и в дом-то не всегда попадает. Как он вообще умудрился Макарыча зацепить? Случайно, что ли? Очень на то похоже.

Недоделанный снайпер успел выстрелить ещё три раза. Потом, после непродолжительного затишья, раздался условный свист. Мы с бойцами, соблюдая максимальную осторожность, перебежали улицу и вломились во двор дома, из которого велась стрельба.

Снайпер действительно оказался недоделанный. Вернее, не снайпер и даже не военный. Пацан лет тринадцати-четырнадцати. Одет, как и большинство уже виденных мной детей, с чужого плеча. Этому достался явно не по росту тёмно-коричневый пиджак, рукава которого не доходили ему до запястий. Под пиджаком замызганная светлая рубашка с оторванным наполовину воротом. Штаны в тон пиджаку и тоже

короткие. Завершали наряд растоптанные тупоносые ботинки, даже с первого взгляда выглядевшие слишком большими.

Лохматый, весь в пыли и паутине, он стоял с низко опущенной головой и, время от времени шмыгая носом, размазывал грязь по чумазому лицу. Он боялся, очень боялся. От страха у него тряслись руки, колени, голова, всё тело ходило ходуном.

– Полнуйся на стрелка, командир! – засмеялся Потапенко. – Это ж надо! Фрицы нашему деду за четыре года не смогли ни единой от-метины оставить, а этот щенок после окончания войны его умудрился подстрелить!

– А чего он весь такой разодранный? – поинтересовался я, налюбовавшись на мальчишку. – Неужели ещё и сопротивлялся?

– Да не! Это он, товарищ старший лейтенант, сбежать хотел, – хмыкнул один из бойцов, сопровождавший Потапенко, – а я его за ворот и сцапал.

– Так, посадите его куда-нибудь, что ли, – попросил Макарыч и, ткнув пальцем в скамейку, стоящую возле стены дома, добавил: – Вона на лавку пушай сядет, а то я смотрю, у него головёнка от страха так трясётся, что того и гляди отвалится!

– Крикните сюда Семю, – распорядился я, – он у нас один более-меее шпрехает. Пускай поспрашивает этого вояку, какого рожна он за винтовку схватился? И есть ли здесь ещё такие же ненормальные детки вроде него?

Но поговорить с мальчишкой сразу не получилось. Не успел Семён задать первый вопрос, как от калитки, ведущей во двор, раздался над-рывный женский крик:

– Найн! Найн! – и через столпившихся во дворе бойцов к пацану на-чала пробиваться молодая женщина. Её задержали, и тогда она, захлё-бываясь слезами, начала что-то быстро говорить, обращаясь почему-то к Макарычу.

– Семён, узнай, кто это и что ей здесь надо?

– Это его мамаша, товарищ старший лейтенант, говорит, что её сын ещё маленький, не ведает, что творит, и что мы не имеем права убивать детей.

– Не вам, дамочка, указывать нам, на что мы имеем право, а на что нет! – рявкнул я и спросил у Семёна: – Перевёл?

Дождавшись утвердительного кивка солдата, подошёл почти вплот-ную к немке и, уставившись ей в глаза, понизив голос, медленно проговорил:

– После того, что вы вытворяли на нашей земле, вам лучше помолчать!

Женщина в ужасе уставилась на меня, зажала рот ладошками и ча-сто-часто закивала, словно несущка над рассыпанным пшеном.

Когда я отвернулся, она сдавленным голосом быстро начала что-то лопотать.

– Что она там? – спросил я и опять посмотрел на немку.

– Просит прощения за сына... ещё говорит, что согласна на всё, лишь бы мы не убивали её ребёнка.

– Это хорошо, конечно, что она прощения просит. Спроси-ка у него, зачем он стрелял в наших солдат и даже ранил одного?

Семён спросил. Но мальчишка как воды в рот набрал. Тогда женщи-на начала ему что-то торопливо говорить. Я посмотрел на Семёна.

– Уговаривает, – пожал тот плечами, – просит сына не злить русских ещё больше.

То ли уговоры матери подействовали, то ли немного успокоился, поняв, что его не убьют, – пацан заговорил. Тихо, запинаясь, не поднимая головы, рассказал, что винтовку и патроны ему дал староста. Он же сказал, что если нас не остановить, то мы убьём всех, а маленьких детей съедим, так как все русские солдаты звери и питаются детским мясом.

Семён вдруг усмехнулся и, глянув на женщину, спросил, обращаясь к Макарычу:

– Ну что, дед, не проголодался случайно? А то он просит, чтобы мы не ели его младшую сестрёнку, любит он её очень, хочет, чтобы жила.

– Свят дух по земли! – выругался Макарыч и в сердцах сплюнул. – Это что же такое творится-то, товарищи дорогие! Да как же этикие страсти придумать-то можно? Как это назвать-то? – и он, вытаращив глаза, уставился на опять перепугавшегося мальчишку.

– А это, Макарыч, называется фашистской пропагандой, – ответил я и спросил:

– Что с этим хулиганом-то делать будем? Без наказания такие выкрутасы оставлять никак нельзя.

– Что делать, что делать... – пробормотал, успокаиваясь, Макарыч, – не стрелять же его в самом-то деле! – и, повысив голос, предложил: – Портки вон спустить да по голому заду крапивой отходить! Чтобы впредь неповадно было!.. Нас завсегда так уму разуму учили.

Он осмотрелся и озабоченно протянул:

– Да-а-а, други мои, крапивка у них здесь худосочная, с нашей ей никак не тягаться, но если умеючи, то и эта сойдёт.

И, оглянувшись на столпившихся вокруг бойцов, попросил:

– Хлопцы, притащите-ка мне крапивы, эвон под забором, гляжу, выросла.

Я пожал плечами. Это, конечно, не метод Макаренко, но через зад действительно лучше и быстрее доходит. И запоминается подольше. На собственной шкуре испытывал не раз! Не всегда взрослым был.

– Давайте, ребята! – разрешил я. – Раз пять ему по заднему месту крапивой пройдите да отдайте мамке. Кстати, Сёма, – спохватился я, – ты мамаше-то скажи, что мы её сына есть не собираемся, а то увидит, как с него штаны снимают, подумает невесть что.

Пацан взвизгнул, когда его подхватили несколько рук и, сдёрнув штаны, положили животом на лавку. Макарыч решил наказать мальчишку сам. Поморщившись от боли в раненой руке, он неторопливо выбрал самые достойные, по его мнению, крапивины и со знанием дела примерившись, стегнул подростка по ягодицам первый раз. Сначала мальчишка ойкнул, а когда на коже проступила розовая, с каждой секундой наливающаяся малиновым цветом полоса, заверещал. Макарыч удовлетворённо крикнул и приложился крапивой к заднему месту пацана ещё раз. Потом горе-воин завывал уже не переставая, пока Макарыч трудился над его задним местом под смехи бойцов, ведущих хором отсчёт.

– Ну вот и лады, – удовлетворённо выдохнул Макарыч и со словами: – Всё, проваливай отседава, – согнал ревущего мальчишку с лавки.

Он шустро вскочил и, придерживая штаны обеими руками, поспешил к матери. Та, всплеснув руками, обняла его за плечи и, оглядываясь на нас, торопливо повела сына к калитке, по пути что-то выговаривая

ему на ухо. Макарыч постоял, задумчиво глядя им вслед, а потом с удовольствием уселся на лавку сам.

С удобствами отдыхал он недолго. Едва за мамашей с сыном закрылась калитка, как вдалеке раздались автоматные очереди.

– В конце деревни стреляют! – уверенно сказал Потапенко и, подняв вверх указательный палец, прислушался. – Там как раз ихняя церковь находится. Я её, товарищ старший лейтенант, заприметил, когда мы с чердака этого детёныша выковыривали.

– Далеко до неё?

– Да не, недалеко! Надо тока на другую улицу перебраться, – махнул рукой ефрейтор и, направившись к калитке, крикнул: – Давайте за мной!

Через небольшой переулок вышли на соседнюю улицу. Привычно прижимаясь к домам, пригнувшись, побежали в сторону не на шутку разгоравшейся стрельбы.

Кирха, обнесённая невысоким заборчиком, находилась на небольшой площади, в которую упирались три деревенские улицы.

Я уже видел её остроконечную верхушку, когда громыхнули два гранатных взрыва, и стрельба прекратилась.

– На площадь никому не высовываться! – приказал я, осторожно выглядывая из-за угла дома, стоящего напротив церкви.

Перед дверями кирхи полукругом лежали мешки, из которых через многочисленные пробоины тонкими струйками высыпался песок. За мешками находились мои бойцы, ушедшие с майором. Часть из них, осматриваясь, выглядывала из-за баррикады, а трое топтались возле дверей кирхи.

– Свои! Не стрелять! – заорал я и, подняв руки, вышел из-за дома.

– Давайте быстрее сюда! – закричал один из бойцов и махнул рукой, поторапливая.

– Что тут у вас? С эсэсовцами, что ли, сцепились? – кивнул я в сторону тела, одетого в чёрную форму, облепленную опознавательными знаками войск СС.

– С ними, с тварями! – выругался Семашко и, ткнув пальцем в труп, добавил: – Их четверо было. Если без гранат, то до сих пор, наверное, возились бы. Умеют воевать, сволочи!

– Все целы? Капитан где?.. – спросил я, осматриваясь.

– Все!.. А капитан там, в госпитале, – кивнул сержант в стороны кирхи.

– Это госпиталь у них был, что ли?

– Почему был? – удивился Семашко. – Он и сейчас есть, я там раненых видел.

– А капитан...

– Там он... внутри, – пожал сержант плечами. – Один из фрицев раненый внутрь заполз, замполит зашёл следом и... в общем, добил немца. Потом подобрал его автомат, приказал нам всем выйти и закрылся изнутри.

В это время из кирхи раздалась короткая очередь.

– Твою ж мать, капитан! Что же ты творишь-то!.. – выругался я и скомандовал: – Потапенко, надо двери открыть, навалитесь-ка толпой на неё, а то политрук со злости наделает делов!..

Бойцы навалились на двери впятером, но та не поддавалась. Дверное полотно добротное, на совесть сработанное да ещё и обитое металлическими полосами.

– Отойдите все подальше! – скомандовал Потапенко и, отступив от двери, выпустил по замку длинную очередь из ПППШ.

Взвизгнули отрикошетившие пули, брызнула во все стороны щепы. Потапенко, перехватив поудобнее автомат, примерился и изо всех сил ударил в дверь ногой. Она распахнулась, и сразу же в глубине здания снова раздалась очередь, а следом ещё одна.

– Назад! – остановил я рванувшихся вперёд бойцов. – Чёрт его знает, что у него на уме!.. Сам пойду поговорю...

Изнутри кирха оказалась довольно просторной: лавки сдвинуты к стене, и всё освободившееся пространство занимали металлические кровати, между которыми валялись окровавленные простыни, одеяла, бинты и какие-то тряпки. Сразу видно, что помещение покидалось в спешке и о соблюдении порядка никто не думал.

Я остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку и, услышав за спиной шаги, обернулся. С десятков бойцов во главе с Семашко стояли за моей спиной. Я махнул рукой: «Чёрт с вами, оставайтесь», – и медленно направился к стоящему возле кроватей замполиту.

Успел сделать с десятков шагов, когда он неторопливо поднял автомат и, прежде чем я успел закричать, выстрелил короткой, на несколько патронов, очередью.

– Капитан!.. Отставить!.. Прекратить!.. – всё-таки заорал я и рванул к нему.

Тот, не обращая на меня внимания, спокойно прицелился в лежащего на кровати человека и опять дал короткую очередь. Я остановился за его спиной и прошептал:

– Что же ты натворил, капитан...

Замполит бросил автомат на пол, повернулся ко мне и засмеялся.

– Всё!.. Этот последний, – подойдя ко мне, сказал Семашко, – шестеро их оставалось, лежащих, я успел сосчитать, прежде чем капитан приказал выйти.

Замполит уже не смеялся, он стоял, подняв голову вверх, и улыбался. Губы его шевелились, словно он с кем-то разговаривал.

– Товарищ капитан! – окликнул я его, но он не ответил. Он вообще никого не замечал. Мне показалось, что капитан чего-то ждёт, вглядываясь в высокий потолок кирхи.

Обойдя меня и Семашко, к замполиту подошёл Гриша, поднял автомат, и навёл его в грудь капитану. То, что последует дальше, ясно как день. Я мог его удержать, успел бы!.. Но не стал.

Дёрнулся, басовито рыкнув очередью, автомат в руках бойца. Капитан, сделав назад два маленьких шага, словно его сильно толкнули в грудь, раскинул руки и упал на спину. Он так и смотрел вверх, улыбаясь, когда подошёл Макарыч, кряхтя опустился рядом на колени и, проведя ладонью по лицу, закрыл ему глаза.

– Зачем?.. – посмотрел я на Гришу.

– Я видел, как убивают раненых... – хриплым шёпотом ответил парень. – Видел... Ещё тогда, в самом начале... Я помогал в госпитале. Фашисты шли вдоль кроватей и стреляли в раненых... шли и убивали... спокойно, не торопясь. Я слышал их голоса, видел их лица. Фашисты... Они не должны жить... Я под кроватью спрятался... меня не увидели... Капитан убил раненых... Он не должен жить.

Вот так вот. Что можно на это ответить? Ничего!

Не я один не остановил парня. Бойцы его тоже не удерживали, хотя и видели, что он собирается сделать. Значит, они думают так же: «Фа-

шисты убивают раненых. Если ты убил раненых, значит, стал таким же, как и они. Поэтому не должен ходить по этой земле».

Всё правильно. Логика простая и прямая, как штык. В ней нет места для закоулков, в которые можно забрести и, устроившись в удобном кресле, поговорить, порассуждать о бытии да поспорить о правых и виноватых. Штык быстро и качественно всё расставляет по своим местам.

– Семашко! – обратился я к сержанту. – С капитана надо снять форму, тело вынесем за деревню и похороним в лесу. Форму, документы и планшет политрука сжечь. Да, ещё, чуть не забыл! – спохватился я, когда сержант с двумя бойцами направились к телу замполита. – Убитого фрица подтащите к кроватям и положите рядом с ним автомат, из которого капитан стрелял.

За кирхой сложили костёр из разломанных заборных штакетин, и я, присев рядом на корточки, наблюдал, как пламя жадно заглатывает вещи, когда-то принадлежавшие хорошему человеку. Смелому воину. Любящему мужу и отцу. Человеку, отдавшему этой войне всё! Даже собственную душу!..

– Товарищ старший лейтенант! Всё сделали. Получается так, что этот эсэсовец вроде как сам своих раненых перед смертью перебил. Можем выступать, – доложил старшина и, понизив голос, спросил:

– Вы что-нибудь скажете перед выходом?

– Обязательно скажу, сержант, но не сейчас, позже.

Тело капитана закопали в километре от деревни, в небольшом леске. Перед тем как двинуться дальше, я построил взвод и предложил почтить память погибшего капитана Рябова. Никому из бойцов ничего объяснять не надо – все всё понимали. Вернись политрук с нами, его бы расстреляли за то, что он сделал, и в памяти он остался бы убийцей беззащитных людей. Он понёс за это наказание и умер.

Я уверен в своих бойцах, никто из них не проговорится, и капитана будут помнить как воина, погибшего на поле боя. Светлая ему память!

Наталья ВЕСЕЛОВА

Родилась в 1967 году в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Шеф-редактор литературного журнала «Золотое слово».

Автор 18 книг (повести, романы), публикаций в периодике (рассказы, очерки, эссе). в журналах, альманахах и сборниках научных трудов: «Нижний Новгород», «Южная звезда», «Земляки», «Царицын», «Север», «Изъяны логики», «Писатель XXI век», «Макарьевские чтения», «Невский проспект», «Витражи» (Австралия), «Приокские зори» и других. Лауреат второй степени литературной премии «Гордость Державы Российской» за повесть «Одиннадцатый час» (2008). Обладатель Гран-при в номинации «Современная русская проза» всероссийского конкурса «Лермонтовские сезоны» (2021). Второе место на конкурсе «Книготерапия» издательской платформы Литрес в номинации «Малая проза». (2023).

Живет в Санкт-Петербурге.

ДОГНАТЬ ЛУНУ

Рождественский рассказ

*Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать – чудо есть!*
М. Волошин

Это была ошибка. За ёлкой следовало ехать куда угодно, только не в этот посёлок, где прошлым летом вы снимали большую жёлтую дачу с кружевной верандой. Ты, Ася, всегда считала себя настолько умной, что давно уже могла быть за это наказана. Срок пришёл, и ты именно сегодня совершила фантастическую глупость: когда в опаловых утренних сумерках гнала по полусонной загородной трассе, то и не подумала представить, что случится, когда ты бросишь машину у начала песчаной дорожки, ведущей к древней однопколейке, и ступишь на первую же утонувшую в сорняках бурую от старости шпалу. Призраки немедленно обступят тебя со всех сторон – вот что случится. Особые, страшней которых ничего нет: призраки погибшего счастья. Никаких других ты никогда уже не испугаешься – все остальные просто смешны теперь для тебя. Из того кустарника справа, картова лепеча, вылезет Липочка, с упругим подосиновиком в цепких пальчиках. Впереди, метрах в двадцати, Липочка начнёт старательно перескакивать со шпалы на шпалу на одной ножке, изо всех сил держа на весу другую. Слева, в кустах орешника, густо усыпанного коричневыми шариками фундука, раздастся Липочкин восторженный вой и мелькнёт её же лазурная футболка. Даже неуместная дневная луна, похожая на остывший чебурек, – и та немедленно вызовет к жизни Липочкину изумлённую мордашку с глазками-черешнями и, что ещё ужасней, её же характерный, с басовитым придыханием голосок: «Ма-ама, почему это луна – днём, а-а?!»

Возвращаться обратно, прыгать в машину и искать другое место с юными ёлками – ещё глупее, чем шагать сейчас по одноколейке, где до участка вырубки, много лет назад засаженного крошечными хвойными деревцами, осталось не более полукилометра – пусть и твоей личной Виа Долароза*. Думать, Ася, раньше надо было – а теперь только идти с запёкшимся сердцем навстречу прозрачной, тающей с каждой секундой луне. И ведь ясно, что ввек её не изловишь, – вот и очередной Липочкин двойник с хрустальным хохотом вприпрыжку пустился вдогонку – а все равно невольно ускоряешь ход. Как неудобно шагать: на каждую шпалу наступать – почти семенить, а через одну – Голиафова поступь какая-то... А призрак луны беззаботно пятится по лавандовому небу – как тогда, когда подосиновик... и тогда, когда орешник... и тогда, когда на одной ножке...

Нет, это невозможно, наконец, так и спятить недолго. Ася, возьми себя в руки. Себя, а не топор – его ещё рано. И, кстати, как им пользуются? Ты же сроду и кустика не срубила. Вот-вот, об этом и думай: возьмёшь двумя руками, размахнёшься наискосок, ствол у ёлки-семилетки пока не очень толстый, должно получиться, лишь бы не по своей ноге... «Деда Лёша, а ты себе палец не отрубишь?» – это ещё откуда? Ну да, конечно, Липочка прошлым летом стоит и смотрит, как хозяин дачи колет дрова... Она уже была больна тогда, но никому и в голову... Ася, не надо так быть – ещё услышит кто-нибудь и прибежит спасать... или убивать – но это пусть... Не надо, слышишь... Не на-а-а-а... А-а-а-а-а! Ну, повои, повои, может, легче станет... Не станет.

«Это, собственно, даже ремиссией в полной мере назвать нельзя. До рецидива прошло чуть больше месяца – вы и сами должны понимать. Мы тут уже привыкли, что родители наших больных теперь широко грамотные стали, чуть ли не протоколы лечения лейкозов нам диктуют... Прогноз, прогноз... Все хотят прогноз. А здесь вам, мамочка, не Гидрометцентр. Мы делаем всё, что можем, – и даже больше, но медицина, собственно, является медициной, а не шарлатанством, чуть больше века. Ну, может, полтора. И это для неё едва-едва подростковый возраст. Лет через пятьдесят, а то и раньше, детский острый миелобластный лейкоз будет, конечно, излечиваться почти всегда – всё к тому идёт... Но это ещё не теперь. Не теперь. Сейчас – только в половине случаев. Или даже меньше. И вы не в ней. Не в этой половине. В смысле, ваша дочка Евлампия... Так бывает, и часто. Просто попытайтесь понять», – примерно так он сказал, их лечащий гематоонколог.

Но ты не хочешь пытаться. Поэтому и приехала в старый, прошитый забытой одноколейкой лес за рождественской – в твоём случае она точно не новогодняя! – мохнатой ёлкой, зелёной, как малахит в твоих серьгах, подаренных мамой, когда родилась на свет её внучка Евлампия. Эта мама сразу придумала называть малышку Липочкой – и, в общем, правильно, иначе получалась Лампочка – не дай Бог, в школе так дразнить будут... И не даст. Потому что она никогда не пойдёт в школу. Нет, нет, лучше про ёлку... Дома молодая бабушка уже сняла с антресолей коробку с игрушками и сидит в детской у Липочкиной постели, пытаясь заставить её поесть хотя бы мороженого – практически единственного съестного, на которое иногда удаётся уговорить ребёнка между двумя больничными эпопеями – минувшей и неминуемой. Ба-

* *Виа Долароза* — улица в Старом городе Иерусалима длиной около 650 метров, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.

бушка сама стала как дитя последнее время: она уговаривает внучку на каждую ложечку, но слухом вся устремлена в прихожую, откуда иногда доносятся мирные звуки лифта – лёгкий гуд, постукивание и пощёлкивание. Эту незатейливую мелодию она давно выучила наизусть, и знает, на каком щелчке та должна затихнуть, если лифт остановится на их седьмом небе – в смысле, этаже, конечно. Каждый раз она надеется, что это едешь ты, Ася, и везёшь им чудо – настоящую, живую ёлку. Хотя почему живую? Только что погубленную.

Ведь ты сама недавно неумело и садистски срубилась её в утреннем жарком августовском лесу.

* * *

Асина мама оказалась в каком-то смысле виноватой в том, что к врачу обратились только поздней промозглой осенью, когда серьёзность Липочкиного недомогания стала настолько очевидной, что уже невозможно было списывать её на детские капризы и усталость после десяти мучительных часов в детсадовской группе. (Те, кто считает, что в идиллическом «садике» их розовощёкие детки отдыхают, играют и развиваются, – просто утратили всякую связь с реальностью.)

«Ну что ты делаешь из Липочки какого-то хроника! Устала девочка – а как ты думала? Вот и капризничает. У нас с тобой рабочий день по восемь часов – и то к вечеру еле-еле ноги волочим, а ей всего пять лет, и она торчит в садике с полдевятого до шести!»

«И в чем трагедия? Ножки болят? Так это она растёт! Кости вытягиваются – вот и больно. У тебя тоже так было, и у меня!»

«Откуда столько синяков? Так ведь дети резвятся, прыгают, лазают – и ушибаются конечно, а как без этого?»

«Бледненькая? А чего ты хочешь от петербургского ребёнка? Климат-то у нас какой!»

«Тридцать семь и две – что это за температура? Просто носом хлопает опять, разведи ей аскорбинку...»

А работы было действительно много – у обеих. Особенно после внезапной смерти совершенно здорового богатыря и спортсмена папы и предательского, хорошо подготовленного бегства Асиного интеллигентного супруга. Мама много лет вдохновенно преподавала на филфаке в педагогическом, Асе посчастливилось устроиться по специальности – графическим дизайнером в престижную и продвинутую, но варварски жестокую фирму, где безжалостно штрафовали не за минуты, а за секунды опоздания, при этом и не думая оплачивать часовые переработки. И закономерно радовало измотанных женщин, тридцати- и пятидесятилетнюю, что в выходные дочурка-внучка вдруг перестала со шkodливым смехом врываться к каменно спящей маме или бабушке в комнату в половине седьмого утра, с размаху плюхаясь беззащитной жертве на сонный живот, а оставалась до полудня в постели, вяло щелкая пультом телевизора.

Никто и шальной мысли не допускал, что это были первые звоночки – которые они проспали, прохандрили, проработали – просто от них отмахнулись... Когда ещё можно было помочь. Вывести в стойкую ремиссию. На годы. А потом – медицина выйдет из подросткового возраста...

Того самого, в который никогда не войдёт девочка Липочка. Потому что её маме и бабушке хотелось спать, а не думать о новом горе, уже крадущемся на тонких плюшевых ногах.

В поликлинику отправились только после того, как Евлампия стала отказываться от всякой еды, даже той, что раньше считалась наградой за хорошее – идеальное! – поведение: не вызывало энтузиазма ни сочное пирожное «картошка» с тремя белыми кремовыми шипами на спинке, ни страстно любимый домашний малосольный огурчик, ни знаменитые бабулины фрикадельки под сливочным соусом, ещё недавно исчезающие с тарелки до того, как бабушка успевала умильно спросить: «Нравится?» Первые анализы сдавали беззаботно, в полной уверенности, что, по тёмному времени, всего лишь не хватает каких-нибудь хитрых чудодейственных витаминчиков, которые и придётся месяц-другой «пропить» для поднятия общего иммунитета... После получения результатов Липу с онемевшей от неожиданности бабушкой, не пытавшейся даже переспросить что-нибудь дельное, сразу же направили на консультацию в детский онкологический центр, где, осмотрев, предложили экстренную госпитализацию на обследование, так что удалось вымолить только день на сборы и осмысление...

Совсем скоро у взрослых наступила знаменитая стадия отрицания: ну не может же быть – здоровый ребёнок – и такой диагноз – рак крови – какая чепуха – что они тут намудрили – перестраховываются, а мы страдаем!

И эта стадия так никогда и не кончилась по-настоящему, хотя где-то на задворках существования одна за другой, бледными и прозрачными, как сегодняшняя дневная луна, тенями проходили и другие, раз навсегда положенные – гнев, торг, депрессия и даже принятие... Впрочем, о каком принятии может идти речь, когда сегодня, поздним утром седьмого августа, Ася отвязывает от верхнего багажника замотанную в огромный чёрный мусорный пакет браконьерски срубленную в лесу рождественскую ёлку!

* * *

Мы та самая странная семья, которая не отметит Новый год. Ну, почти – потому что салат из крабовых палочек, заправленным постным майонезом и запиваемый подаренным студентами шампанским, с последующим быстрым засыпанием на диване (моим) и в дедовском кресле (Асиным) – неприлично называть новогодним праздником. Мы празднуем Рождество – так повелось ещё в смутных девяностых, когда, с подачи суровой воцерковленной подруги, я носила унылый платок и длинную юбку даже дома, а хнычущую малышку Асю волокла в обжитую окраинную церковь на метро и автобусе – вечером в субботу и наутро в воскресенье, ничтоже сумняшися лишая её обоих выходных дней разом. Похожая на крошечную старушку-карлицу в специальном церковном наряде – тёмном платье до щиколоток и белой косынке – она смиренно выстаивала длинные службы от начала до конца, ничего не понимая ни в них, ни в причинах такого мучительства с моей стороны. Ася не просила шоколадных батончиков и жареных сосисок во время бесконечных постов, обречённо ела жидкий гороховый суп и капустную котлету за скучным обедом – и я лишь отдалённо могу теперь представить, как она, лишённая по малолетству права на законный бунт, всё это ненавидела. Несчастных, ныне выросших и не покинувших Христову Церковь детей, чьи родители с неразумным усердием пытались с головой «воцерковиться» в те безумные годы, теперь с доброй иронией называют не иначе как выжившими жертвами. Ася как раз из таких – и не моя,

конечно, заслуга в том, что она не атеистка сейчас: верно, очень уж крепкая и любящая рука невидимо вела нас обеих тогда сквозь тьму...

В наши дни тех, кто празднует Новый год, как будто перестали в церквях обзывать язычниками и не допускать к причастию – но мы с Асей и сами отвыкли от этого вменённого всем в любовь праздника, и Липочку не приучили. Вот уже два сознательных года из своих пяти с половиной она уверена, что слащавый утренник на Новый год с ужасным, грохочущим блестящей палкой краснорожим дядькой, у которого борода на верёвочках и длинная синяя шуба – сомнительная забава, существующая лишь для и без того нелюбимого детского сада, а настоящий добрый праздник – это именно рождественская ёлка с подарками для малышей – как в нашем уютном «домашнем» храме. И так, думает она, устроено везде и для всех.

Поэтому ничего удивительного, что позавчера вечером, когда мы с Асей, как всегда, прощались с внученькой на ночь – уже после прочтения традиционной сказки и двух одна за другой пропетых песенок (первая совсем глупая, зато вторая – про дедушку-голубчика*) – Липочка вдруг спросила:

– Мам, баб, а скоро Рождество?

Я уже раскрыла рот, чтобы ответить, что нет, не скоро: дескать, должно, милая, закончиться лето, начаться и тоже закончиться осень, а из трёх зимних месяцев следует пройти одному целиком и ещё неделе от другого (в сердце горячо толкнулась кровь при мысли о неминуемой больнице в ближайшее время, чёрном ужасе очередной «химии», которая надвигалась на нас, как цунами на обречённый прибрежный город) – но Ася вдруг опередила меня, выпалив скороговоркой:

– Послезавтра! Послезавтра уже! Готовься загадывать желание – только смотри, чтобы оно было самое-самое важное, – и проигнорировала мой ошеломлено укоряющий взгляд.

В коридоре я все же не сдержалась:

– Зачем ты соврала ей?! Только разбередила ребёнка... Она ведь не забудет теперь! Будет ждать, а ты...

– Я никогда не вру, – отчеканила моя непредсказуемая дочь. – Послезавтра у нас действительно Рождество. Я так решила. И ты понимаешь, почему. Не лги – прекрасно понимаешь. Начинаются выходные – и прекрасно. Завтра я наизнанку вывернусь – но привезу лучшую в лесу ёлку, а ты сделаешь то же самое – но добудешь самые классные подарки и купишь столько разного мороженого, сколько сможешь унести за один раз.

Я кивнула. В конце концов я не зря преподаю русскую литературу – в своём Золотом и немножко в Серебряном веке она описала великое множество красивых и добрых чудес – то рождественских, то пасхальных. Но то литература. И имелось в виду настоящее Рождество. А моя дочь, похоже, дерзнула создать своё собственное... Как бы не быть всем нам за это наказанными...

И она в самом деле утром торжественно вволокла в прихожую монструозную двухметровую ёлку в мешке – не срубленную, а будто выломанную откудато-то: торчащий конец ствола выглядел так, будто его грызли зубами.

– Никудышный дровосек из меня получился, – вздохнула Ася, в изнеможении падая в кресло. – Не сладила я с топором. Рубила, рубила...

* А. Плещеев, баллада «Старик».

И всё как-то вкривь и вкось... А она стоит себе, как стояла. Тогда я озверела, мама... Кинулась на неё, как на врага, и стала крутить, трясти, раскачивать... Снова топором её колотила... Вот посмотри, какие руки стали... – она вытянула их – голубоватые и тощенькие – ладонями вверх, и я заметила многочисленные царапины – короткие и длинные, мелкие и глубокие. – Рублю и ору, рублю и ору... Вот так: ы-ы-ы... Но наконец она повалилась. Кажется, даже с каким-то стоном...

«У меня несчастная дочь, – подумала я в ту минуту. – И я ровно ничего не могу сделать, чтобы это исправить». Я могла только сесть рядом с ней в то же безразмерное кресло, потеснив Асю, заправить ей за ухо жёсткую русую прядку и припасть головой к её напряжённому пульсирующему виску; и так мы сидели – мокрая щека к мокрой щеке, глядя в сияющее окно.

– Я все-таки догнала её, – без улыбки сказала Ася. – Смотри, на окно положила... – и добавила, поколебавшись: – Ну, или она меня... настигла.

Я изумлённо проследила за её взглядом и внезапно поняла, о чём идёт речь: прямо на раме распахнутой форточки лежало – сначала мне показалось, что облако, но нет – то была просвечивающая, как апельсинная долька на свету, тень ущербной дневной луны.

– Нормальный рождественский месяц, – уверенно сказала я и погладила свою умницу-дочь по голове.

* * *

После обеда мать и дочь дружно притащили из необитаемой песочницы ведро с песком, налили туда воды и выкатили из-под дивана обшарпанные папины гантели. Потом они высвободили ёлочку из полиэтиленового плена и вдвоём аккуратно ввинтили огрызок ствола глубоко в мокрый песок, укрепив, сколь возможно, гантелями. Для того, чтобы превратить старое жестяное ведро в волшебный рождественский сугроб, пожертвовали шёлковый белый палантин с серебряным люрексом – и получилось, будто луна уже взошла и осыпала звёздной крошкой нетронутые снега.

Ель наряжали споро и тщательно, как невесту для венчания, – по одной вынимая хрупкие игрушки из старой пожелтевшей ваты, вынуд – тотчас узнавая «в лицо» и ревниво выискивая каждой заслуженное место:

– Нет, серебряный шар с синицами вешаем на виду! Тебе было три годика, и я наряжала для тебя первую «осознанную» ёлку. А шар в тот год купила только один, на последние гроши, потому что зарплату ни мне, ни папе тогда не платили, и даже, чтобы облезлую ёлку купить, мы заложили обручальные кольца! Но уж больно синицы мне показались хороши – смотри, какие у них жёлтенькие грудки, синие с белым шапочки...

– Мама, а вот этот я помню – голубой, с черными веточками и шишками! Как тонко нарисованы! И на шишечках снег блестящий... Мне уже было не три, а четыре, и мы вместе пошли в универмаг за игрушками... Продащица ещё попалась такая смешная и ласковая... Там в наборе было шесть разных шаров, а уцелел только этот почему-то... Давай его рядом с твоим повесим.

– Надо же, юла полосатая... Должна быть ещё Голова из «Руслана и Людмилы»... Точно... И уродливая блестящая плюшка с красной

звездой... И лимончики прозрачные... Ага, вот они... Это все мы покупали уже с *моей* мамой, а твоей бабушкой в Гостином дворе на Садовой линии... Сейчас скажу – да, перед семьдесят девятым годом... Мне только четыре исполнилось, и я, помню, умолила маму купить страшенького Деда Мороза из папье-маше. А на Снегурочку у неё денег не хватило...

– Дай мне гирлянду, я на табуретку влезу... И знаешь, мы всё-таки эти старинные флажки тоже повесим – помнишь, Липочка их с таким интересом зимой разглядывала – и картинки какие чудные, мне самой нравятся...

– Залезай, я подам снизу... Не забудь про сосульки – их наверх туда, к звезде! Эту Вифлеемскую мне наш священник подарил лет двадцать назад, с восьмью лучами – а пятиконечную велел выбросить... Кстати, насчёт зимы – может, шторы не задёргивать? Когда Липочка проснётся, как раз стемнеет уже, и по небу вообще непонятно будет, зима или лето. Получится настоящая рождественская ночь...

– Мама! Домофон, слышишь?

– Не спускайся, а то грохнешься ещё... Я сама отвечу.

А это пришла патронажная медсестра из районной поликлиники – вечная, та, что, уже и тогда не юная, ходила проверять ещё грудную Асю – бог весть зачем, потому что, приходя, не делала ровно ничего. Тем более бесполезна была она и теперь, когда со шприцами и капельницами Ася и мама давно уж вынужденно наловчились управляться сами. Вероятно, деликатно проверяла, не случилась ли ожидаемая убыль на их участке, пока ребёнка не перевели в стационар, с которого, в случае *чего*, и спрос... За всё это руки чесались её убить. Дама уверенно шагнула из крошечной прихожей в коридор, привычно целясь на закрытую дверь детской, кинула по пути рассеянный взгляд в гостиную... Увидела Асю на табуретке, недонаряженную ёлку...

Её сознание перевернулось. Мимика всех этапов осмысления последовательно прошла перед глазами хозяек дома: отпавшая челюсть, недоверчивый взгляд в окно («Отсюда видно только небо – вроде летнее, но можно и ошибиться...») – отчаянный – на собственный подол и ноги («Нет, босоножки и юбка в цветочек, точно, лето...») – исполненный тяжкого раздумья – на ёлку и коробку с игрушками («Они точно её наряжают...») – беглый испуганный – с матери на дочь и обратно («Вроде нормально обе выглядят...») – растерянный – внутрь («Может, это всё-таки со мной что-то не то?»)... Так и не придя ни к какому заключению, она, наконец сдалась и робко спросила:

– А... это вот...? – и описала дрогнувшей рукой неуверенный полукруг.

– Ёлку украшаем, – с жестокой честностью мстительно отозвалась Ася сверху.

Медсестра обречённо попятилась к двери, не отрывая глаз от очередной непостижимой картины человеческого бытия. А бабушка осела на стул около двери, закрыла лицо руками и беспомощно заплакала.

* * *

– Липочка! Подъём! Заспалась ты сегодня, девочка, так и всё Рождество проспий! – это Ася говорит, идеально счастливым голосом.

На ней ярко-синяя атласная блузка и светло-серая юбка в складочку.

– Сейчас мы с тобой умоемся, расчешем наши весёлые... кудряшки, наденем любимое золотое платьице – и будешь ты принцесса! –

несколько фальшиво, но тоже почти правдоподобно вторит ей бабушка, невольно запинаясь на невинном слове «кудряшки»: она-то знает, что они неожиданно прорезались на внучкиной голове после последнего курса химиотерапии, вместо облетевших собственных шёлково-гладких волос, распушились, набрали силу, порадовали всех – и скоро снова выпадут, потому что рецидив лечат химией ещё более агрессивной... – «Я подумаю об этом завтра», – мужественно произносит она про себя.

На Липочкином лице проступает вымученная радость: Рождество – это ведь надо спеть колядку – как там... *Колокольчик наш звенит, Добрым людям говорит, Мы пришли колядовать, С Рождеством вас поздравлять...* И ещё стишок прочитать про Младенца-Христа. Тогда дадут подарок и шоколадные конфеты. В прошлом году она на утреннике в церкви выступила лучше всех детей... И матушка Фотиния подарила ей зелёную пушистую утку размером с собаку. Липочка её на даче летом забыла. Но сейчас ни петь, ни читать не хочется: усталость навалилась, глухая и неподъёмная, как тяжёлое ватное одеяло. Только проснулась – и уже устала... Хотя конфету бы съела одну... Наверное... Нет, и конфету не хочется. Ничего не хочется. Даже подарка. А мамини и бабушкины любимые руки уже ласково теребят её со всех сторон...

Но, когда девочку, одетую в пышное бальное платье, наскоро заколотое в боках английским булавками, торжественно ввозят на кресле в большую комнату, усталость все-таки ненадолго отступает в сиянии ослепительного чуда: огромная – под потолок! – ёлка переливается, подмигивает синим, фиолетовым и жёлтым (у красных лампочек где-то переломился проводок, и поэтому они не горят, но без них даже лучше, необыкновенней).

– Крыся... – не веря своему счастью, шепчет Липочка. – Дед Мороз меня послушался!

Это бабушка вечером выбегала из дома в недалёкий торговый комплекс, где в детском магазине ей впервые улыбнулась неслыханная удача в виде крупной серой меховой крысы, добротной пошитой, с серебристым бархатным хвостом, чутким длинным носом с кожаной пупочкой в виде сердечка, лукавыми чёрными глазами, таящими в глубине опасный зелёный огонёк, с мягкими розовыми подушечками лап и острыми пластмассовыми коготками. Она сидит под елью, опираясь спинкой на блистающий рукотворный сугроб, и действительно может считаться частью большого рождественского чуда, потому что до этого дня игрушечные фабрики всего мира почему-то считали, что маленькие девочки обязаны не трогательно любить серых вредных и опасных грызунов, а истошно визжать, заметив вдали мелькнувший хвост... И объяснить кому-то, что у них дома живёт девочка-исключение, не представлялось возможным.

Ну что ж. Сегодня вообще исключительная ночь. Рождественская.

– Не седой Дед Мороз, а Младенец-Христос... – с ласковой настоятельностью и робкой надеждой начинает бабушка. – Помнишь, как дальше?..

– ...Нам на ёлке душистой зажигает огни и улыбкой лучистой освещает все дни, – вдруг бойко, как по писаному отзывается Евлампия, прижимая к себе нового мягкого дружка. – Я буду кормить её сыром с дырками... Вот таким, – и её худенький указательный пальчик направляется в сторону незашторенного окна.

Мама и бабушка синхронно поворачивают головы: луна, оказывается, давно переехала в другое окошко, на боковую стену, в самую крайнюю

слева створку, и спокойно нежится в темноте на соседней крыше, похожая со всеми своими кратерами на щедрый ломоть рокфора.

– Это – Крысе! – безапелляционно заявляет Липочка. – А мне – сосиски. Бабушка, можно мне сосиски с пюре и малосольным огурчиком? Ася всплёскивает руками.

Её мать прижимает голову внучки к своему тёплому под нарядным платьем животу.

– Конечно, можно... – шепчет она. – Всё можно. Понимаешь, сегодня такая ночь...

* * *

Когда я пришёл сюда работать, то думал, что это на время: побуду на людях, пока рана не затянется. Совсем не заживёт, это понятно – но хоть меньше болеть станет. А теперь словно бы и жаль уходить: когда смотришь на всех этих деток и знаешь, что у них рак... И особенно на их мамочек... Тогда сразу становится понятно, что не я самый несчастный человек на свете. Да, я, может, единственный здоровый мужчина в мире, который за всю жизнь любил только одну женщину – с детского сада до смерти. До её. Моя вроде тоже на подходе, но даже если б она была далеко, я бы все равно сказал: и до моей тоже. Никакая другая жена мне никогда не нужна была и не будет. Кроме Сони. Но ведь мы счастливо прожили со дня нашей свадьбы целых 53 года – это ведь не кот наплакал! И ни разу не поссорились – ну, разве ворчали иногда из-за пустяков, и то как-то не всерьёз. Двоих детей вырастили – здоровых. Образование дали обоим, и сыну, и дочке: он по компьютерной части пошёл, она – в младших классах учительница и сама уже бабушка. Дом – полная чаша, я всю жизнь мастером цеха проишачил, жена – в бухгалтерии в том же корпусе. Жили и радовались, последние тридцать лет и в храм Божий ходить не забывали. Так и в тот день, навеки памятный: со службы пришли, чайку попили... Жена прибралась на кухне, чистые узорчатые чашки на полке расставила, я за газету взялся – бесплатную, специально для пенсионеров, её нам раз в месяц в ящик кидают. А Сонечка и говорит: «Полежу я, Миша, пожалуй. Не по себе мне что-то: погода, видно, меняется». Легла, заснула – и не проснулась.

Я думал, хуже ничего в жизни быть не может. Другие мужики запивают с горя, а мой организм даже в молодости много спиртного не принимал, меня за это даже «чукчей» на заводе дразнили – мол, ну, ты и даёшь, Миха, чуть ли не от кваса бухой ходишь. Оставшись один в квартире, я волком выл – видели мы с Соней и детьми одного такого несчастного в зоосаде – и на стены кидался. Сын, спасибо ему, надумил: найди, говорит, папа, работу какую-нибудь лёгкую, понятно, не в цеху, но у тебя же руки золотые, такого, как ты, куда хочешь, возьмут – и легче станет: всё ж люди кругом, не так одиноко. Вот и оказался здесь. В трудовую записали уборщиком, но сразу сказали, что убирают тут приезжие женщины – молчаливые такие и забытые (видел я их, помочь даже хотел – они только смотрят затравленно и знай себе тряпкой по полу возят), а меня берут «на все руки мастером» – по штату такой не положен, а нужен, как и везде, позарез. Когда оформляли, сразу-то и не смекнул, куда судьба забросила: думал, просто детская больница, а оказалось здесь детей от рака лечат. Ну, как лечат: от самого лечения помереть можно запросто. И как увидел я их, детишек этих в ярких пижамках на цветастом постельном бельишке, головастых и лысеньких,

с огромными страшными глазами, что твои инопланетяне... А пуще – матерей их, молодых – а словно пеплом присыпанных, – так и понял, что Бога гневлю своей мордой страдальческой. Соня моя и в жизни счастлива была, и умерла легко и светло, исповедовавшись и причастившись, а здесь... Сколько раз видел я те каталки, что из реанимации вывозят, простынёй накрытые... В цветочек.

А сегодня новую мебель – стеллажи там всякие – главврачу в кабинет завезли. В разобранном виде, естественно. Тот сразу ко мне: выручай, Михалыч, соединить надо это все как-нибудь вместе, а кому, кроме тебя, разобраться. Я ему – дескать, в лучшем виде сделаю, Василич, не волнуйся; я тут потихоньку возиться буду, ты своими делами занимайся, а на меня внимания не обращай. Так и поступили: он там мечется чего-то, звонит кому-то, бумаги шерстит какие-то – а мне что? Моё дело маленькое. Никого не трогаю, примус починая – это поговорка такая есть – и откуда взялась такая странная... А потом зашли в кабинет, кроме главного – сразу пятеро: наш очкарик-начмед новенький, зав какого-то отделения – боров в шапочке – и две женщины – молодая и постарше, с девчушкой лет шести, шустренькой такой. Взрослые вокруг стола расселись, стали документы какие-то изучать, снимки, справки медицинские... Серьёзные такие, а девочке скучно, она давай вокруг меня крутиться – то ей покажи, это дай потрогать... «Дедушка, – говорит, – а можно я тебе буду эти блестящие штуки подавать? А ты их прикручивай». Эта она про фурнитуру... И стали мы вместе над стеллажом трудиться – да споро так работа у нас пошла: не приходилось мне туда-сюда скакать, все она своими маленькими ручками вовремя протягивала. И щебечет – смешная! Зовут Липочкой – это что ж, она Олимпиада, выходит, как моя бабушка, Царствие ей Небесное? И тут сжалось у меня сердце: «А ведь у неё тоже, наверное, рак! – подумалось с болью. – Иначе зачем бы её сюда привели?» Вроде бы, какое моё дело – а стал я прислушиваться, о чем её мать и бабка с медиками толкуют. Очень захотелось услышать, что какой-нибудь страшный диагноз не подтверждается.

Слушаю, слушаю – и стало вдруг сердце все громче и громче стучать, а потом и вовсе зашлось, потому что понял вдруг – как огнём плеснуло: да я ведь чуду свидетель! Вот так просто, на полу сидя, над деревяшками и железками колдую...

Из того, что они меж собой говорили, понял я, что девочка эта – Липочка – была совсем безнадёжная: и рак крови какой-то редкий, плохо поддающийся лекарствам, да ещё и внутри самой болезни такой подвид, который вообще почти не лечится. Рецидив у неё случился после первого лечения, и так вроде быстро, что никто не чаял, что девчонка и до весны доживёт. Она уж слегла совсем, есть-пить перестала, её на днях должны были опять к нам сюда на химию класть – по всему, она её уж не перенесла бы... Но только вдруг недели три назад случился в её болезни внезапный перелом – в обратную сторону. Она и кушать начала хорошо, и румянец заиграл, вставать стала, гулять даже с мамой пошла. Но в наш центр её всё равно положили, конечно, – проверить, что да как. Проверяли-перепроверяли – здорова! Будто и не болела! Не то что рецидива нет, но и даже следов той болезни не обнаружили. Как и не было ничего. Здоровый ребёнок, через год в школу пойдёт... Врачи только головами качали и руками разводили – особенно начмед упирался: мол, пропустили мы что-то, недосмотрели, потому что не бывает такого на свете, хоть на голову встань и ногами потряси.

А завождением, жирнюк злобный, руками машет и каркает, чисто ворона на крыше: вот увидите – это кратковременное улучшение, скоро все вернётся с новой силой, и уж не остановить будет; мы тут, знаете, хороводы вокруг ёлки не водим, в чудеса не верим!

«А ведь именно с ёлки всё и началось, – тихо сказала тогда Липочкина мама, красивая такая женщина, сама темноволосая, а глаза – голубые. – Мы для Липы в начале августа взяли и ёлку нарядили. С подарками. Сказали, что Рождество пришло, рождественская ночь наступает. Она поверила и обрадовалась. А потом кушать попросила... И с тех пор... с тех пор...» – её голос сорвался, на глазах выступили слезы. Но тут бабушка вмешалась и сама рассказывать принялась – как её внучка захотела, чтоб было Рождество, и дочь за той ёлкой в лес ездила, да как то ли срубила её, то ли выломала, да как украшали потом, и Липочку среди ночи в какое-то особое платье нарядили... И как ей сразу сосисок захотелось – и чтоб с огурчиком... Звучало сказкой. Но я точно знал, что всё так и было. Не верил – знал. И что болезнь не вернётся – тоже. Сердце твёрдо сказала.

Чем кончилось? Домой отпустили женщин с девочкой. Велели пока раз в месяц приезжать и сдавать анализы. Липочка в дверях остановилась, ручонкой мне помахала – и мама её окликнула...

За столом остались трое мужиков в зелёных рубашках и штанах – форма здесь у врачей такая. Помолчали с минутку, и начмед скривился:

– Ай, да врут они все. Обращались куда-то, конечно. Просто говорить не хотят. Или запретили им. А жаль. Хотел бы я узнать, что дало такой результат. Понятно, что временный, но все же...

– Препарат они достали – запрещённый к ввозу в Россию – вот и вся загадка. Преступным путём. Какой именно – не знаю, варианты есть... Но это ж на месяц такой эффект – не больше. После второй дозы – на две недели хватит, а третья совсем не поможет. Только деньги выкинут зря. Конец-то все равно один, – припечатал толстый зав.

Но главный наш, большой издёрганный мужик, который Василич, сидел в раздумье, морщил лоб, за подбородок себя жестоко дёргал. Наконец, выдохнул:

– Нет. Слишком уж чисто все. Как новенькое... Это после химии! Никакое лечение бы так не сработало. Ни-как-ко-е. Но описаны же случаи самоисцеления... Организм молодой, мобилизовался, включил резервы... Не всё наука может объяснить... хм... пока, – он помедлил и забормотал себе под нос: – Нет, я понимаю, Рождество и всё такое... Чудеса в рождественскую ночь – это почти банальность... Но ведь когда у нас Рождество-то! В январе! А тут август... Не вяжется как-то с чудесами, а?.. Вот зима настанет, родится Христос, тогда...

Моё терпение лопнуло, я поднялся, стряхнув с коленей звонко посыпавшиеся гайки и саморезы. Все взрогнули, будто в окно влетела граната, и разом на меня посмотрели. Словно ждали чего-то. Я вздохнул, обвёл глазами этих троих премудрых мужчин среднего возраста, с высоким образованием и учёными степенями. Хотел было, как ветхозаветный пророк, возвестить истину с высоты своего почти двухметрового роста да громовым голосом – а сказал тихо и даже стеснительно:

– Чтобы чудеса происходили круглый год, хватит и того, что две тысячи лет назад Он уже родился...

Но они услышали. И не решились спорить.

Виктор ШАПКИН

Литератор, режиссер, переводчик, лингвист. Родился в 1955 году в г. Ветлуге Горьковской области. Окончил переводческий факультет Нижегородского государственного лингвистического университета (немецкий, английский языки) и Высшие театральные курсы ГИТИСа (режиссура). Работал главным режиссером Театра пластической драмы «Преображение» (Нижний Новгород), с 2010-го – фрилансер.

Печатался в журналах «Нева», «Москва», «Юность». Роман «Не забудь умереть» опубликован в нью-йоркском издательстве Franc Tireur (2015). Роман «Нищие духом» вошел в список финалистов Международного литературного конкурса «Золотой витязь» (2018). Лонг-листер литературной премии «Ясная Поляна» и премии «За верность Слову и Отечеству» им. А.А. Дельвига. Живет в Нижнем Новгороде.

ДОНДИК

*Дондик как дождик
в день осенний
стучит по крыше
Анастасия – воскресенье
а я не слышу*

Трясся на ухабах древний автобусишко, скрипел рессорами, подминала под себя серую от пыли лысину дороги.

Последний поворот – и в блеске реки утопающая в сирени белая церковь Троицы на крутом угоре.

И вся Ветлуга сейчас – одно безбрежное врубелевское облако сирени.

На песчаной отмели – старый проржавевший катер. На рубке надпись: «Титаник» – фиг потопишь!»

По дикому пляжу бродят разномастные коровы – щиплют лопухи мать-и-мачехи.

А вот наконец и он – городок-юность плывет-расплывается в знойном мареве, как мираж. И сирень, сирень...

Папа-отпускник с маленькой дочкой шествуют с автостанции. И чем ближе подходят к дому, тем пуще вскипает в них радость.

А двор у них большой-большой. Во дворе трава по пояс (доньке – по шейку).

Был когда-то дом этот новым. Со временем постарел он, осел, ссутулится, потемнел от дождей и ветров, стены растрескались глубокими щелями морщин. Эх, старый дом, старый дом...

Первым делом папа собрал-свинтил качели, и Тася наконец-то накачалась всласть.

...А он вдруг вспомнил, как с двумя друзьями-однокашниками по ГИТИСу – пьяный от счастья – шагал по Тверской и орал песни, и как их то и дело тормозили строгие стражи порядка, а узнав, в чем дело, поздравляли и отпускали с миром.

– У меня – сегодня – дочка – родила-ась!..

Доня качалась, а тятя выкашивал двор. Трава здесь мягкая, как на заливных лугах, косить ее одно удовольствие. И он косил. Разучился совсем. Все хотелось гладенько, ровно, а выходило с тяпкá. Потом наладилось, даже кайф словил от такой работы. Рука вспомнила, вспомнила рука-то!

Откосился, пошел на колодец умыться. Вода искрилась и пенилась, перебегая из ведра в ведро.

И доник тут как тут: тоже умывается, фыркает, вскрикивает, прыгает на одной ножке.

Вишнёвник – что-то просторное и светлое, как детский сон: улыбчивое небо и пальцы кустов, словно взметнувшиеся ввысь от легкого ветерка девичьи пряди, усыпанные смайликами ягод.

Натрескались вишен и ушли, не заперев дверей, только воткнув щепочку в поцепку – нас нет дома.

Летели по залитым солнцем улицам и смеялись.

Как хорошо шагать босиком по теплой пыльной земле родного города! Ощути землю босыми пятками – вот он рай.

Дондик импровизирует:

Маленькая тетя, маленькая тетя
Пошла в магазин...
купила баночку сардин!

Папа подхватывает:

– О йе! Доник, класс, это твой первый рок-н-ролл! Поздра-вля-вля, вля-вля, вля-вля!

А та продолжает сочинять:

Кошка шла по проводам...
И накакала на дам!

– Фи-и, десь капеек!

...Наутро он проснулся в коммуналке у друзей на Кропоткинской, тихонько выскользнул на улицу и шел пешком по пустым еще бульварам аж до Пушкинской, а там влез в окно со двора к Илларию, подруге жены, и она кормила его фаршированными перцами, потом помчались на площадь Ильича, в роддом, и он передал записку мамаше: «Поздравляю с Настенькой!», внезапно назвав еще невиданную дочь, и они с Илларией долго плясали и махали руками дико усталой элегичной маме Лёле в окне на третьем этаже, а кругом неистово и яростно дудели в горны и били в барабаны гипсовые пионеры...

А на озере – со-о-лнце! И ужик плывет.

Донька запускает в него комком земли – тот исчезает в прибрежной осоке.

И они, взявшись за руки, вопя летят с высокого берега и с разбегу плюхаются в воду, вздымая мириады солнечных брызг.

И вода теплейшая, как парное молоко.

...Ночью у Лёли воды отошли. Вызвал скорую.

Сунулись сперва к Грауэрману – мест нет, тогда к Белорусскому – та же история. И лишь на площади Ильича, в стареньком чистеньком род-доме, сподобились.

Отвел роженицу внутрь, через некоторое время ему вынесли ее верхнюю одежду, отослав домой – и вот стоит теперь в маленьком больничном парке среди гипсовых пионеров с барабанами-горнами и могучих девушек (естественно, с веслом) – приходит в себя...

Небо бездонное-бескрайнее.

Они лежат на песке, закинув руки за голову, прячась в горние выси.

А кругом тает облачный снег, и орут-галдят птахи на деревьях. И полуденный солнцепад ласкает-припекает-нежит.

Потом папа выломил гибкий ивовый прут, привязал к нему жилку с крючком, поймал-насадил слепня и за каких-то пятнадцать минут выудил четырех косарей да две сорожки в придачу. Обед был обеспечен.

Доня тоже помогала – слепней ловила.

Папеч топает с доней на плечах и улыбается чему-то. А Настёнку сморило на солнышке – дремлет, обхватив его за шею.

И с ясного неба вдруг бросился дождь. Разверзлись хляби небесные.

Все восхищало и вдохновляло: и вода, бьющая из ржавых жерл водосточных труб мимо бочек, и малюсенькие березки меж кирпичей облезлых стен красной больницы, и чьи-то неожиданно желтые – солнечные! – кальсоны, забытые на бельевой веревке.

Они бегут, звонко шлепая босыми пятками по калужинам – улыбкам дождя, кружатся на каком-то перекрестке, взявшись за руки, бегут-рвутся вперед до изнеможения, падают, поднимаются и, хохоча во все горло, несутся дальше.

И так хорошо и щенячье, как никогда уже больше не будет!

Донька шла-шла-шла,
Пирожок нашла...

И хором:

Села, поела,
Опять пошла!

И снова:

Пуня шла-шла-шла...

– Червяка нашла...

Села, поела,
Опять пошла!

– Червяк ползет: «Здравствуй, Тася!»

– Другой ползет: «Здравствуй, папа!»

– Что я, червяку папа, что ли?

Ржут.

А дождик кончился так же внезапно, и над миром незапятнанно и чудно сквозила семиструнная радуга.

Папсун чистил рыбу в огороде. Вокруг были голодные кошки со всей округи.

Обедали на веранде: ушица, печеная рыбка под зеленый лучок с редиской.

Гладкие свежие стены веранды кой-где слезились солнечными каплями смолы. И огромное, плавящееся в лучах светила, окно напротив.

Когда отобедали, папа сказал:

– Пошли-ка сходим на кладбище, маму с батей навестим и других родичей. Сегодня Духов день – они, мертвые, слышат. Ты, как придем, раза три хлопни рукой по памятнику и скажи: «Кости-кости, пришли к вам в гости». Там их спрашивают потом, у кого были гости. У меня, мол...

...Из роддома ехали домой на такси. И он на заднем сиденье судорожно и трепетно держал на руках новоиспеченную Пупуську, а у нее все губы в зеленке...

Спустились с горки – и вот оно кладбище. Тася сунулась было в раскрытые ворота, папа придержал:

– погоди, доника, не надо в ворота-то – успеешь еще. В калитку иди.

На кладбище полно спелой земляники, только есть нельзя. Но доня нет-нет да slopes ягодку.

Пришли к своим, папа отворил калиточку, ведущую в оградку, сказал просто:

– Здравствуйте, дорогие.

Сели за столик у самых могилок. Тятя положил на каждую по яичку и по две конфетки, посыпал зернышка птичкам. Сидели-молчали, и каждый думал о своем.

Папа поднялся.

– Ну вот, к своим зашли на могилки, осмотрели, теперь можно и домой. Айда, дондик.

Низко поклонился зеленым холмикам.

– Прощайте... и простите.

И затворил калиточку.

Напоследок поставили свечку в покосившейся деревянной часовенке и пустились восвояси.

Шагали с кладбища по невыразимо пыльной дороге и комкали-рвали-терзали ногами плотную ткань мироздания.

Два крошечных человечка под необъятными обителями небес. Челом в вечность...

А какой закат сегодня! Идешь домой, а он разлился-распылался в полнеба – сочно золотой сначала, потом малиново-красный и вот – бордовый.

А солнечный круг все больше ущемляется. И земля в этот час видится выпуклой. И горизонт не где-то вдали, а рядом – рукой подать. И закатные облака, как перья фламинго – бело-розовых чаек нашей мечты.

Природа ведь это все – живое – громадный всеобъемлющий добрый разум. И в ней творится то же, что и у нас в душе.

...И тут папс вспомнил, как гладил будущей маме Лёле толстенное пузико с Настёнкой в нем и все именовал ее Олежей – сына поджидал.

А появилась доня – большего счастья себе и представить не мог...

Закатное солнце в Тасиной спальне. Его лучи переламываются о бревенчатую стену. Пылинки в солнечном столпе.

Перед сном рядом в зале режутся с донькой в комарика, в морской бой, в кости.

И русская печь величественная, как торт.

– Доня, ты глызишь!

– Да ты чео, пап?! – Почти натурально, на голубом глазу.

– Это не Настя – это ненастье! Но ничего – глыза глызу выведет.

И снова в игру.

Ночная гроза – всухую, без дождя. Тучи нахлобучиваются прямо на крышу. Взрывы грома сотрясают все вокруг, молнии так и жгут.

А они с донькой сидят в темноте и рассказывают стр-р-рашные сказки.

Папа вещает:

– «Ой, вы знаете, я так мертвецов боюсь, так боюсь». – «А чего нас бояться? Ха-ха-ха!»

И дондик, дрожа, еще глубже зарывается под одеяло. И слышно даже, как колотится ее испуганное сердчишко.

А потом они устали, ткнулись ноздрями в мягкость подушек и заснули крепким сном. И перед сном еще успели ощутить, как планета качнула и понесла их нежно и мощно – далеко ли, близко ли. Кто знает.

...И опять наплывом мелькнуло: какой-то праздник, куча детей обступила его и тербит. И донька бросается к нему с воплем:

– Это МОЙ папа!

А он взял и ради смеха развернул ее за плечи и шутя шлепнул по попке. И все рассмеялись, а она вдруг расплакалась – горько.

И такая боль резанула сердце...

Ночью он вдруг проснулся, как от толчка, опрометью кинулся в донину комнату: дышит ли?

Она спала, совсем по-младенчески отлячив губёшки. И вытекла из уголка рта сладкая слюнка.

А дом-то за ночь искрился весь. От радости.

Рано-рано по крыше дробно протопала галка.

Он очнулся и понял: жизнь – радостность. Просто: ра-дост-ность.

Та уже поджидала за окном – пахнущая сиренью и солнцем, напоенная тем нетварным просквоженным светом, когда так особенно легко спится и плачется.

И было утро.

Начинался новый нескончаемый день. И их впереди было целое лето. Для нее.

Она спит, как ангел, а он смотрит ей в лицо.

Дрожат ее мягкие пушистые ресницы. Сейчас проснется. Вот-вот...

Так он отдыхал – отдыхал от крови. И уходил, чтобы вернуться. И не вернуться.

– Папочка, ведь ты не умрешь? Ведь правда?

– Я постараюсь, доченька, я постараюсь.

Андрей ШАЦКОВ

Родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт. Работал по специальности, занимался журналистикой, служил в Министерстве культуры РФ. Сотрудничал в газете «Слово», журнале «Второй Петербург» (СПб). Главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век».

Автор шестнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского. Лауреат множества литературных премий и премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры.

Живет в Москве и в Рузе.

Я ЖДАЛ ТВОЁ МЕРЦАНИЕ ЗАРНИЦ...**Август**

Здравствуй, август... За синюю гранью стекла
Притаившись, предтечей дождей – горемыка
Ты глядишь на меня, и рассветная мгла
По пустынным углам расточается тихо.

Снова смутное время по душу мою...
Снова падает долу грозы огневица.
Здравствуй, август. Сокрыто печатью семью,
Что там будет – журавль иль в ладони синица?!

Скоро праздник, и верю, своих не предаст,
Не отдаст их дела на разор и поруху
Спас Медовый, Нагорный, Ореховый Спас.
Триединый, славянский, по плоти и духу.

Месяц серпень... Тревожного лета закат.
Ожиданье зимы мировой катастрофы.
И за братией птичьей, глядишь, отлетят
Прямо в небо последние горькие строфы.

И покуда такие творятся дела,
Что нельзя разрешить без крутого запоя,
Буду свечи у красного ставить угла
И просить для души на минуту покоя!

И приснится под утро: гремят поезда,
Ворошиловской конницы катит лавина...
И горит на погоне у деда – звезда
Генеральская,
памятью краха Берлина!

День марта

Весь день расписан. Март в календаре.
Всё как всегда: вчера, сегодня, завтра...
Но что-то изменилось на дворе,
И стынет на плите ненужный завтрак.

Забор. А за оградой тёмный лес.
Снега искрятся отраженьем сини.
И, кажется, откуда ждать чудес
Здесь – в сонном царстве, посреди России?

Отброшу с плеч накинутый тулуп.
Спущу с цепи лохматого собрата.
И вздохом – пар поднимется из губ,
Тобой согретых в юности когда-то.

И вновь потянет в горницу – к листу,
Оставить строк не зажившие шрамы.
И приложить горячий лоб к кресту,
Глядящей в окоём оконной рамы.

А там – смотри, пошёл не снег, а дождь.
Исчезнет в небыль зимняя простуда.
И может быть, что ты ко мне придёшь
Негаданно, нечаянно, как чудо.

А вот и солнце. Брызнули лучи
На пажити, дороги и корчевья.
И к нам летят усталые грачи,
Вернувшись из далёкого кочевья.

Пасхальное

Непроглядны сумерки под елками
В день субботний, празднества ночи,
Мóроки сквозят меж рамы щелками,
Улетают искрами в печи.

Вся Россия ждет, на небо глядячи,
Полуночи драгоценный дар:
Кривичи, радимичи и вятичи,
По деревням, селам, городам.

На земле, где мною столько хожено,
Где делил с друзьями черный хлеб.
Мгою бездорожье заморожено.
Долог путь в отеческий вертеп.

От острога и горючей паперти
На Руси не зарекаться стать.
В женщине с глазами Богоматери
Узнаю свою родную мать.

Над землей, которой Богом дадено
Мужества на долгие века.
Проплывают облаки из ладана,
Мчатся грозовые облака.

На погосты страхи и сомнения
Опадут, как прошлого листва.
В светлый день Святого Воскресения —
День извечной жизни торжества

Апрельское

Это свежее небо, глядящее в бездну воды.
Свет Фавора, струящийся ниц из созвездий бутона...
Где-то там, за рокадой, пропали былого следы,
И Кощеево царство асфальта, стекла и бетона.

Прорастет тишина в палисаднике купой берёз,
Меж рябин и сиреней и криво прибитых штакетин.
Я впервые уснул без дурмана, проснулся без слёз,
Отрешась от обид, недомолвок, смятенья и сплетен.

И почти что воскрес в этот светлый пасхальный канун.
И до первой звезды дотянулся, ожёгшись, рукою.
Мне «зелёные святки» подарит, наверно, июнь,
Если в землю, зегзицей, до Троицы дня не заруют.

Пусть наносное ныне уйдёт, как уходит зима.
Как понуро уходят незвано пришедшие гости.
Здесь с уставом чужим на порог не пускают в дома,
Где герани в сенях, и вязанками — луковиц гроздь.

Звон сочится, капелью срываясь с вершин церковей.
И сочатся берёзы прозрачной весеннею кровью...
И глядит, удивлённо застрешины вскинув бровей, —
Та, которая стала последней, неожиданной любовью.

И озёрные ветры, на солнце блестя чешуёй
Рыбьих стай, что стремятся на нерест в протоки,
Хороводом кружатся над юной апрельской землёй...
И цветёт краснотал, и рождаются светлые строки!

Лития о собаке

Памяти Алисы

Что же ты наделала — рыжуха,
Папина любовь и егоза?..

После смерти – не опало ухо.
Не закрылись синие глаза.

Рано утром в поле выбегала.
Слушала осенних листьев песнь.
По всему, выходит, что не знала,
Что не пощадит тебя болезнь.

Впрочем – нет. Своё «собачье дело»
Знала ты, приход почуяв зла,
На меня глядела и глядела,
Будто наглядеться не могла.

Не услышав хрипы или стоны,
На колени пав перед тобой,
Я забыл про литии каноны.
И завыл над нашею бедой.

Папа, мама, сын ушедший – Дима –
Вы не зря в помянник собрались.
Жаль, что поп пройдёт стороной – мимо
Имени любившей вас «Алис».

Только всё равно в церковном мире,
Где воспрещена трава-плакун,
Будут свечки плавиться – четыре
Встав в порядке строгом на канун.

Ваши души не уходят в небо.
С нами остаются до конца.
Я ношу с собой краюху хлеба.
В ожиданье звёздного венца.

Может быть, в дожде и полумраке,
На исходе пасмурного дня,
Я поймаю взгляд другой собаки,
Взгляд, не отпускающий меня.

Судьба

Задумчиво листаю свод страниц
Своей судьбы
и, несомненно, вправе
Воскликнуть –
заповедный август – AVE!
Я ждал твоё мерцание зарниц
Из чёрных туч, парящих так весомо
Над линией лесного окоёма.
В молчании к земле припавших птиц.

Пусть голос грома – накалён и груб –
Рой ласточек спугнёт, чтоб те – над нами
Поднялись в небо, в суете и гаме.
Им вслед шепну, не разжимая губ –

Родства не обрывая пуповину,
Мою молитву донесите сыну
И горький запах георгинов с клумб...

Осенним одиночеством звенит
Хрустальный воздух,
и не может Руза
Стать Летой для вины отцовской груза,
С которым мне не улететь в зенит
К тебе, мой мальчик – журавлёнок в стае,
Которая крылами, как крестами,
Нас грешных, напоследок, осенит.

Гармония души – навек, прости,
Заложница судьбы поэта в споре,
Где на кону стоят печаль и горе
И радость слов, которых донести
Не доведётся – людям, в книг конверте,
Скрывающем забвенье и бессмертье.
Как персть земли, зажатую в горсти.

В предчувствии Покрова

А с неба падают снега,
Плакун-трава покрылась белым.
Пороша первая – легка,
Опять Покров над миром целым

Простёрла нежная рука
Той, что дарует всепрощенье.
Издалека-издалека
Сияет дивное свечение

Минувшей осени зари,
Нырнувшей в тёмные трясины.
От Белозерья до Твери
Погасли Третьи осенины.

Предзимье, зазимок, зима –
Слова, как кашель, режут уши.
Попробуй не сойти с ума,
Когда метель над полем кружит.

Когда семь месяцев в году
Природа хмурится сурово.
И кони валяются на льду,
Везя спасительные дрова...

А мне, забившись вглубь стрехи,
Остаться в тёплом летнем крае,
Где с неба падают стихи,
Как звёзды, в ковылях сгорая.

Прощание с октябрём

День нежностью осеннею объят.
Михайло вскоре, а печёт, как в мае.
И я душой, замёрзшей принимаю,
Не завершённый в пору листопад.

И яблоки на ветках – на потом
Оставленные, средь хозяйских буден,
Чей строй досужим толкам не подсуден,
Как этот стих, над письменным листом

Парящий зимней чайкой над рекой,
Неразличимой – белою на белом.
Так благовест несётся по уделам,
Когда в церквях звонят за упокой...

Над Нижним – тучи, а в Москве теплынь.
Лишь вспомнилось, как хмурился сурово,
Небесный свод в преддверии Покрова.
Но снова пахнет свежестью полынь!

Ты в этот день припомнишь без труда
Любовь, что ярым воском отгорела,
Напоминая болью то и дело
В унынии прошедшие года.

Да будет светозарен этот мир.
Хотя зима уже не за горами,
Но бабочка стучит в оконной раме,
И солнце вновь сияет, как потир!

О, этот день, пришедший невпопад,
Прощально освещённый горним светом,
Вернувшийся не в пору бабьим летом,
Которому дороги нет назад.

Борис ЛУКИН

Родился в 1964 году в Горьком. Окончил Высшее техническое училище им. Баумана и Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, критик, переводчик, издатель.

На многие языки переведены стихи из книг «Понятие о прямом пути» (1995), «Междуречье» (2007), «Долгота времени» (2008), «Поединок» (2010), «LeLь» (2012), «Сад земной» (2019), «Чернец» (2019). «Летосовращение» (2021), «Отец солдата» (2022), «Поэт-воин, морпех Иван Лукин» (2023), «Великий Пост» (2024). Кроме этого изданы: «Обитель. Книга очерков из истории Крыпецкого монастыря» (2019), «Жить-нам-поживать. Переводы из коми поэзии» (2019), «Олонхо на два голоса. Переводы из якутской поэзии» (2020), «Зоя Космодемьянская» (Гали Хужи, перевод с татарского; 1943/2022), документальная повесть «Мариупольская эпопея» (2024). Лауреат Большой литературной премии России, награждён высшей наградой и золотым дипломом XIV и XV Международных форумов «Золотой Витязь».

Главный редактор и составитель антологий «Современная литература России “Наше время”» и «Война и Мир: Великая Отечественная война в русской поэзии XX–XXI вв.» (издано 12 томов).

Член Союза писателей России. Живёт в селе Архангельском Московской области.

А СЫНУ ДО СИХ ПОР СМОТРЮ В ГЛАЗА...

* * *

На переломе к нам приходят сны...
Я всё почти их помню – сны войны –
Подробны, словно сам я битв участник.
Что странно – не погиб я в снах ни разу;
Но сотни строк об этом написал;
А сыну до сих пор смотрю в глаза,
Которые прикрыл не я тогда,
У «Азовстали»... Явь не навсегда.

* * *

Я обожаю этот шум
Когда пчела, шмели и осы –
Все отвлекают ум от дум
И смысложизненных вопросов.
Глазею, как они, трудясь,
Не забывают и о песне.
Вот мне бы так начать с утра
молитвы песнею беспечной...

* * *

Вчера я о любви, мне кажется, не думал.
Да просто позабыл за новостями дня
О дальности ракет; как будто много шума
Решит вопрос войны и мира навсегда.
Мы с дочкой днём цветы меняли на могилах;
Её здесь мама, брат... жена моя и сын.
От дома полверсты до вечности и милых.
...И всё же без любви на жизнь не хватит сил.

* * *

Казалось бы, такого быть не может.
Кто б думал, что – война, и ты – вдова.
Четыре месяца из трёх годков замужних
Не насчитать, когда бы не одна...
Когда бы не ждала его, не мучась
День прожила, ребенка же кормить...
А в сущности для бабы эта участь
Привычная. С того и вечен мир.

* * *

Время такое настало,
Когда не стекла осколки
Мы с тобой выметаем;
Не только стекла осколки.
Много здесь после взрыва
Всякого неживого
В прежде живом массиве
Белгорода родного...

* * *

В храме воскресном привычная пустота:
Священник на фоне двенадцати прихожан
(Исцеления ждущих в середине поста)
И миллионов, которые не спешат...
В инете на фотках: морпехи на костылях,
Три года с боями шедшие на эту встречу, –
Они точно слышат: «Вера твоя спасла тебя.
Встань, иди, очистившийся человеке...»

* * *

Придёт тот день, когда вернутся дети,
Мужья вернутся, деды и отцы,
И соберутся за столом к обеду,
Судьбу, как смерть, приведши под уздцы.
Их встретят женщины. Их будет много,
Истосковавшихся за годы без любви.
Мужчина был для них похож на Бога:
Увидеть и остаться бы в живых...

* * *

Лён зацвёл к середине июня
В ночи краткие, долгие дни.
Как торжественны летние будни
И костров полуночных огни.
Скоро звёзды посыпятся с неба,
Словно зёрна созревших хлебов;
Что ещё человеку потребно
Для восторга от жизни без слов?

* * *

Когда сообщают, что кто-то погиб из знакомых,
Обыденность дня сразу резко меняет свой смысл.
А всё потому, что я с ними, такой же, я – ровня,
Хоть каждый почти мне по возрасту – сын.
Простите, родные, вина моего поколения
Легла вам на плечи отцовской шинелью войны.
Молюсь о погибших (даруй им Господь Воскресенье!):
Гал, Рыжий, Бобёр, Лари, Кантик и Ваня – мой сын...

* * *

На крапивное заговенье опять про боль...
Да по силам ли душу траве лечить?
Душе нестерпимо; поизраненная войной,
На тело надеется, как воин на щит.
А что душе в теле том? Прок какой?
Однажды отпрянув, взметнувшись прочь,
Разве что вдруг вспомянет телесну боль,
А всех воспоминаний только-то на щепоть.

* * *

Пуля, ты чья?
До кого долететь не сумела?
Вечности часть?
Или песню о жизни пропела?
Знаешь ли ты,
Как «во имя» да в пропасть свергаться?
Только святым
После смерти дано возвращаться.

* * *

Под мостом журчит Тарусса
Нынче слаб мороз.
А душе три года грустно
От военных гроз...
На перилах клятва чья-то
Верности навек.
Тихо воды мимо мчатся...
Жив ли человек?

* * *

Сквозь слёзы я смотрю документалку,
Но знаю, что не встречу сына там.
Сквозь тышу дней лишь март напоминает
Про Мариуполь, разведрейд и «Азовсталь».
Счастливы, что найдут своих на кадрах,
Отснятых по случайности войны.
Стрельба, улыбки, вечность – всё мелькает.
Но я смотрю и жду... Вот вроде ты...

* * *

Перебираю позывные.
Сопоставляю с обликом.
Вы все – по-прежнему живые,
Живая вы – история.
Живые даже те – что пали,
А я полгода вас всё звал.
Тот в распоряге дал мне спальник.
А этот от растяжки спас.

* * *

Мы эту книгу прочитаем до финала,
Где «продолжение следует» (курсив).
«Война»... год третий – много или мало?
И сколько на четвертый надо сил?
С сомненьем книгу «Мир» начнём читать мы,
Всех предыдущих затвердив изданий
Страницу за страницей наизусть...
Так удивлён, наверно, был Иисус.

Евгений СТЕПАНОВ

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ. Кандидат филологических наук. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер», координатор портала «Читальный зал». Поэт, прозаик, публицист, издатель. Режиссер, автор фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос».

Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг».

Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

ИДУ И ПОЮ

Простые правила

Родился – стало быть, живи,
Со временем шагая в ногу.
И территорию любви
Приумножай хоть понемногу.

Живи, пусть даже жизнь плоха,
Живи, пусть даже жизнь зубаста;
На территорию греха
Стараясь заходить не часто.

Как-то все очень сложно

Немного мне удалось. И многое мне удалось.
Как посмотреть – в каком контексте...
...Мы вместе, но мы все же врозь.
Мы врозь, но все-таки мы вместе.
...Пронзила жизнь меня насквозь.
И принесла плохие вести.
И принесла благие вести...

И все-таки

Пусть протекает жизнь рутинно,
Пусть я у пропасти стою...
Но мне звонит Краснова Нина –
И продлевает жизнь мою.

Пусть нет в аптеке той микстуры,
Чтобы спасти меня могла,
Но вот письмо пришло от Юры
Казарина – и жизнь мила.

А вот письмо от Бирюкова,
От Пурина, от Ани Ма –
И жизнь моя не бестолкова,
А даже радостна весьма.

...Кровь холодна ли, горяча ли –
Господь все время – визави.
И все-таки страна печали
Не больше, чем страна любви.

Владимир

Давай забудем вечный гимор
Московской потной беготни.
Давай поедем во Владимир,
Хотя б на выходные дни.

Давай поедем во Владимир,
Средневековый белый град,
Где русский дух еще не вымер,
А камни дышат, говорят.

На электричке, на попутке,
На скоростном, как мысль, «Стриже»
Давай поедем, хоть на сутки,
Туда, где были мы уже.

Туда, где спешки нет постылой
И Клязьма зоркая течет,
И веет вечностью и силой
От горних Золотых ворот.

Поздний час

Мой вид не то чтоб слишком сонный,
Но рвения большого нет...
А возраст мой предпенсионный,
Пошел седьмой десяток лет.

Мой век не то чтоб опупевший,
Но как-то стало жить трудней.
Кикиморы, кощей да леший –
Теперь герои наших дней.

Мой путь не то чтоб полон терний,
Но все-таки нелегок путь.
И в этот поздний час вечерний
Мне хочется передохнуть.

Продолжение давнего стихотворения

А жизнь – это минное поле;
Повсюду воронки да рвы.
А смерть – точно царь на престоле;
Речет: «Ты живой? И доколе?
Тебе не сносить головы!»
Но я не сдаюсь. Тяжело ли,
Легко ли – иду и пою.
И фобии не побороли
Меня и надежду мою.

Моя земля

И невозможное возможно...

Александр Блок

Лилейников лебяжьи шеи.
Кротов отважные траншеи.

Березы, сосны и дубы...
Участок – часть моей судьбы.

Шагает ландышей отряд.
Земля и небо говорят

О чем-то важном, непреложном.
О невозможном. И возможном.

Грядки

Теперь я каждый миг ценю.
И научусь, надеюсь, вскоре
На сердце надевать броню,
Чтоб хоть чуть-чуть утихло горе.

Проклюнулся чеснок – я рад,
Взошли огурчики – ликую.
И подорожник, точно брат,
Спасает жизнь мою мирскую.

С утра на грядочки свои
Я поспешаю из светелки.
И что мне этот ваш ИИ,
Когда весна царит в поселке?!

Проза

Дмитрий КОРЧАГИН

Родился в 1975 году, город проживания – Москва. Образование высшее. После университета работал в сфере ресторанного бизнеса.

В 2020 году вместе с Сергеем Литяжинским и Севастианом Протопоповым организовал сообщество независимых авторов «Трио-Лит». Публикуется на литературных площадках. В 2023 году самиздатом выпущен сборник «Трио-Лит 1», куда вошли его повести и рассказы.

ЮБИЛЕЙ СВЕТСКОЙ ЛЬВИЦЫ

Как это водится у женщин в такие минуты, в её и теперь красивых тонких пальцах появился носовой платок. Уже час, как она смягчила режим освещения, уже час, как разошлись самые близкие, самые дорогие ей люди, которым она никогда бы не рассказала того, о чём сейчас говорила с подругой своей юности, наверное, единственной сверстницей, дожившей до этого её юбилея. Тот, кто помнил Марию Павловну (так звали хозяйку дома) в её лучшие годы, сразу признал бы её изящные фаланги и не посмел бы приглядываться к возрастным изменениям кожи. Да и перстни отвлекли бы его внимание.

В полумраке пентхауса вторая светская львица лихих, давно минувших лет разглядела вышитую на платке монограмму «МВ» и едва заметно, с осуждением усмехнулась: «Скажите, пожалуйста, МВ!» Потом разглядела на губах у первой ностальгическую улыбку, милостиво сулившую кому-то прощение, потом заметила, как откровенно заблестел солёной влагой взор её старшей подруги. «Ну что такое?» – подумала младшая брезгливо и даже захотела сплюнуть. Одной секундой ранее маленькая рептилия в своих покоях на самом дне её лёгких, встревоженно приоткрыла глаза. Эту рептилию бывшая львица часто называла своею душой и была уверена, что там, во тьме грудной клетки, ей самое место.

Обеим светским *Pantera leo*, пусть и пенсионного возраста, был безжалостно к лицу сверхъестественный блеск их дорогих искусственных зубов. Поэтому на людях одна из них его стеснялась. Вторая же, напротив, открывала рот при каждом удобном случае. Кичилась мёртвым белоснежным здоровьем своих клыков. Вот и теперь, едва поняв, что ситуация располагает, она ослабилась, несмотря на то что зрителей у этого ролика и сейчас не было, и никогда не будет. Удивительно, но она никак не хотела понимать, что смех в её годы редко кого украшает.

- И что он тебе ответил? – ехидно переспросила она, отдышавшись.
- Он сказал, что весь сахар внизу.

И глупая предательская слезинка скатилась к подбородку Марии Павловны. Гостья с осуждением фыркнула. Её бесили и воспоминания первой львицы, и сентиментальность, с которой она их пересказывала. Но пикантные детали, так не свойственные разговорам дам их возраста, увлекали и вынуждали терпеть, чтобы потом было о чём по-старушечьи похихикать. И в предвкушении ещё одного откровения она терпела.

— О каком это он сахаре? — решила уточнить вторая львица, ни капли не сомневаясь при этом, о чём идёт речь.

— Это английская поговорка, — простодушно и беззлобно ответила первая львица, — в смысле «остатки сладки».

От разочарования лучшая подруга скрипнула жевательными зубами, и в этом скрипе нетрудно было услышать: «Какая же ты была... мягко говоря, тупица».

Когда и потолок, и пол в центральной части пентхауса приятным розовым светом привлекли к себе внимание обеих собеседниц, часы показывали 21 час и 21 минуту. Пространство вокруг наполнилось лёгкой электронной импровизацией одной из популярных в их юности мелодий. Хозяйка дома, старшая львица, с грустью скривила губы, вспомнив, как покраснелась однажды в шестнадцать лет перед друзьями своего нового френда, заметившими, что она пританцовывает под эти по щенячьи ласковые три аккорда.

— Старая кляча! — ругала Мария Павловна саму себя, разыскивая среди подарков и цветов на журнальном столике пульт, — старость не радость.

— На стойке что-то моргает. Не он?

— Он! Конечно же.

Нажимая на дисплее пульта кнопку «Ответить», она чуть не брызнула слезами, увидев, что звонит внук. Музыка стихла. Внутри трёхметрового розового цилиндра света, сгустившегося в центре помещения, появился раскинувший рукава изящный мужской костюм.

— Хеппи бёздей ту ю! — пел своим оперным баритоном пока ещё невидимый внук. — Хеппи бёздей ту ю!

Гостья разинула рот. Она аплодировала, не отрывая взгляда от глубокомысленно синего костюма, к которому скоро приросли снизу начищенные туфли, а из рукавов появились ладони, потом в одной из них букет. И только после того, как голографический корпус внука прижал одну из ладоней к сердцу, появилась его, не отличишь от натуральной, голова.

— Хеппи бёздей, миссис президент, хеппи бёздей ту ю!

Обе старушки ликовали. Старшая, то есть хозяйка, бросилась было внутрь розового облака. «Бросилась», конечно же, в кавычках.

— Бабуля, нельзя! Что ты как маленькая! Я же не в Москве. Обнимемся через три месяца!

— Стасик, родной мой!

Стасик самодовольно поправил причёску и с улыбкой, с уместными шутками произнёс длинную поздравительную речь, в которой с благодарностью вспомнил все заслуги бабушки перед ним, перед семьёй и перед отечеством. И как хорошо воспитанный юноша, как джентльмен, точную цифру её юбилея не произнёс.

— Ну, как тебе подарок папы? У тебя шестой в России голофон. Ты круче... — и внук одними губами произнёс фамилию самого одиозного олигарха.

Бабушке-львице очень нравился и тон разговора со львёнком, и его содержание. Внук шутил без умолку пятнадцать минут. Поздравлял, предупреждал, обещал. В самом конце даже пустил слезу, пеняя на несовершенство папиного изобретения и на его некачественное воплощение китайской компанией. И в самом деле, четыре года прошло с момента презентации нового средства связи, а одежда как появлялась раньше самого абонента, так и появляется. Потом бабушка Маша благословила Стасика, и он попрощался.

— Я моложе тебя на восемь лет, а во мне столько прыти, как в тебе, нет. Как ты подскочила сейчас. Прямо львица-ветеран. И ведь весь вечер, хоть и были только свои, не расслаблялась, держалась молодцом, — завистливо зашепелявила гостя, — я бы сказала, молодежи.

Понимая, что старая подруга больше льстит, чем говорит искренне, бабушка Маша с улыбкой отмахнулась. Она никак не могла понять своего настроения. Почему, с одной стороны, ей сейчас так хотелось вспомнить молодость, а с другой, так не хотелось её осмысливать, делать выводы. Боялась пиявок стыда? Да было бы чего стыдиться, подумаешь, клубились мысли в её голове. Перепорхнула же пропасть. А после пропасти были почти шестьдесят лет самоотверженного служения семье. Всё забыто, проценты по кредиту выплачены с лихвой. И сегодняшний юбилей — как результат. И вихрь, казалось бы, улёгся. Все заботы теперь только о Стасике. Как долго мы его ждали. Какой же всё-таки он у нас молодец.

Однако добрая заклятая подруга успела за неполную минуту молчания заскучать и хотела вернуть разговор в прежнее русло.

— Знакомая у него фамилия. Он тоже из наших был? — Под словом «наши» она имела в виду круг золотой мажорной молодёжи, к которому когда-то они принадлежали обе.

Старшая львица посмотрела на младшую с укором.

— Ты что, девк? Он круче наших был раз в десять. Пока его папашу Андропов не слил.

Гостью озарило догадкой и, округлив глаза, она закрыла рот ладонью.

— Менты ему на Яшке честь отдавали, — и, понимая, что подруга всё равно переспросит, расшифровала: — Может, помнишь, у метро «Площадь Революции» стоял памятник Якову Свердлову? Там была всесоюзная тусовка неформального молодняка. Её-то Яшкой и прозвали.

— А с другой стороны «Метрополь», да? Помню, помню.

— На Яшке мы и познакомились. Я в тот день первый раз без предупреждения не вернулась домой ночевать. Отметили день рождения двоюродной сестрёнки. Ей восемнадцать стукнуло. Как приехали из Переделкина, так сразу от предков и слиняли. Сестра успела в сумку сунуть бутылку мускатного вина. Но сразу сказала, смеясь: «Это для взрослых».

— А тебе сколько было в тот день? — уточнила готовая опять заливаться хохотом подруга. И брови у неё встали домиком, и подбородок затрясся. — Сколько?

— В шесть раз меньше, чем сегодня.

Восемь секунд на подсчёты потратила та львица, что была моложе. Не веря в полученный результат, пересчитала и... Хохота у старушки не получилось. Заливалась, чем могла. Слезы вытирала платком без монограмм. Плечи тряслись, как в припадке. Насилу успокоилась.

— Подумать только! Пятнадцать лет! Это же надо! Хиии... Хиии... Меня на целый год позже и не спонтанно, а с понтами. Цветы, подарки

дали. В «Прагу», в «Арбат», в «Арагви» без очереди водили. На папиной «Волге» катали...

– Замуж взять обещали, – не выдержав, передразнила подружку бабушка Маша. Ей надоел такой тон. Она уже стала подыскивать слова, чтобы заткнуть второй старой львице рот, как услышала:

– Очень надо мне это было. В шестнадцать-то лет. Я тогда уже поняла, что всегда успею кого-нибудь осчастливить. И я копалась, выбирала.

Теперь понимающая улыбка коснулась губ старшей львицы. Что-то припомнилось.

– Ах, милочка, я тоже думала, что выберу сама, – продолжила она примирительно, – и что рулить процессом буду сама, на всех этапах. Пока он не привёл меня в то утро в один подъезд, до входа на чердак изрисованный чертями и ведьмами на мётлах, исписанный пророчествами и проклятиями, с потухшими свечами на подоконниках. «Да отрежут лгуну его гнусный язык!» – показал он мне на надпись, и от себя добавил: «Никогда не лги».

«Так, так, так. Хорошее было начало, – думала притихшая младшая львица, – как бомжишку, в подъезде!» А вслух добавила:

– Помню, помню. Тогда таких подъездов, открытых настежь, сколько хочешь было, – и добавила про себя: «Саму водили. Хи... хи... хи...» – В центре где-нибудь?

– Рядом с Театром сатиры, на Садовом кольце.

И первый раз за всю историю их дружбы Мария Павловна не сдержалась и без обиняков посмотрела на свою подругу Свету как на законченную дуру.

Света, не понимая чем его заслужила, проглотила этот взгляд, ничего не выясняя, но огрызнулась. С лицемерной улыбочкой сочувственно спросила:

– Дефлорировал?

Очень ей нравилось это слово.

Чтоб скрыть румянец, так не свойственный красавицам в годах, именница закрыла ладонями лицо. Она жалела, что разговор коснулся такой интимной темы, но почему-то сказала правду.

– Ну, не совсем.

И констатируя своим жестом «что было – то было», она отняла от лица ладони и, улыбаясь уголками рта вниз, блуждала взглядом по простору пентхауса.

У бабушки Светы, как называли младшую львицу её правнучки, глаза блеснули бессовестной догадкой, которую, конечно же, не стоило озвучивать в приличной компании, но маленькая рептилия такого молчания никогда бы ей не простила. Изгрызла бы потом. И бабушка Света разжала свои белоснежные челюсти и, просунув между ними свой бескостный язык, вдавила его изнутри в левую щёку и сделала им пару движений, и взглядом спросила у бабушки Маши: так?

* * *

– Так, – сказал младший лейтенант милиции, открывая паспорт девятнадцатилетней гражданки Марии Валадовой.

Её уже несколько раз задерживали органы правопорядка, но так далеко от Москвы ещё не случалось. В Ленинграде рядовому составу милиции её фамилия была совсем неизвестна, и поэтому дело могло кончиться весьма печально для её отца. Оргвыводы последовали бы

незамедлительно, даже после простого упоминания её имени в сводках. Тем более что в этот раз это было не просто нарушение общественного порядка или тунеядство, а покушение на валютное мошенничество. Уже год как она бросила архитектурный институт и под псевдонимом Маруся то с одним бойфрендом, то с другим кочевала с флэта на флэт. С последним они добрались до Питера ради концертов Майка Науменко. Ничего особенного, казалось бы. Такая жизнь была тогда не в диковинку. Хотели сбежать хоть на пару-другую дней от скуки, от серости, как тогда говорили, от вездесущей «смури». Побесились бы в рок-клубе пару вечеров и обратно в Москву, но после первого же концерта в толчее покидающих зал она увидела вдруг ироничные глаза своего условно первого. В Питер он перебрался почти сразу после отставки отца и приобрёл там новое имя Освальд.

Ближе к полуночи компания из семи молодых людей кормила комаров, расположившись вокруг костра на пригородном дачном участке одного из них. Звенели гитары. Батарейки в магнитофоне старались экономить. В костре пеклась картошка. Много пели. Открыли уже третью бутылку молдавского портвейна. На языке танцев пытались нецензурно самовыражаться.

Четверо молодых людей, в том числе и Освальд, были длинноволосые. Бойфренд Маруси чувствовал себя рядом с ними неловко, хотя и знал все песни, что они пели. Вторая девушка на этой вечеринке была, как и длинноволосые парни, тоже из Питера. Голос у неё был отлично поставлен. Не меньше трёх раз на хорошем английском она исполнила арию Марии Магдалины. Маруся чуть не расплакалась и, чтобы Москва не ударила перед Питером в грязь лицом, попросила музыкантов подыграть ей «Бессаме мучо». Получилась какая-то цыганщина, не справились гитаристы. Но все были в диком восторге, а Освальд просто открыл рот.

– Я и забыл, что ты испанка! – хлопнул он себя по лбу.

Мария Литисия Валадо – такой должна была бы быть транскрипция её ФИО, если бы в Ивановском детском доме ещё в 1939 году маленькому черноглазому Паблику, сиротке из Барселоны, не выправили советские документы и не добавили к его фамилии одну букву. Его родители, испанские (не каталонские) коммунисты, пропали без вести на полях гражданской войны, и его эвакуировали с другими детьми в Советский Союз. И когда в шестидесятые годы один за другим его друзья-соплеменники стали получать весточки с родины и уезжать, Павел Игнатьевич Валадов, уже капитан советской милиции с хорошими перспективами, молил неизвестного ему бога излить на головы родственников ушат забвения. И бог ему внял. Ни с кем объясняться не пришлось. Ностальгия по родине овладевала его сердцем только во сне. И он опять говорил по-испански, опять ел виноград, опять любовался корридой, которую успел увидеть всего один только раз. С треском будильника или с командой «Подъём!» пещерный патриотизм испарялся.

Неизвестный ему бог долго не давал ему жены, потом долго не давал детей, так что Мария стала поздним ребёнком, на которого обрушилась осмысленная, в уме не раз отрепетированная любовь родителей, уже не чаевших такого счастья. Мама и папа твёрдо знали, какой Машенька должна стать и что ей для этого надо. К тому моменту, когда на плечах Павла Игнатьевича зазолотились генеральские погоны, Мария на пианино играла Шопена, занималась в балетной студии, а главное, самое важное для папы, говорила по-испански, как жительница Сарагосы.

До гормонального взрыва, редко кем переживаемого безболезненно, оставалось два года. Только её учителя и её родители знали реальную цену пятёркам в её аттестате о среднем образовании.

Четвёртая бутылка портвейна показалась Марусе намного крепче предыдущих, и она уже не делала больших глотков и не тянула свою кружку к струе наслаждения. Утром, когда всех участников импровизированного загородного пати, кроме неё и Освальда, будут мучить дикие головные боли, она увидит немного в стороне под кустом чёрной смородины пустую стеклянную тару с этикеткой: «Спирт питьевой этиловый “Арктика” 97 % об.». И сразу поймёт, в чём причина столь плачевного состояния её товарищей по счастью. А пока она вместе со всеми смеялась над рассказом Освальда.

— Мой дорогой фатер в восьмидесятом году, чтобы не потерять меня из виду... — и Освальд, зажмурившись, помотал головой, глубоко выдохнул и отставил свою кружку подальше. — Это было, когда весь пипл вместе со всей алкотой, с фарцовщиками и другим неблагонадёжным элементом, позорящим Страну Советов, выселяли за сто первый километр. Олимпиада.

Освальд обернулся к Марусе и подмигнул ей.

— Спустя неделю после нашего знакомства.

Даже будучи пьяненькой, Мария зарделась. Она очень надеялась, что тени ночи и блики костра скроют её румянец. И вместе со всеми продолжала слушать и улыбаться. Освальд продолжил:

— Чтобы не выселять меня вместе со всей босотой из Москвы, папаша сдал меня как буйного в Кащенко на всё лето. В отдельную палату с решётками на окнах и с двумя солдатами у двери. Но я не из тех, кто лыком шит. Через неделю уже мы играли целыми днями с солдатиками в карты. Проигравший должен был принести бутылку. И странное дело, несмотря на то что в любом случае деньги давал бы я, проигрывали только они. Потом я стал их просвещать. Один служивый съездил к моей маме с запиской от меня, и она втайне от отца передала ему мой двухкассетник. Я просто сносил им крышу Van der Graaf Generator'ом и Yes'ом. Под карты и вино они ещё терпели, а без карт вешались. Врачи заглядывали ко мне редко. Не чаще раза в день. Они же знали, почему я там был. Кончился тот отдых тем, что однажды я напоил тех вояк портвейном со снотворным и переоделся в одного из них.

И сразу же кто-то из волосатиков у костра, предугадывая продолжение, с восторгом и недоверием спросил:

— А хайры (волосы. — *авт.*)?

Освальд не ждал такого вопроса, но нашёлся быстро:

— Так я почти лысый тогда был. Месяцем раньше меня кришнаиты травой обдули и, пока я спал, под своего побрили, черти.

Как ни старалась Маруся, но в её памяти тем летом Олег (он же Ольгерд, а теперь Освальд) был с такой же причёской, что и сейчас. Удивительно, но это обстоятельство только подстегнуло вспыхнувшее в ней влечение к нему.

— Оказавшись на свободе, я был в шоке. Все тусовки пусты. На Яшке и на Гоголях одни негры. Хиппи будто вымерли все. Ни одной знакомой мочалки найти не мог. На каждом перекрёстке менты. Хорошо, думаю, комитетчики поработали. К матери идти не хотел, к одноклассникам в том виде, в каком был, не мог. Прайсов ноль (по-русски это будет «денег ни копыя». — *авт.*) Жрать охота. И я еще постоянно забывал, что в форме. Ходил без пилотки, руки в карманы. А патрулей тоже хватало.

Когда Освальд рассказывал, как рядом с телефонами-автоматами стрелял двухкопеечные монеты у закончивших разговор обывателей и сигареты у случайных прохожих, компания дружно взрывалась хохотом. Ему это явно льстило, и его несло дальше. «Андерсеном надо было тебя назвать», – влюблённо думала о нём Мария и смеялась вместе со всеми. Не смеялся только бойфренд Маруси, он давно уже спал.

– Задавая себе вопрос, зачем я сбежал из психушки, дрожащий от страха, голодный и невыспавшийся, я улёгся, наконец, на каком-то чердаке и думал, что завтра обязательно эмигрирую из Москвы автостопом куда-нибудь, хоть в Питер, хоть в Киев, хоть в Горький, хоть в Минск. Только бы из столицы выбраться.

В шесть часов утра над телом переоблачённого Ольгерда собралось больше сотни сизых голубей и, сговорившись, они все одновременно ударили крыльями.

– Как будто бомба взорвалась! Я вскочил и вместе с голубями заматался по чердаку, забыв, где выход. Пилотку потерял. Насилу выбрался.

Четвёртая бутылка была опустошена. Кто-то предложил не торопиться с открытием пятой. До утра ещё далеко. Все согласились, и на углях костра появился выдавший виды старый чайник.

– Как у Ленина в Разливе.

Когда не заснувшие участники вечера взяли в руки клубящиеся паром кружки со свежесваренным чифиром, Освальд закончил свою историю.

– Уже на улице я вспомнил, что и в Питере, и в Минске, и в Киеве проходят матчи олимпийского турнира по футболу. Там будут такие же напруги, как и в Москве. И мне оставался только Горький. Там у меня был один старый добрый приятель, и адрес которого, и телефон я помнил хорошо. И я бы точно скоро с ним увиделся, если бы не поленился добраться до шоссе Энтузиастов пешком. Чёрт понёс меня в метро. Думал по-хорошему уговорить тётку у турникета пропустить меня к поездам. Из увольнения, мол, опаздываю, а денег нет. Она пропустила, но уже на эскалаторе у меня спросили документы два стрёмных мента.

Маруся весь пикник не сводила глаз с Олега. Он был старше всех в той компании. Красивее и интересней всех. Породистей. Манернее. Даже сквозь хиппанский прикид было видно, что он мажор. Естественно, что и музыку он заказывал, и разливом командовал. И початые бутылки непонятно для чего аккуратно складывал у себя за спиной. Отлучался от костра редко, зачем-то ходил пару раз в дачный домик. Последний раз, когда он встал у костра, пипл затянул песню про то, что папирос нет и огня нет, и никто не заметил, что Освальд захватил с собой пустую бутылку. И только Маруся обратила внимание, что вернулся он с двумя полными бутылками молдавского портвейна. Хотя по счёту их должна была остаться одна. Суть фокуса Маруся поймёт утром. А пока что ночной сумрак и тёмно-зелёное бутылочное стекло надёжно мешали пиплу разглядеть, что портвейн достаточно сильно попрозрачнел.

– А если дождь? Как мы все поместимся в этой хижине? – спросил как бы сам у себя Освальд, присаживаясь вплотную к Марусе. И озабоченно вздохнул.

И снова стучали железные кружки, но никто уже не задумывался, почему портвейн стал так крепок. Всеобщее опьянение нивелировало вкус. Освальд не скрывал своего удивления тем, что Маруся ещё держится на ногах. К первым петухам, кроме них, все лежали в лёжку. Только теперь Освальд включил магнитофон. Маруся с усмешкой спросила:

– А что ожидало тех солдатиков, твоих конвоиров?

Освальд расплылся, пожимая плечами.

– Наверное, дисбат.

Ему нисколько не было жаль этих персонажей своего устного творчества.

– У меня к тебе есть дело, Муся. Вы когда в Москву возвращаетесь?

Неправильно понимая его, Маруся с готовностью положила свою голову ему на плечо, а узкую ладонь ему на колено. Освальд брезгливо покосился на её похрапывающего бойфренда, а потом обвёл глазами дачный участок и почесал свою лохматую голову. На горизонте блеснула зарница, и в руках Олега со странным акцентом хрустнула толстая сосновая ветка, которую он всю ночь не выпускал из своих пальцев.

– Я помню, ты хвасталась, что владеешь испанским почти как жительница Сарагосы.

И Освальд только чуть её приобнял. Без намёка. На случай, если бойфренд неожиданно проснётся.

– *Nablo español, mejor que una española**, – не без гордости ответила Муся и смело, не то что четыре года назад, коснулась губами его шеи.

Между тем в лицо им пахло свежим ветром и запахами приближающейся грозы. В посветлевшем небе рыскали молнии. На чердак домика можно было попасть только снаружи, по прибитой к его торцу лестнице.

* * *

События грядущего дня в памяти Марии Павловны надолго обесценят её воспоминания о событиях того утра. Она почти их забудет. Но однажды, в самом неподходящем месте они холодным душем выльются ей на голову. Казалось бы, давно выцветшие воспоминания крепко сожмут её горло в одну из первых пасхальных ночей, которую патриарх Московский проводил не в Елоховском соборе, а в восстановленном недавно Храме Христа Спасителя, когда в одном из истово молящихся вальяжных прихожан она признает Олега. Это случится не скоро, не меньше чем через двенадцать лет, а пока на питерской даче наступало прохладное и мокрое, хоть выжимай, утро. Пипл болел. Костёр не хотел разгораться. Бледные волосатые сомнамбулы кутались в старые пиджаки и пальто хозяев и на непонятном языке молили Небо о горячем крепком чае, понимая, что молить о чём-то большем будет кощунством. Гитары, пережившие ту ночь под открытым небом, звучать отказывались. Бойфренд Маруси, более живой, чем другие свидетели происходящего, как пришёл в себя, обежал участок, заглянул на чердак и чуть ли не с кулаками бросился к Освальду:

– Где Маруся?

Освальд показал пальцем на входящих в калитку Марусю и Лену с сухими дровами в руках.

– Добытчицы, – усмехнулся Освальд.

Бойфренд успокоился и принял деятельное участие в разведении огня. Только у него нашлись сухие спички. Закончив с чаепитием к одиннадцати часам, пипл достал из карманов последние копейки и на старом велосипеде отправили одного из своих, кажется, Веню, в ближайшее село.

Освальд стал нервничать.

* Я говорю по-испански, лучше, чем испанка (*исп.*).

– Я с фирмачами стрелки забил на шесть вечера у Казанского собора. Столько сил приложил, столько изобретательности. И что теперь, всё коту под хвост? Здесь, похоже, всё затягивается. Нет, нет, нет. Надо выбирать.

Он стал прощаться с другими волосатиками, а Марусе сказал:

– Ты могла бы мне очень помочь. Фирмачи испанцы. Поехали со мной, не пожалеешь. Решай быстрее, электричка через полчаса.

Не поднимая глаз, Маруся одним глотком, одной затяжкой всосала остатки чифира и встала на ноги. Не скрывая раздражения, её молодой человек встал рядом с ней. А куда ему было деваться? Он был младшим сыном простого профессора МГУ, и Маруся, можно сказать, была его кошечкой. Он никогда бы не решился, как настоящие «индейцы асфальтовых прерий» тусить по всей стране без полущки в кармане.

У Лены, ночной исполнительницы арии Марии Магдалины, нашлась расчёска. Обменявшись хайратниками и записав свой телефон в блокнот новой сестрёнки, девочки, целуясь, повисли друг у друга на шее.

– Айда уже! – скомандовал Освальд. – Развели телячьи нежности.

Три пары одинаковых китайских кед по просёлочной дороге заторопились к полустанку.

– Где-где, – смеялся Освальд, – в «Сайгоне», конечно. Я там Цоя ждал, а он в тот вечер молился Бахусу в своей кочегарке. И тут эти интуристы. Ола-ола. Эспаноло туристо. Хороший кофе. Достоевский. Кое-как разговорились. Чуть старше меня ребята. Франко, говорят, плохой. Брежнев хороший. Ленин жив.

Услышав про Цоя, Маруся улыбнулась. А её бойфренд, похоже, поверил. Челюсть у него отвисла.

Потом, уже в электричке, Освальд описал ту роль, которую надо будет сыграть Мусе. Никто, кроме Освальда, не называл прежде Марусю Мусей. У неё аж сердце теперь сжималось.

– У меня с одним из них серьёзный разговор будет. А ты займи на полчаса остальных. Поводи их окрест, расскажи, что знаешь о Кутузове, о Барклае. Сможешь?

Маруся даже не заинтересовалась, о чём будет серьёзный разговор с одним из испанцев. Она поверить не могла такому счастью: ещё один вечер она сможет быть полезной Олегу. Он сразу увидел в её глазах отблески этого счастья и не стал посвящать её в детали. Если бы рядом с Марусей не сидел её накупившийся молодой человек, Освальд провёл бы своей ладонью по её волосам.

– Вот и отлично. Сейчас ко мне на флэт. Душ, закуска, может, ещё часок вздремнём. И к 18:00 к Казанскому собору. Сделаем дело, и я вас на поезд посажу, а может, и сам с вами уеду.

В «Сайгоне», в самый разгар обмена эмоциями с гражданами капстраны (с фирмачами), Освальд заметил устремлённый на него цепкий взгляд какого-то с иголки разодетого франта, стилиги. Чувак явно был или успешным барыгой, или очень успешным фарцовщиком. Таких котлов (часов), такого количества фирменных шмоток Освальд не видел даже на представителях своего класса, на мажорах. Одним словом, криминалом от него несло на весь Невский проспект. Когда Освальд сказал испанцам: «Пойду отолью», этот красавчик сразу последовал за ним.

Для объективности надо упомянуть, что у Освальда у самого в голове уже крутились мысли, как бы пожить с этих амиго. Но как для потомственного мажора деньги для него никогда, даже сейчас, проблемой не были. Ему хотелось куража, чтобы было что рассказать

у следующего костра. Он думал выцыганить у гишпанцев какой-нибудь сувенир, журнал «Роллинг Стоун», или «Плейбой», или пару кассет, может, пластинок, или кроссовки у Алехандро выменять на икру. Реальным обогащением Освальд не грезил.

– Демократы? – услышал Освальд у себя за спиной, и его струю повело мимо писсуара. («Демократами» называли туристов из соц-стран. – *авт.*)

Не оборачиваясь, Освальд с гонором ответил стилиаге:

– Да ладно. Фирмачи. Испанцы.

То, что предложил красавчик, так торкнуло Освальда, что он не знал, в каких единицах измерять тот драйв, что словил. То ли в джоулях, то ли в юри. И он повёлся.

– Ты для начала представь меня им как доброго друга. Надо разобраться, какого они полёта, есть ли у них деньги вообще.

Из туалетной комнаты молодые люди вышли обнявшись, так они разыграли перед испанцами счастливую встречу старых друзей.

– Серж! – представил стилиагу Освальд, подойдя к интуристам. – Мой въехо амиго! (Старый друг.)

Испанцы с горем пополам говорили по-английски. Серж говорил хорошо. Так что общий язык они кое-как нашли. Когда двое испанцев захотели покинуть честную компанию раньше других, Освальд и Серж убедились, что с наличной ликвидностью у них некоторые затруднения. Буфетчик никак не хотел принимать их песеты к оплате, а инвалютных рублей (чеков), которые им наменяли при пересечении границы в аэропорту Пулково, им не хватало.

– Человек! – поманил буфетчика к себе Серж. – Проблемы?

Серж с заметным удовольствием доплатил за интуристов целых три рубля. И они бросились к нему с благодарностями. Особенно усердствовал Алехандро, с которым Серж скоро уединится за отдельным столиком. Чуть позже, проводив иностранцев до стоянки такси, стилиага скажет Освальду:

– А ведь я и правда Серж. Как ты угадал? – и рассмеётся: – Спасибо за наводку, друг. Я так и думал. У них большие сложности с нашей наличкой. В первые дни профукали все чеки на сувениры, теперь палец сосут. А им ещё неделю здесь тусить. Надо действовать.

Освальд и не отказывался. План был следующим. Серж, выслушав жалобы Алехандро на странную экономическую политику в СССР, предложил ему поменять валюту на деревянные советские рубли. Вот тебе, Санчо, и водка, и икра, и матрёшки. Делов-то. Но с оговоркой. Песеты не катят, слишком низкий курс. Если и возьму, то один к одному. Доллары возьму один к четырём с полтиной. Марки один к трём. Франки один к двум.

– Завтра у меня стрелка с ним в Петергофе, там всё и уточним. Скажет, сколько они соберут со своих, я пересчитаю эту цифру в рубли, и если ударим по рукам, то дальше действовать тебе. Готов?

– Естественно.

– Двадцать процентов навару твои.

– А что делать-то?

Серж сел на лавочку со спинкой, развалился и, продолжая лыбиться, мерил Освальда взглядом.

– Ты понимаешь, пипл, что ты мне в принципе дальше не нужен? Все ниточки у меня в руках. Я тебе из чистого альтруизма даю подработать.

В устах Сержа, слово «пипл» звучало пренебрежительной издёвкой.

– Понимаю, – ответил Освальд, глазами вперившись в асфальт.

– Я с этим Алехандро сейчас в «Сайгоне» засветился за столиком. Завтра засвечусь с ним в Петергофе. И если менты или гэбэшники будут кого-то пасти, то вернее всего меня. А я после завтрашней стрелки буду дома сидеть. А бабки на обмен мучачам ты понесёшь, – и театрально зевнув, Серж добавил: – Или мне ещё кого искать?

Освальд приуныл.

– Я бы на твоём месте не отказывался. Чревато.

Освальд услышал угрозу, собрался с духом и сказал:

– Лады.

Серж, видя настроение собеседника, заржал во весь голос.

– Что ты пригорюнился, как поп на поминках? Я всего лишь себе цену набиваю, неужели не понятно? Да таких интуристов, как этот Алехандро, по Ленинграду сотен пять-шесть шарится, а таких, как мы с тобой, тысяч пять-шесть. За всеми мусорам не уследить. Я эту пьесу седьмой раз ставлю. И каждый раз с оглушительным успехом. Не ссы. Завтра вечером, когда станет ясно, чем мы мучачам обязаны, мой бегунок принесёт тебе сумку с нужной суммой и записочку с указанием, где и когда забиты стрелки с Алехандро. Он охотнее будет говорить с тем, кого знает в лицо. За мной могут следить. Значит, пойдёшь ты. Покажешь ему, что пачки денег не кукольные. Оглядывайся почаще. Держи его в напряжении. Когда поменяетесь сумками, их деньги не пересчитывай. Буржуа люди приличные, обманывать не будут. Попрощайся и сразу на вокзал. Там сдашь сумку в камеру хранения, вот на этот номерок, вот с этим паролем. Бумажку потом проглоти, от греха. Ничего сложного.

– Я всё понял.

Записку и сумку бегунок принёс следующей полночью. До стрелок с Алехандро оставалось ещё почти двое суток, амиги не торопились, и Освальд решил провести это время с пользой, вечером намылился в рок-клуб. Но уже утром, в шесть часов, его посетила крысиная мысль: а не дёрнуть ли мне с этими бабками? И он открыл сумку.

– Это что, мля, такое? – кричал он в трубку домашнего телефона, набрав номер, который дал ему Серж на самый крайний, самый пожарный случай.

– Я ждал, – сказал в ответ Серж, – клади трубку, я сейчас из автомата перезвоню.

Освальда трясло, как припадочного. От негодования зуб на зуб не попадал. «Связался с уголовщиной! Какого чёрта!» – клял он себя. Скоро телефон зазвонил.

– А ты что думал, придурок, я этим лохам настоящие рубли отдам? Нет, дружок. Я хочу пить шампанское, а не «Жигулёвское». Это генеральским детям всё на блюдечке с голубой каёмочкой, а нам надо самим выгрызать у судьбы крохи своего счастья, пока зубы есть. Короче, если не хочешь виском на поребрик упасть, делай всё как договорились. Какие там деньги: болгарские, юговские?

– Югославские динары, – отвечал напуганный и пристыженный Освальд.

– Ну и что ты ссышь? Размер такой же, цветовая гамма такая же, кирилица, серп и молот, пятиконечные звёзды. Чё им ещё надо? Они наших денег в руках не держали, в глаза не видели, читать по-русски не умеют, они и по-английски-то хуже меня разговаривают, нам в спину будут плевать, если мы их не обуем. Они же непуганые идиоты. Надо внести ясность.

Серж, как бешеный волк, скрипел зубами.

– Не звони мне больше, делай всё как договорились. На вокзале за тобой мой человечек проследит. Уехать с валютой не даст, учти.

– Как мне свою долю забрать?

– Вот это другой разговор. Там будут 300 немецких марок. Можешь их себе забрать. Только не лоханись, когда менять будешь, фраер.

Освальд долго не мог прийти в себя. Никогда ещё ему не приходилось сталкиваться с параллельным миром в реальности. Его как будто фейсом ткнули в кирпичную стену, указали ему его место в иерархии божьих тварей.

После 11:00 он поплёлся в гастроном, где его ждала маленькая, но такая нужная сейчас удача. За спиной продавщицы он увидел на полке «Арктику» – спирт питьевой этиловый 97 % об. В свободной продаже большая редкость. И Освальд взял его на потом, а на сейчас взял «му-жика в шляпе», молдавский портвейн.

От себя хотел сказать, что многие из бывших хиппи, а тем более из просто прихипплённых, для придания своей молодости романтического ореола, сейчас, в XXI веке, любят вспоминать о их героическом противостоянии репрессивной машине под страшной аббревиатурой КГБ. Поверьте мне как человеку, прошедшему то же горнило, плевать на нас хотели комитетчики с Останкинской телебашни. У них были дела поважнее. А вот сотрудники ОБХСС (наверное, сейчас их можно сравнить с налоговиками или с ОБЭП) следили за нами пристально и видели в нас спекулянтов, фарцовщиков, валютчиков, скупщиков краденого, живущих на нетрудовые доходы, то есть классовых врагов. Если комитетчики и говорили с кем-то из актёров того спектакля, то только с испанцами. Всё, что касалось иностранцев, и правда было в компетенции КГБ. А с нашими гражданами разбирались сотрудники МВД.

Вот такие служители Фемиды и скрутили в колоннаде у Казанского собора волосатого молодого человека при попытке совершения незаконной валютной сделки. Освальд действительно оставался в тени, следили оперативники за Сержем и за Алехандро, и его появление вызвало даже некоторое замешательство, но буквально на минуту, не больше. Приняли мусора и Марию Валадову, а за её бойфрендом пришлось побегать. Он, когда увидел людей в штатском, одних подбирающихся к Марусе, других к Освальду, хотел изобразить сначала эпилептический припадок с громкими криками, чтобы хоть как-то предупредить любимую. Ведь бойфренду давно было ясно, что дело нечисто и развязка близка. Но он не смог. Когда увидел, что на Освальда надели наручники, к Освальду он стоял ближе, он втянул голову в плечи и утёк.

Наверное, над этим рассказом можно было бы и посмеяться, он действительно и забавный, и пикантный, и романтический, и поучительный. Можно было бы, если бы статья о валютных махинациях не была в Советском Союзе подрасстрельной.

Отца Марии, можно сказать, адъютант поднял в пятом часу утра с больничной койки. Тот проходил обследование в госпитале министерства. За отцом Олега благодарные бывшие подчинённые отправили самолёт в Пицунду. Изменить вектор движения грозового фронта можно было не позднее двенадцати часов дня по Москве. И одному семейству это удалось, а другому не очень. К следующему полудню Мария Валадова фигурировала в уголовном деле уже как свидетель. Олег же остался в Крестах. Через месяц на суде ему впаяют, с учётом смягчающих обстоятельств, двенадцать лет строгого режима. Но судьба и теперь

не оставит его своей милостью, и уже через полгода очередная всесоюзная амнистия, зачастили они в те годы, дарует ему свободу. Опять же благодарные бывшие подчинённые его отца не прохлопали, не упустили такого случая. Вообще, его статья только отчасти подпадала под амнистию, так что любое должностное лицо, готовое спорить с замминистра, а в те времена ещё встречались такие, могло оставить его за решёткой.

С тех самых пор и до 38 лет Олегу даже в голову не приходило отращивать длинные волосы.

Мария Павловна хотела и обо всём этом рассказать старой подружке, но удержалась. Сочла этот эпизод в общей канве рассказа малозначительным, неинтересным и для желудка Светы несъедобным. Гарантированно не переварит. Таким образом, Мария Павловна решила не портить свою репутацию, а сразу перейти к следующей встрече с Олегом.

* * *

Переход от плотоядного периода в жизни Марии Валадовой к вегетарианскому произошёл достаточно резко. Случилось это в середине 90-х. Уже пять лет они были закадычными подружками со Светой. Пять лет на пару блистали в самых дорогих и не самых безопасных значных местах столицы. Их косых взглядов старались избегать не только жадная до крови криминальная шантрапа, но и те, кого с лёгкой руки Солженицына в ближайшее время станут именовать «олигархами».

У отца одной из них, несмотря на его почти семьдесят, повсеместный дух тления вызвал такие амбиции и подсказал ему такой план действий, что за достаточно короткий отрезок времени все структурные подразделения МВД Москвы и области превратились в единый безотказный коммерческий комбайн. Отец второй взвился выше, хотя и был значительно моложе. Его уборочные машины жали общероссийскую ниву. Их можно было бы назвать коллегами и даже единомышленниками, столь схожи были их инженерные решения и устремления, если бы они мыслили в рамках одной конторы, а не в конкурирующих фирмах. Чудом на тот момент их интересы по-бараньи не столкнулись утром рано на каком-нибудь столбчатом мосту. Тогда бы стало ясно, какова цена дружбы их дочерей.

Незримые, но вездесущие охранники девочек один только раз на открытии «Балчуг Кемпински» повздорили друг с другом, оспаривая право захоронить ещё живое тело залётного кузбасского криминального авторитета, наивно посчитавшего Свету и Машу легкодоступным женским мясом. А девочки, как и в добром десятке подобных случаев, ни сном ни духом, куда делся тот хам, что вознамерился, по словам Маши, ещё не забывшей испанский, прыгнуть «из своры в сеньоры».

По количеству разбитых сердец лидировала Маша. По количеству же разбитых семей и обездоленных сирот первенство оставалось за Светой. Старшей львице было достаточно, не отрываясь от нового жезла, увидеть в глазах вчера только допущенного к трону фаворита крушение его воздушных замков. Услышать взрывы его хрустально-хрупких шарантских кубов, дистиллировавших мутные потоки его чувств и желаний (восхищения, похоти, ревности, пажеского пыла) в самый чистый, самый прозрачный, в лучах восходящего солнца самый радужный дождь целебного и животворящего спиритус вини.

В какую утончённую, нечеловеческую, чернокрылую эйфорию Мария впадала при этом, словами не передать.

Развлечения Светы в те годы не были столь гуманны. Как истинная дочь своего времени она гналась за деньгами. Ещё на втором курсе МХТИ, отрепетировав технологию порабощения мужчин на своих преподавателях, заслуженных и признанных светилах, она с одного за другим начнёт безжалостно срывать венцы добропорядочности и брошежилеты благосостояния и расплачиваться этими трофеями в ночных клубах с барменами, со стриптизёрами, с официантами. Впоследствии, достигнув вершин своего мастерства, она целую вереницу баснословно богатых Гермесов превратит в неутомимых Сизифов, которые из кожи будут лезть, пытаясь вознести на Олимп свою нимфу, но тщетно. Её ступа не заводилась.

Вот так год за годом девочки и будут жить необычайно успешным и равнодушным только к наслаждениям тандемом. Дополняя друг друга, меняясь мётлами, вынюхивая друг другу новые жертвы и закатывая глаза, чувствуя послевкусие жертв предыдущих. И в каком бы клубе им ни приходилось выходить на танцпол, они всегда танцевали свои нескромные танцы спина к спине. Когда Маша узнала, что один из вышеупомянутых Гермесов, схватившись было за голову в минуту просветления, имел неосторожность потребовать от Светы вернуть ему маленький островок в Карибском бассейне, то из уважения к тому Гермесу, попросила у бармена налить ей пятидесятилетнего виски доверху и, подняв свой рокс, сказала:

— За него, не чокаясь.

Те, кто услышал, подумали, что это злая шутка.

Бармен, игравший роль наивного и простосердечного провинциала, допустим, калужанина, приехавшего в столицу подзаработать денег, до самого утра в свободные минуты будет смаковать недопитый из того рокса виски и думать: «Какой дьявол дёрнул меня разбодяжить его с тридцатилетним?» Желтомордый чёрт только усмехнётся.

А тремя днями спустя в деловых новостях сообщили, что алмазному рынку угрожает серьёзный кризис, что на биржах паника. Прошлым вечером над Бермудским треугольником, а от Карибских островов его рукой достать, с экрана радара бесследно исчез самолёт российского кимберлитового короля.

Света оценила поступок своей подруги и, пустив слезу у неё на плече, сказала:

— Если бы ты знала, как я тебе благодарна. Мне самой гораздо легче было бы всё это устроить, но ведь я его... Одним словом, спасибо, что избавила меня от необходимости убивать любимого. Клянусь, что больше тебе не придётся так поступать, потому что больше у меня любимых не будет.

Обе подруги давненько уже так не напивались, как в тот вечер. Когда их ангелы-охранники выносили их из закрытого клуба для избранных и развозили по домам, гражданская жена кимберлитового короля и ещё одна женщина в Ростове-на-Дону совали свои шеи в петли. У каждой дети, у каждой никаких прав на наследство, долги и обязательства перед любовниками, фальшивые, как оказалось, бриллианты, спорные документы на собственность и рухнувшие надежды на достойную и далёкую старость. Не подозревая друг о друге, они обе знали о Свете, обе сыпали проклятиями на её голову, обе грызли своего сероглазого короля, не зная другой терапии сердечных заболеваний. И, как и следовало ожидать, у обеих ничего не вышло с самоубийством. Не хватило духа.

– Блаженны нищие духом, – звенел голос дьякона в храме. И одна из тех женщин, искренне сокрушаясь, ответствовала его возгласу: – Ей, Господи!

Те, кто живёт у кромки, знают, что бывают на море штормы, бывают штиты, каждый день видят приливы и отливы и каждый день молятся, чтобы никогда в жизни им не увидеть цунами. Ни Маша, ни Света не верили в силу молитв, и неудивительно, что однажды это стихийное бедствие застало их врасплох. Азамат, так похожий на щенка афганской борзой, был интересен и, казалось, отвечал излюбленным целям обеих. Они даже чуть не повздорили из-за него. Их протоконфликт не остался незамеченным и их ангелами. И, к сожалению, в тесном взаимодействии двух клиньев охраны случилась трещина, и каждая группа сосредоточилась только на своей подопечной. Я точно не знаю, но, скорее всего, именно из-за этого, когда Маша решила форсировать события и без подготовки ткнуть Азамата мордой в говно, её хранители уже сутки как оставались без средств удалённого наблюдения и без спецсредств по предотвращению возможных неприятностей.

В результате Маша больше тридцати часов оставалась в заложницах, а потом больше двух месяцев в лучшей швейцарской клинике, известной своими успехами в области регенерации детородной функции женского организма. При первом же посещении подруги, примерно через неделю, Света ей скажет:

– Я разговаривала с врачами, всё будет хорошо. Ты ещё легко отделалась.

Света имела шапочное знакомство с Татьяной Дьяченко и на одном из светских раутов в том же году привела её в высшую степень негодования своим рассказом о злоключениях самой близкой подруги. Будучи блондинкой, Света долгое время будет считать, что эта история стала последней каплей, толкнувшей президента идти на Грозный.

Азамат, превратившийся из борзого щенка во взрослого гиеноподобного пса, необъяснимым образом эмигрирует прямо из того особняка, где погибли двенадцать его и только двое наших бойцов, в Саудовскую Аравию.

Внутренний мир Марии Валадовой, безудержно и беспрепятственно катившийся к краю, споткнулся о больничную койку и, сделав в воздухе замысловатый кульбит, сломал себе шею. Недочитанный в хиппанской юности Достоевский приступил к его реконструкции. Слезы и стыд стали лучшими подмастерьями великого русского инженера человеческих душ. Мария возвратилась на Родину, никого заранее не оповещая, и практически от самого Шереметьево не отрывала глаз от асфальта. Через два дня, после невыносимого объяснения с отцом, она опять же тайно уехала в Дивеево. Впервые за последние годы она путешествовала по России без охраны. По месту прибытия её приняли под опеку настоящие бесплотные ангелы. Если бы не они, несмотря на всю её тягу к перерождению, она вряд ли бы выдержала даже вводную в монастырскую жизнь неделю. Сёстры монахини, сёстры послушницы, такие же, как она, паломницы, все были в глаза к ней очень добры, а за глаза завистливы и искренне не понимали, что она (богатая, молодая, здоровая) здесь делает? Как ни странно, но уже на второй день по её приезду все знали, чья она дочь, какое у отца состояние, какое у них имяние. И если другим ищущим спасения и готовящимся к причастию говорили: «Да ладно вам! Не надо так переживать! Не надо так волноваться!» То Марии все в один голос твердили: «Надо! Надо! Надо!» Все хотели от неё подвига.

Уезжая из Москвы, она оставила мобильный телефон на круглом обеденном столе, без объяснений, без записок, давая этим жестом своим близким понять, что не хочет, чтобы её искали. Однако Павел Игнатьевич Валадов не внял пожеланиям дочери. Оторвав бригаду следователей от сбора компромата на московских чиновников, он бросил их на поиски Маши. Профессионалам это было раз плюнуть. И уже в субботу Марию пригласила на разговор матушка настоятельница. Никогда прежде игуменья не разговаривала с глазу на глаз с мирянками, разве что уделяла час-другой их родственникам, приезжавшим редко и совсем не метко. В целом разговор был ни о чём. Настоятельница не спрашивала, что подтолкнуло Марию к паломничеству, какого она роду-племени, к какому сословному званию себя причисляет, как будто и так всё знала. Не спрашивала даже, чего Мария ждёт от пребывания в святой обители. Говорили о христианском следе в русском искусстве. О русской природе. О пагубности городов. О том, что такое тишина, что такое одиночество. О надежде и об отчаянии. Матушке игуменье было важно знать, на что Мария способна и в светлые, и в тёмные минуты своего настроения. Не доверяя словам её отца, настоятельница сама взяла кисти в руки и психологическим портретом Марии осталась довольна. Прощаясь с новой сестрой, настоятельница благоденствует её. Буквально на днях калымившие здесь белорусские умельцы завершили ремонт пристройки к паломнической трапезной. В одной из комнаток которой у Марии будет отдельная келья. Эта неслыханная милость окончательно убедила Машу, что выбраться из-под отцовского колпака ей не удастся даже здесь, и почему-то почувствовала к нему прилив теплоты.

Прощаясь, матушка игуменья образом преподобной Марии Египетской благословит на краткосрочное послушание новую сестру. И эта икона навсегда останется с Машей Валадовой и всегда будет занимать в её жилищах достойное место в киоте. Ни одна другая святыня так назидательно не напоминала Марии Павловне о том, что она христианка, как взгляд той седоволосой старицы.

Вечером Маша раньше других паломников окажется в храме, почти за час до вечерней службы, где станет свидетелем какого-то обряда, творимого над молодой женщиной, кликушей по имени Елена. Не то алкоголичкой, не то наркоманкой. Маша с трудом признает в ней ту Лену, с которой когда-то соревновалась в вокальном искусстве на питевской даче.

Несколькими годами позже святою предпраздничной ночью она положит перед этим образом поклон, коснётся пальцами пола и наберёт на трубке телефона номер такси. Ни Маруся, ни Маша, ни потом Мария Павловна вплоть до описываемого юбилея никогда не смогут избавиться от классовых предрассудков, от привычек, от отчётливого ощущения своей избранности. И если уж встречать Пасху в храме, то не иначе как в храме Христа Спасителя. Кстати, Света грозилась познакомить её кое с кем после службы. Маша противилась этому, не хотела мешать светлые чувства с необходимостью христосоваться непонятно с кем. Поэтому была несказанно рада, что Света проспала ту необычно тёплую ночь. Их отношения уже нельзя было назвать близкими. Память о совместных приключениях ещё заставляла держать друг друга в поле зрения, но никак не подталкивала искать новых. Хотя Света была бы не против, но найти такого надёжного партнёра, как Маша, всегда готового прикрыть её, мягко говоря, спину, ей было нелегко. Проходя

второе оцепление милиции, Маша, нисколько не сомневаясь, сдала молодожавому майору пропуск Светы, как не востребованный. В храме, не обращая внимания на суетолюку, она погрузилась в радостную молитву. Держась глазами мраморного пола, Мария не заметила, как гордо прошеествовали мимо неё премьер с супругой.

Внимая молитвам, мысленно подпевая им, женским сердцем танцуя под них, она и не заметила, как благоухающая дорогим парфюмом человеческая масса добродушно закружила её и увлекла за собой. Степенно следуя в общем потоке, не переставая молиться, Мария вместе со всеми вышла на свежий, пьянящий воздух весенней ночи, в котором она чувствовала едва ожившую зелень, запах реки, ладан, долетавший от начала процессии, и неизбежное приближение чуда. Крестный ход возглавлял патриарх. Мария шевелила губами, вторя гремевшему хору, благодарила Небо и ликовала торжественной минуте, когда, поправляя платок, первый раз за весь вечер подняла глаза.

Она на секунду привстала на цыпочки. Через два шага наступила кому-то на пятку.

– Простите.

В строгий духовный орнамент песнопений вплелись, как ленты в косы, гитарные переливы. Патриаршему хору тихо-тихо стал подыгрывать, сыпать разноцветным жемчугом синтезатор. Симфоническая гармония, нахлынувшая на Марию, не дала ей почувствовать, как сквозняк из неоновом тоннеля аккуратно сдувает с неё душеспасительное напыление.

Глаз Мария больше не опускала. Если она и отворачивалась от Олега, то не больше чем на секунду и только затем, чтобы опалить своим взглядом посмеявшегося толкнуть её ближнего.

По завершении крестного хода все вернулись в храм. Мария думала про Олега, оставаясь недостижимой его взгляду: «Как идёт ему борода». Любовалась иконописными чертами его лица. Удивлялась причёске и выражению глаз. Оценивала его гардероб. У кого-то машины дешевле стоят. Нашёл своё место. А какие манеры! И ведь это после тюрьмы! Как искренне, от плеча к плечу он осеняет себя крестным знамением. Премьеру можно было бы у него поучиться. И ещё думала: «Невероятно, что мы с ним опять в одной лодке. Никогда не замечала в нём тяги к возвышенному». И улыбаясь самой себе, добавила: «Думаю, и он во мне не замечал».

Среди сотен других голосов она различила его баритон:

– Воистину воскрес!

Всю службу, ни о чём больше не думая, она глодала глазами его профиль. Без стеснения топтала чужие туфли, пытаясь протиснуться к нему поближе. Крестилась только вместе с ним. Не слышала, как читают Евангелие. И совершенно не удивлялась такой погоде в своей душе. Ближе к завершению, уже после «Отче наш», Мария с удовлетворением подметила, что на безымянном пальце его правой руки обручального кольца нет. И в этот самый момент Олег едва заметно изменил направление своей головы и, насколько это было возможно, скосил в её сторону взгляд. Две долгих минуты раздумья, и всё-таки твёрдое «нет». «Не обернусь». И ещё через минуту он так же твёрдо добавил: «По крайней мере не сегодня».

Когда ей на мгновение показалось, что она чувствует его смятение, Мария возликовала.

На самом деле для него это был шторм, а не просто сквозняк из неоновом тоннеля. В левую корму его корабля ударил такой силы порыв,

что корабль накренился и чудом не омочил свои паруса во взбесившихся волнах. Мария ничего не заметила, но Олег едва не потерял равновесие. Можно предположить, что соскочивший с иглы наркоман после двух-трёх лет трезвой жизни чувствует что-то подобное при виде бесплатной дозы самого чистого героина.

Для обоих праздник был испорчен. Окончательно это стало понятно, когда ни он, ни она не дерзнули приблизиться к чаше со святыми дарами, хотя формально были готовы. Олег чувствовал, сколько скверны плещется в его голове, и счёл себя не достойным. А Мария, чтобы не потерять его из виду, пошла бы на любое святотатство, но он стоял, и она не двигалась.

Из храма Олег вышел одним из последних. Мария уже стала волноваться, не покинул ли он его пределы другим выходом. Но он других выходов не знал, просто боялся столкнуться с ней взглядами. Уже на улице, положив последний поклон, боковым зрением отсканировал пространство вокруг себя и быстро зашагал прочь. Несколько сот метров он прислушивался к невнятным шорохам ночи и не мог понять, чем он так раздражён. И понял это, только когда почувствовал её присутствие где-то за спиной и совсем недалеко и, обрадовавшись, приуныл.

Запаха реки в воздухе не осталось, запаха первой зелени тоже. Только стёртые шины, известь, свежая штукатурка.

— Если помнишь, платных стоянок тогда было немного, и он оставил свою машину за километр от храма, во дворе старого-старого дома, — рассказывала Мария Павловна своей гостье, — и чем ближе мы подходили к его автомобилю, тем медленнее он шёл.

Вторая дряхлая львица предвкушала. В её памяти замелькали угловатые джипы тех лет, их просторные салоны, их удобные задние сидения, их самоуверенные и торопливые владельцы-богатыри.

Автомобиль радостно пикнул, завидя Олега, завёлся и едва не завилял хвостом. Олег медленно обошёл его два раза, погладил, заглянул в салон, тяжело вздыхая. Потом стал протирать зеркала и лобовое стекло и ни разу не посмотрел по сторонам.

— Я стояла от него метрах в двадцати, не больше. Ждала, но он, как и всю дорогу до этого места, так и не обернулся.

— Так он знал, что ты рядом?

— Конечно, знал. Я же цокала каблуками и достаточно громко кашляла.

— Загадочный лох, — фыркнула Света.

А у Олега между тем в ушах звучали песни юности, весёлая битловская «Бессаме мучо» и душещипательная ария Марии Магдалины из Jesus Christ Superstar, но теперь он так не хотел оставаться юным, что скрёб по сусекам, выискивая последние крупички воли и собирая их в кулак. И, будто в лихорадке, никак не мог сообразить, как ему уже поставить точку?

К тому, что львица-юбиляр рассказала потом, её подруга готова не была. Речь шла о том, как выразительны были его движения, как свидетельствовали они о внутреннем противостоянии его гордыни и его любви, так казалось Марии в те минуты. Она живописно изложила развязку их дуэли и с отвращением упомянула о запрещённом оружии, которое применил Олег, смертельно ранив её сердце.

— Мне казалось, что небо треснуло! — всплеснула она руками.

Как колдун-звездочёт из страшной сказки широко открытыми глазами рассматривает новую комету и не может не радоваться этой дурной, зло-

вонной примете, Света смотрела на свою давнюю подругу, первый раз за весь вечер прикрывая ладошкой свои прекрасные поддельные зубы.

– Громко выпустил газ? Это как? Пёрнул, что ли?

Мария Павловна, закрывая лицо руками, кивнула.

– Я так на него надеялась...

– Хиии... Хиии... Хиии-и-и-и...

Чтобы остановить припадок смеха у младшей львицы, старшая звонила в единую службу спасения, которая, кстати, только начала функционировать в том далёком году, про который она вспоминала.

– По какому поводу ржёт? – спросил оператор. Не побоялся, подонок, что за такой вопрос могут урезать оклад. Его счастье, что Мария Павловна с годами потеряла былую хватку и не обратила внимания на его хамство.

В далёком прошлом между тем Олег громко хлопнул дверцей своего квадратнорылого «Мерседеса» класса G. Отчасти со стыдом и в то же время с широкой самодовольной улыбкой он вывернул руль до упора и вдавил педаль газа.

Выстрел был метким, безжалостным и беспощадным. Он никогда больше не вернётся в её память в доспехах рыцаря, и сам уже не сможет вспоминать о ней, не заливаясь краской. А это значит, что теперь его психика, избегая болезненных перегрузок, сама постарается переформатировать их романтическое прошлое и совершит подлог мотивов, и в более сдержанных красках изобразит ему возможные последствия. Олег был доволен тем, как ловко избавился от ещё одного искушения.

Надо признать, что нашему внутреннему миру свойственны такие выкрутасы. В целом, устойчивость нашей психики от них и зависит. И мало кто из нас не пользовался ими. И многим они помогали. Вопрос только, как долго длится эта помощь?

До своего последнего юбилея никому и никогда Мария Павловна ни словом не обмолвится об этом эпизоде. Даже сама с собой она будет стараться не говорить о той степени унижения, которую испытала тогда. Оглушённая треском неба, она десять минут простояла как вкопанная. Потом сняла с головы платок, вытерла им слёзы и, задыхаясь от презрения к бородатым мужчинам, и к мужчинам без бороды, и к женщинам, держащим этих мужчин под руку, и к их общим детям, и к их детям приёмным, сделала шаг в ту же сторону, в которую уехал автомобиль.

Истерики не было, слёзы высохли быстро, ноги не подкашивались, дыхание было ровным. Когда улица пошла несколько в гору, Мария почувствовала, что её сердце бьётся справа, и внутренние органы как будто пришли в движение и безболезненно меняются местами. Так в ней рождалось её новое «я», разумное, сдержанное, хладнокровное и целиком самостоятельное. Удивительно, что история с Азаматом не так сильно на неё повлияла, как последняя выходка Олега. Азамат просто поставил её на место. А Олег опустил ещё ниже. И если в первом случае было понятно за что, то смысл второго на всю её жизнь останется загадкой.

Когда улица опять накренилась несколько вниз, у маленького кабачка для посетителей средней руки, Мария села в такси совсем другим человеком. У своего подъезда, наверное, первый раз в жизни она рассчиталась с таксистом без чаевых.

Через два месяца Мария получит свою первую в жизни зарплату, которой ей хватит ровно на неделю. Дожив до тридцати лет, никогда раньше она не задумывалась, откуда берутся деньги и искренне удивлялась, почему все вокруг такие скряги? Если бы её отец не был

предусмотрителен и не сделал бы её соучредителем нескольких подмосковных предприятий, страшно подумать, какое нищенское существование ей пришлось бы владеть сейчас. Из его рук или из рук мамы Мария теперь не принимала денег категорически. Её новое «я» требовало свободы от их опеки. Будучи при этом натурой деятельной, она осваивала в одном из московских ведомственных НИИ (куда она без отца тоже бы не попала) специальность библиотекаря и вдумчиво отслеживала, как формируются её выплаты от упомянутых подмосковных предприятий. Регулярно участвовала в собраниях учредителей, где смело, высокомерно и даже нагло задавала вопросы, чем выбивала из седла своих оппонентов. Высокомерие, единственная черта из её прежнего багажа, которую Мария захватила с собой в новую жизнь. А в остальном она не сразу и не без труда, но всё же стала очень скромной. Особенно это было заметно на парковке в ряду автомобилей других владельцев. Так, у её будущего мужа машина была в три раза дороже, а пакет акций сети заводов ЖБИ в три раза тоньше. Позднее, когда они сблизятся, он будет искренне улыбаться тому легкомыслию, с которым позволял себе жалеть её. Одним словом, она сидела на мешках с деньгами и печалилась тем, что сидит, не может найти им применения. За год до трагической смерти отца, необъяснимо тёмного дела, Мария выйдет замуж, и печали кончатся. Мужу вопросов она задавать не будет. Во-первых, отец успеет его изучить и перепроверить и вынесет вердикт:

— Кристально чист!

Во-вторых, он возьмёт её фамилию. Для Марии это станет лучшим доказательством его преданности. Тем более что его родители, представители научной династии, были этим решением огорошены и всё свадебное торжество, все четыре часа, заметно тушевались.

После декрета Мария не вернулась к только что освоенной профессии. Нашла себя в материнстве. На несколько лет забыла практически обо всём, как о материальном, так и о духовном. Благо доходы мужа позволяли и одно и другое.

— Маша! — негодовал он порою. — Опusti его на пол. Разве можно научиться ходить, постоянно сидя на руках?

Только когда сын пошёл в школу, Мария вспомнила тлетворный запах пустоты и безделья, погружаясь в них на несколько часов каждый день. Вместе с бездельем приходили воспоминания, которые очень редко были светлыми и ностальгическими. Чаще они повергали Марию в стыд и уныние, и от некоторых она выпрыгивала из этой ванны как ошпаренная и, закутав голову в махровое полотенце, подолгу сидела на краю и с ужасом думала: «Неужели так и было?»

Чем дальше, тем болезненнее она чувствовала, что даже если никто никогда ничего не узнает о тех гадостях, что они вытворяли когда-то, это не значит, что они их не делали.

Муж всё чаще спрашивал:

— Почему ты такая грустная? Почему у тебя нет подружек? Почему ты ничем не интересуешься, не хочешь развлечься?

— Я хочу второго ребёнка.

— Ты же знаешь, что твои врачи категорически против.

Мария мечтала избавиться от пустоты, мечтала заполнить и душу и голову новым делом, мечтала пресечь набег воспоминаний. Для женщины лучшим выходом из подобного состояния стал бы новорождённый младенец, но восемь гинекологов из десяти ответили ей:

– Мария Павловна, слава богу, что у вас с мужем ничего не получается. Велика вероятность, что... – и очень доходчиво объясняли ей, какому риску она может подвергнуть и плод, и себя.

Муж несколько раз предлагал Марии заняться бизнесом, хотел купить ей сеть парикмахерских или фитнес-центров. Она раздумывала и довольно быстро поняла, что такое занятие не поглотит её с головой, не принесёт желаемого результата, и в её понимании оно было не совсем благородным. «Даже при убедительном успехе, – думала она, – чем я буду гордиться? Стабильными выручками? Смех, и только». Потом муж предложил ей возглавить в их холдинге отдел логистики, который по большей части курировал сам, имея склонность к поиску оптимальных маршрутов, к решению головоломок, к развязыванию гордиевых узлов. Но Мария очень быстро его раскусила и не захотела лишать своего любимого хобби. Да он и сам бы не смог отказаться от него никогда и ей бы не дал полноценно работать самостоятельно.

Изо дня в день, из месяца в месяц Мария продолжала мириться с бессмысленностью, с вакуумом. Муж не был зависим от алкоголя, не изменял, не играл, зарабатывал очень много. Сын учился прекрасно, к четвёртому классу говорил с мамой по-испански и ничем никогда не болел. Их собака, которую они завели два года назад, на каждой выставке брала медаль за медалью. Всем было чем гордиться, и только она оставалась пустым местом. Божественно красивая, чувственная и в сорок, и много позже, с избытком внутренних сил, готовая войти в горящее бунгало или противостоять любому бандформированию. Но ничего не горит, и с террористами давно покончено, апартаменты на Лазурном берегу и недвижимость на Майорке. За что мне эта тишина? За что мне это наказание?

Однажды в кресле самолёта, возвращаясь с сыном из Доминиканы, где они всласть наговорились по-испански с туземцами, Мария вынуждена была услышать разговор двух соседок. Сначала они делились впечатлениями, потом обсуждали сувениры, потом сравнивали Доминикану с Египтом и уже в воздухе над океаном заговорили про свою общую знакомую. Как неожиданно и быстро после смерти мужа она скатилась с областного олимпа, поддавшись, видимо, заложенному в генах пристрастию к спиртным напиткам.

– Ведь кто бы мог подумать. Начальник департамента образования. Ну то, что она зашибает, мы слышали и раньше, но такого штопора никто не ожидал. За год всего обе квартиры, и дом в деревне, и машину, всё спустила. А дочь в Москве ни сном ни духом.

– Женский алкоголизм – коварная болезнь.

Потом они со знанием вопроса ехидно возмущались равнодушию своих земляков. Никто ведь руку не подал. «Наверное, было за что», – думала Мария. И одна из собеседниц ей вторила:

– А чего она ждала? Она из нашей сестры столько жил вытянула, столько крови выпила. Весь департамент бил в ладоши, когда ей контракт не продлили. Два человека только и смогли перешагнуть через себя, чтобы зайти к ней и попрощаться по-человечески. И всего через неделю после отказа нашего министра с ней встречаться, её первый раз увидели в магазине пьяную вдрызг.

Толстушки много о чём похихикали, беседуя о той несчастной. Много чего припомнили и пришли к выводу, что если бы не благотворительный фонд, своевременно оплативший ей операцию после несчастного случая на нерегулируемом перекрёстке, не встать бы ей

с больничной койки. Где была дочь, Мария так и не узнала. День перед отбытием домой был трудным, и теперь она сама не заметила, как задремала. Просыпаясь несколько раз той ночью, она чётко слышала в своих ушах два слова: «благотворительный фонд».

– Машенька, – заговорил её благоверный, разделавшись с ужином, – спасибо. Очень вкусно. Я две недели мечтал о твоих тефтелях.

По тому, как он растягивает слова, и по его улыбке Мария поняла, что сказать он хотел нечто другое, но уточнять не стала. Наблюдая за его мимикой, она пришла к выводу, что у него много мыслей о её проекте и он просто теряется, с какой начать.

– Просто вкус детства. Очень похожи на те тефтели, что я так любил в школе, – разливая по чашкам свежесваренный чай, продолжил муж. – Только держи меня, пожалуйста, в курсе. Не оступись в самом начале нового поприща.

Не оступилась. Получив на руки уставные документы фонда, зарегистрированные в налоговой инспекции, подписала протокол общего собрания учредителей и «Приказ N 1», в котором, опираясь на решение общего собрания учредителей, президентом некоммерческого благотворительного фонда «Кров» назначала себя. В уставе фонда было сказано, что он создан для оказания всесторонней помощи физическим лицам, независимо от их гражданства и/или лицам без гражданства, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

– То есть простор для деятельности не ограничен?

– В законе о благотворительности так и написано: «фонды могут осуществлять благотворительную деятельность, обозначенную в их уставах, и любую другую, не противоречащую законодательству РФ».

Тем же вечером Мария уселась за компьютерный стол мужа. Руки чесались создать сайт для своей организации. Потратив той ночью круглую сумму на интернет, а в нулевые годы, даже в конце, это было немудрено, она так ничего и не добилась. Сайт был готов спустя только две недели усилиями бригады компьютерщиков. Муж хохотал, оплачивая её счета, но денег не жал и даже не просил её быть поэкономней. Он понимал, что эти траты не самая большая цена её преобразования, её оживления.

Она много думала о выбранной стезе, подбирала обувь, в которой будет удобней идти, в уме пыталась рисовать план-схему своего движения. С первых же дней она поняла, что начинать придётся с себя, надо будет снизойти к этому миру из заоблачной тени, напомнить ему о своём существовании, очаровать, загипнотизировать. И хлынул поток семейных средств на её гардероб, на уроки актёрского мастерства, на психологов, визажистов, врачей. Всем привлечённым специалистам она сначала обещала трёхкратный гонорар, а потом, образно говоря, брала с них подписку о неразглашении. Она озвучивала им, какой хочет стать, и они отвечали: «Тогда держитесь, голубушка, за ваши деньги любой каприз». И гоняли её палками по интеллектуальным стадионам. Правили осанку, учили смотреть в глаза, выговаривать сложные словечки, контролировать мимические мышцы. Ваяли из неё обречённую на вечное совершенство Афины Палладу, отдохнуть которой будет удаваться только в примерочных торговых центров, где она пару раз заснёт в ожидании платья на размер большего или меньшего.

Муж Марии через пару месяцев на одном из кабельных каналов не узнал её в торжественно скромном президенте нового благотворительного фонда, который делился со зрителями своим пониманием проблем современного города. «Значит, деньги потрачены не зря», – подумал он

по окончании интервью. А сколько новых слов в её речи: со-безнача-лие, со-безучастие, со-равнодушие. А какая убедительная решимость в глазах.

Ещё через месяц на всю страну в утренней информационной программе 1-го ТВ-канала было рассказано об уникальной операции по разделению полугодовалых сиамских близнецов, брошенных матерью ещё в роддоме. По словам телеведущего, прогноз успешного завершения операции не делал никто. Время было упущено. Сросшиеся лбами младенцы мяли друг друга в кровати одной из подмосковных районных больниц, с каждым днём приближаясь к точке невозврата, после которой попытка разъединить их будет обречена. Марию Валадову ужаснули слова главврача той больницы: «Скорее всего, им суждено стать достопримечательностью какого-нибудь дома инвалидов». В утренней программе эти слова, конечно же, не прозвучали, но именно они подтолкнули Марию открыть свой личный кошелёк, не дожидаясь пожертвований. Отчаянно смелые специалисты, не боявшиеся неудач, и то не решались браться за этих пациентов, пока одному из нейрохирургов Мария не поклялась памятью отца (а его фамилию москвичи помнили и вздрагивали при ней), что огласка будет только при благополучном исходе.

– Можете в этом не сомневаться, – подтвердил её слова тому нейрохирургу отвечавший за связи МВД с прессой генерал-лейтенант.

Скоро этот генерал, бывший когда-то первым замом отца Марии, вошёл в число почётных соучредителей НБФ «Кров», и дела фонда пошли в гору. Каждая готовящаяся акция получала своевременную информационную поддержку, а дивиденды от каждой завершённой пресса охотно преувеличивала. Но назвать это очковитательством было бы несправедливо. Подыгрывая тщеславию Марии, пресса работала на будущее, возможным жертводателям внушала уверенность, что их деньги не осядут в карманах соседей по Куршавелю, а возможным получателям помощи внушала надежду на то, что она возможна. Много лет спустя при награждении её орденом «За заслуги перед Отечеством», один кремлёвский функционер так и скажет: «Своей деятельностью фонды Марии Павловны всегда способствовали снижению градуса социального напряжения».

Хотя один резонансный эпизод из истории фонда мог повлечь за собой волну негодования и рябь протестов не только в Москве. К тому времени «Кров» помогал уже соотечественникам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства по всей стране. В разных городах РФ было открыто восемь филиалов. Фонд стал межрегиональным. На открытии девятого, в Саратове, Мария Павловна, уже вернувшая себе статус светской львицы, налаживала контакты с поволжской элитой. Это на том фуршете от её взгляда смертельно побледнел помощник губернатора, видимо, узнавший в ней Машу из московского ночного клуба «Метла валькирии» начала девяностых. Мария Павловна как ни старалась, вспомнить его не смогла.

По окончании фуршета у Марии Павловны была незапланированная встреча с двумя достаточно молодыми врачами, искавшими юридическую поддержку своему проекту. Проект был злободневным и, как показало Марию Павловне, легко осуществимым.

– У меня через час начало приёма, и первым будет вот такой пациент. Вчера он четвёртый раз должен был проходить комиссию МСЭК, и что-то мне подсказывает, что ему опять откажут в инвалидности, – сказал, прощаясь, один из молодых врачей.

То, что это был бизнес-проект, Мария заподозрила почти сразу, но осуждать молодых людей в их желании погреть руки не спешила. У первопроходцев всегда мёрзнут руки.

У одного из молодых эскулапов мама работала в МСЭК, у другого – супруга. Оба были наслышаны о стиле работы этого учреждения, о гласных и негласных разнарядках, спускаемых из регионального министерства здравоохранения, какое количество инвалидов не испортит областную статистику и не будет обременительным для областного бюджета. Невооружённым глазом было видно, что у трети пенсионеров по инвалидности группы занижены, что с первой попытки стать инвалидом удаётся только обездвиженным или ослепшим.

Второй эскулап разговаривал с Марией Павловной ещё около часа.

– Как сказал наш министр руководителю бюро медико-социальной экспертизы в разговоре с глазу на глаз: «Нас устроит, если количество инвалидов, получивших группу в этом году, будет хотя бы на пять человек меньше, чем инвалидов, умерших в этом году».

Может, он и выдумал эту цитату, но её цинизм и образность положили конец колебаниям Марии Павловны. На следующий день она сообщила молодым врачам, что межрегиональный некоммерческий благотворительный фонд «Кров» готов взяться за их проект. Однако, поскольку в его названии и в уставе чётко прописано, что он некоммерческий, ни о какой плате за юридическое сопровождение не может быть и речи. Молодые люди несколько расстроились, но оценив предложенные условия сотрудничества, согласились работать за зарплату.

Достаточно быстро привлечённый с кафедры юриспруденции Саратовского университета специалист разобрался в хитросплетениях федеральных законов, и местных подзаконных актов, и сопутствующей нормативной чепухи и пришёл к выводу, что при объективных медицинских показаниях затягивание положительного решения о назначении пенсии преступно. Штатные юристы фонда разработали рекомендации для граждан, обращающихся в МСЭК и уже в текущем году решили свою методику обкатать. В конце осени в прокуратуру города поступило заявление от гражданки Замочкиной о неправомерном решении саратовской медико-социальной экспертной комиссии по её обращению. Фонд не мог проиграть первое же дело, и понятно, что оно было подготовлено с учётом всех возможных нюансов. МСЭК к такой наглости готов не был, так что к Новому году гражданка Замочкина после четырёх лет мытарств по кабинетам стала обладателем справки об инвалидности третьей группы.

В следующем году, ещё в первом квартале, саратовский филиал фонда выиграл у МСЭК ещё два процесса. И к концу года инвалидов в городе прибавилось на сто пятьдесят человек. Ответственные за принятие решений сотрудники поняли, что дело пахнет жареным, а на помощь к ним никто не приходит, и стали раздавать справки направо и налево. Если бы ушедший ещё в марте в отставку руководитель комиссии в своё время тянул с обратившихся за справкой деньги, он бы, конечно, сел (такой был шум) но нет, он объяснил свои действия идейными соображениями.

Где тише, где громче, но эхо этих событий прокатилось по всей стране, таким образом, всероссийская слава к Марии Павловне пришла в Саратове, и неудивительно, что через три года по одному из одномандатных округов этого региона депутатом Госдумы станет именно она.

Думаю, нет смысла описывать её дальнейшую карьеру во властных структурах. Достижения были настолько блестящими, что даже после

левого поворота никто не ставил ей в вину сотрудничество с бывшей партией власти. Попробовали бы они заниматься благотворительностью, не заручившись её поддержкой. Фонд так же продуктивно функционирует до сегодняшнего дня.

Муж Марии Павловны строил новые города в Сибири и на Дальнем Востоке. Об их разводе общественности стало известно только через три года после того, как это случилось, и большого интереса ни у кого не вызвало. Сын долго занимался наукой в области коммуникационных технологий и стал выдающимся изобретателем и техническим руководителем ФАПСИ. Подруга Света была замужем за тремя олигархами. Другая подруга за премьер-министром Италии. Тот космонавт, который чуть не погиб при облёте Марса, был сыном третьей подруги. Мария Павловна наслаждалась своей жизнью. Вклиниться в неё воспоминаниям, за редким исключением, было некуда.

Света давно уже отдышалась, но разговор между старыми товарками как-то не возобновлялся. Мария Павловна боялась за Свету. Её пальцы слишком дрожали и плохо справлялись с пультами управления её инвалидного кресла. А Света между тем, видя, что подруга боится чем-нибудь ещё её насмешить и поэтому молчит, вздохнула и бесшумно поехала к стеклянной стене, за которой на Москву сыпал редкий снег. Давно Мария Павловна ничему так не удивлялась, как этой бесшумности. Света скоро вернулась от стены обратно и, прочитав удивление в глазах Маши, сказала:

– Тесла! Что ж ты хочешь? Давно бы закупила для своих домов призрания.

– Наши скоро ещё лучше наделают.

– Поживём – увидим.

– Младший сын подарил? – спросила Мария Павловна, проведя рукой по коже сидения.

– У американцев на Нижегородской ярмарке выпросил. Если помнишь, мой последний первым после войны стал с американцами работать, с Илоном Маском. Вот они из доброй памяти и подарили. Еле разобралась.

– Я в Нижнем последний раз шесть лет назад была. Павлик возил на невесту посмотреть.

– Сын?

– Да, зачесалось ему на старости лет второй раз жениться. Ни в Москве, ни в Питере ни на кого не запал, а нашёл себе по интернету в Нижнем какую-то старую деву.

– И что? – Света осклабилась.

Мария Павловна насторожилась.

– Да ничего. Провинциальная интеллигентка. Директор какого-то музея в их кремле. Пятьдесят лет. Выглядит хорошо. Не сильно измята. Её папа и мама так рады нам были, так плясали вокруг нас. Но дочурку к Павлику в гостиницу ночевать не отпустили. Так что, может, и правда дева.

Света прыснула, но смолчала.

– Они нам весь город показали и все окрестности, невестин папа экскурсоводом был. Взахлёб провинциалы любят свои малые родины. Не знаю, как ещё сказать.

– В Саров возили?

– Нет. Возили в другой монастырь. В Сарове, говорят, туристов много, аура испорчена, а за какими-то там озёрами благодать ещё осталась.

Света иронично улыбалась.

— А я склонна в такие вещи верить. И поехала с удовольствием. Тронулись мы ещё ночью, дорога была дальнею. Павлик за рулём был, вёз нас аккуратно и медленно, так что к началу службы, как ни хотелось бы, не успели. В маленький храм полунедореставрированный вошли, когда уже «Отче наш» братия с мирянами пели. Мне показалось, так искренне и так строго пели, так доходчиво, что я впервые за последние лет двадцать-тридцать прониклась. Ты бы видела, с каким благоговением потом принимали Святые Дары и братия, и паломники, мне плакать хотелось от зависти.

— Ой, ничего я не понимаю в этом удовольствии.

— Потом проповедь была о том, что «кто любит отца своего больше, чем Меня, не может быть Моим учеником». Мирские священники никогда на этой цитате проповедей не строят. И в самом конце уже обычно выходит батюшка, тот же, что давал Дары, но теперь не с чашей, а с распятием в руках, и те, кто не смог причаститься, прикладываются к распятию.

— Целуют?

— И получают благословение. Только у них вышел не тот же священник, а в инвалидном кресле выкатили из царских врат старого-старого схимника. И народ, его завидя, стих на секунду, наверное, глазам своим не верил, а потом все так и хлынули к амвону. Монахи только и успевали, падающих на колени поднимать. Говорили, нельзя сегодня, праздник. «Как нам повезло! — сказал мне отец невесты, а потом повернулся к благообразной старушке из местных и спросил у неё: — Неужели отец Савватий?» — «Он, сердешный. Три уж года не вставал, а сегодня ещё затемно велел себя собрать и докатить до храма. Сказал, что ждёт кого-то». Мой потенциальный сват смотрел на ту старушку с недоверием. «Здесь такие новости быстро разлетаются, — ответила она его взгляду, — вы думали, почему столько народу?»

Света только начала что-то подозревать, как Мария Павловна опередила её умозаключения.

— Одним словом, подхожу я одной из последних к святому старцу крест поцеловать и в его голосе «Благословение Господне на рабе Марии» слышу голос Олега.

— Того самого?!

Мария Павловна утвердительно кивала головой. Света опять по привычке хотела ощериться, но не посмела.

— Верь не верь, а по словам тамошних богомольцев отец Савватий к тому дню уже пять лет был абсолютно слеп.

Ультратонко звенела тишина пентхауса.

«Красиво сочиняет», — переворачиваясь на другой бок, подумала маленькая холонокровная рептилия на самом дне грудной клетки младшей Pantera Leo и, потянувшись, зевнула...

Эвелина АЗАЕВА

Родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак Казахского госуниверситета. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири.

С 1998 года жила в Канаде. 14 лет издавала газету «Комсомольская правда в Канаде». В 2018–2020 годы издавала в Торонто газету на английском языке. Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде. В 2024 году в Петербурге вышел третий сборник «Перелетные люди».

Печаталась в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Нева», «Дружба народов», в газете «День литературы», «Завтра», на сайтах «Православие.ру», «Русская народная линия» и других. Дипломант литконкурса «Мгинские мосты» (Петербург, 2021, 2022), спецприз издательства «Вольный странник» (Москва, 2022).

Живет в Санкт-Петербурге.

НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ

На выборы ехали как на праздник. День солнечный, на душе птицы поют. Март. «Мы давно отдали ему свое сердце, а сейчас – всего лишь голос надо отдать!» – улыбаясь, говорила Марина тем, кто спрашивал, поедет ли она в центр Торонто, в российское консульство, на выборы президента. У нее даже вопроса такого не стояло. Как и у всех местных «ватников». Конечно, поедут! Они были яростно преданы Путину. И неизвестно, имела ли у него такая полная, такая железобетонная поддержка в России, какой она была среди русских в Канаде в 2018 году.

Большое действительно видится на расстоянии. Когда живешь в стране постоянно, изменения не так бросаются в глаза, поскольку все происходит медленно, понемногу. Да плюс личные неурядицы портят картину. Их же привыкли списывать на плохую работу власти. Люди, переживая неудачи или терпя, например, нехватку денег, не берут во внимание ни то, в каком виде страна досталась этой самой власти, ни свои черты характера. Если кто-то беден, значит, стопроцентно власть виновата. Недодала. А сам человек не видит, что он ленив, или неуживчив и оттого ни на какой работе не задерживается, или безынициативен, равнодушен к общему делу, потому не продвигается по карьерной лестнице.

В общем, эмигрантам перемены к лучшему в России виделись более отчетливо. Они уезжали в 90-е из разгромленной державы, а теперь ездят в страну крепкую, сильную, с восстановленной экономикой и возвращенным Крымом. А до этого еще Олимпиада окрылила. Восхитила, приподняла, заставила парить. Приезжали-то в Канаду из поверженной державы и про эту поверженность всегда помнили. А тут вдруг включаешь телевизор, а там – Россия нарядная, богатая,

талантливая! На мировых экранах! Каждый день! Страна – мощная, президент – уверенный в себе, ходит и со спортсменами обнимается. И все это видят! Твои коллеги по работе, соседи и просто незнакомые прохожие канадцы на улицах.

Умирали от счастья у экранов. Народ-то – имперский, трудно в при-маках жить, неестественно – осознавать себя не хозяином, «под», а не «над». Гордостью засветились русские глаза, ликование плескалось в сердце. За одну только Олимпиаду в Сочи голосовали бы за Путина. А уж Крымом он всех «добил»: тут уже наступили «и жизнь, и слезы, и любовь».

Любви к президенту прибавляло, разумеется, и то, что видели, как его ненавидят в стране проживания. Власть и СМИ. Газеты было больно читать. Эмигранты понимали: это не Путин не нравится, а Россия и ее восстановление. Он вызывает ненависть именно как спаситель.

Наряду с англоязычной прессой, находящейся в руках самых богатых мировых кланов, охаивали президента русскоязычные газетенки. Может быть, даже активнее. Выпускала их преимущественно старая волна – приехавшие в 70–80-е «диссиденты». Антисоветчики, борцы за выезд в Израиль, которые, наконец туда вырвавшись, потом тихонько переехали в США и Канаду и любили Страну обетованную с безопасного расстояния, спрятав детей от армейской повинности и палестинских булыжников. Газеты их представляли из себя сборник рекламы, перемежающейся с ворованными из российской прессы (оппозиционной, разумеется) помойными статьями. Покинув СССР навсегда физически, духовно эта волна эмиграции с ним не расставалась ни на минуту. Перемышанию того, как ужасен «совок», Сталин, Путин и Патриарх посвятили жизнь. Мыли «бывшей родине» кости в своих газетах и на званых обедах. А как стали развиваться соцсети – и там. Того, кто воз-ражал, обвиняли, что он агент КГБ, лузер и антисемит.

Русские читали охаивающие их Родину статьи и в первые почти два десятилетия эмиграции молчали – замучены были тяжелой работой, долгами и «проблемами адаптации». К тому же, законов не знали, всего боялись. Некоторые долго не имели вида на жительство, или члены семьи были в подвешенном состоянии. А после 2014 года, когда вспенилось русское море, когда построились русские канадцы в полки и пошли митинговать за Донбасс, когда начали проводить парады Бессмертного полка, тогда в русофобских газетах уже начали раздаваться звонки с ругательствами и даже угрозами сжечь их офисы.

Русофобы-редакторы вызывали полицию, пытались вычислить, кто звонит, и наказать. Но русское море продолжало клекотать. Путина любили фанатично, на хаящих его нападали в интернете и рвали в клочья. Русские ощутили снова свою силу. Не физическую или в отношениях с законом (тут ничего не изменилось), а духовную. В Монреале, когда одна из вражьих газетенок опубликовала о президенте РФ статью с оскорбительным заголовком, митингом в тысячу человек пришли к российскому консульству и требовали, чтобы Россия заявила ноту протеста. В митинге участвовали не только русские, но и украинцы, белорусы, казахи, евреи – полный СССР. Тираж газеты украли из всех магазинов. «Неизвестные русские патриоты», как, улыбаясь, пояснял предводитель митинговавших.

...Приняв душ и подкрасившись, взяв с собой российский флаг, с которым ходила на демонстрации и пикеты, Марина отправилась в центр города – в российское консульство. Настроение было – как на Первое

мая. Когда советские люди с улыбками и под песни советских композиторов, держа в руках прутики с яркими бумажными цветами, шли славить мир, труд, май.

* * *

– Украинцы идут! Провокаторы! – заволновалась русская толпа у консульства. Вереница людей тянулась далеко, огибая здание. Канадские власти распорядились, что пропускать в здание на выборы можно только по двое, поэтому и образовалась очередь. Зачем так сделали – неизвестно. Может, чтобы снизить явку. Но русские, увидев огромную очередь, не пугались и не уезжали, а становились в ее хвост.

– Где? Где?!

Марина увидела их – к русской толпе приближались люди с желто-голубыми флагами, в распахнутых куртках, под которые были надеты вышиванки. Двое мужчин, три женщины. В руках держали плакаты на английском, что Путин-де фашист и Россия, мол, агрессор.

Русские во все глаза смотрели на незваных гостей. Напряглись. Но один паренек, лет восемнадцати, стоявший с мамой в начале очереди, у дверей консульства, оттолкнул украинца, когда тот, подойдя слишком близко к его матери, стал кричать: «Шо вы тут робите? Вы прийшли поддержать таку погану людину? Та вы сами усе фашисты!» «Москали прокляти!» – пискляво вторили ему спутницы.

Паренек со словами «здесь не можно кричать!» (вырос в Канаде, русский язык несовершенен) оттолкнул хохла от матери, тот в ответ хрюкнул ему по уху, и завязалась драка. Украинцы тут же вызвали полицейских, которые, в общем-то, и не дремали, а сидели в машинах за углом, пили кофе и наблюдали за русской вереницей. В Канаде за сборищем людей всегда наблюдают – для безопасности.

Будучи молодыми парнями, стражи порядка до прихода хохлов пересмеивались: «Русская мафия!» Пялились на русских девушек – те очень отличались от канадских. В ярких курточках в талию, с меховыми воротниками и капюшонами, на каблуках, они знали, что выглядят экзотично и прекрасно. Канадские женщины одеваются проще. Это потому, что в стране никогда не было нехватки мужчин. Войны не косили. Вот канадки и расслабились – не ходят в булочную с макияжем, не мучают себя шпильками. Требуют с мужчин много. Преимущественно – денег. Но и внимания, и помощи в уходе за детьми. Марина, когда приехала в Канаду, поразилась, как много канадских отцов гуляет с детьми на детских площадках.

Русские девушки в очереди на выборы делали вид, что не видят молодых и стройных силовиков, но становились в модельные позы, грациозно откидывали волосы. Муж-полицейский – неплохой вариант. Стабильная зарплата, куча льгот.

...Полисмены скрутили украинца и русского и повели к своей машине, засунули туда. Потом вернулись, расспросили. Русские признали, что их парень толкнул первым (камеры наблюдения все равно показали бы), но просили не наказывать его, говорили, что его спровоцировали оскорбления.

Полицейские не выглядели враждебно настроенными, и, когда они уехали, толпа, пошумев, успокоилась. Вспомнили, что когда ходили демонстрациями за Донбасс, полицейские, сопровождавшие колонну, исподтишка показывали им большой палец и улыбались. В другой раз,

когда русские пришли митинговать к зданию парламента в Оттаве – во время приезда Порошенко*, и туда же явилась толпа украинцев, и эти два потока людей чуть не подрались, полицейские тоже тихо оттеснили их друг от друга и никак не показали русским, что предпочитают хохлов, хотя страна, власть ее – предпочитала.

– Дай бог, все будет хорошо! Помолимся за отрока! – провозгласил отец Викентий, уважаемый в русской среде человек, который собирал гуманитарку на Донбасс.

Прочитал молитву, все перекрестились.

Священник не мог голосовать за Путина, ибо не гражданин России, но пришел поддержать паству морально. Большой пожилой, седобородый мужчина с добрыми васильковыми глазами и легко краснеющими при смехе или огорчении щеками, он был похож на Деда Мороза. И действительно, как и сказочный волшебник, он многим людям помог в самых тяжелых ситуациях. Писал за них письма в госучреждения, свидетельствовал, принимал на работу в огромную приходскую школу, которой руководил. Но при всей его внешней мягкости, при детской наивности взора (и это в его-то лета!), это был твердый и смелый человек. Отправив в 2014-м в детдома и больницы Донбасса памперсы, инсулин, растительное масло в бутылках, консервы, лекарства и прочее, отец Викентий решил еще и собрать деньгами. Набралось двадцать пять тысяч долларов, передал их в детдома, но в храм его ходили и русофобы – из украинцев, выкрестов и прочих нерусских, и на него донесли. В итоге налоговая велела ему выплатить штраф в сорок тысяч долларов – «за нецелевое использование пожертвований».

Денежные потери не изменили его воззрений.

Были в толпе и другие люди без российского гражданства, которые страстно хотели бы проголосовать за Путина, но не имели права. Они выезжали из республик после развала Союза. Каждый год ждали, что Россия даст им гражданство. Но она не давала. В интернете время от времени появлялась новость, что решили дать, потом это оказывалась ложью. Эмигранты не понимали, в чем дело. Вот и сейчас зашел об этом разговор.

– Теперь есть понятие «Русский мир», нас заметили, – доказывала еврейка, театровед Ида. – Так что, думаю, Владимир Владимирович скоро даст нам гражданство. Вот увидите!

Ида была уважаема за то, что писала острые, яркие пророссийские статьи. И драконила российских режиссеров-русофобов и артистов-русофобов. Ее статьи печатали в московских газетах.

– И это не случайность! Жириновский сказал, что есть либеральное лобби в Госдуме, они знают, что русские за границей – запутинцы, и потому не хотят пускать, – сказала Марина. – Опять же, наши люди в Канаде специалисты же, с опытом работы, энергичные, деловые, со знанием языков. Не хочет вражья сила такими русскими укреплять Россию.

– Да, – вздохнула Татьяна, эмигрировавшая в Канаду в 90-е из Николаева. – Скорее бы нас приняли, а то я, русская, езжу в Москву с визой! В очереди за ней стою, волнуясь: дадут, не дадут?

Татьяна недавно возила в Москву семнадцатилетнего внука, родившегося и выросшего в Канаде. Русский язык паренек знал, но не очень хорошо, ленился учить. Бабушка потом рассказывала, как ей билет

* Внесен в список террористов и экстремистов.

в музей дали по сниженной цене, так как не сомневались, что она россиянка, а внуку продали по повышенной как иностранцу.

– А я ему сказала: «Так тебе и надо!» – смеялась. – Нечего с акцентом разговаривать!

– Все там будем! – провозгласил молдаванин Иван Руссу, подразумевая, что в России. У Ивана русская жена. Она тоже без российского гражданства, но он надеялся, что ей дадут, а потом и ему как мужу. – Не может быть, чтобы Россия своих не приняла! Вот сейчас Владимир Владимирович увидит, как русские в дальнем зарубежье все за него, и что-то сделает, чтобы мы могли приехать домой насовсем!

Иван считал себя русским. Русским молдованином.

И пошел частый разговор о том, как будут переезжать, поедут ли дети и внуки, в какой город поехать. Раздавалось: «А они мне говорят: “Мы тебя депортируем!”», а я отвечаю: “А может, я хочу – простудиться и умереть!”. Подумаешь, напугали они меня тем, что домой отправят!»

Эмигранты мечтали. В грезах о возвращении побеждали Москва, Петербург и Краснодар. Некоторые уже ездили, приглядывали себе будущее место жительства, некоторые даже купили квартиры. Хотелось и в Крым. Но Канада запретила не только покупать там недвижимость, но даже и просто посещать. Никто не знал: а что за это будет-то? Поерничали: «Сиропу нам кленового в кофе не нальют за это».

Марина вдруг обратила внимание на молодую пару, которая мрачно молчала. Все улыбались, переговаривались, шутили, обнимались, никто не скрывал, что пришел голосовать за Путина, а эти – молчали. И лица – траурные. Поняла, что они пришли голосовать против. Либерда проклятая.

– А я купила квартиру в Сим... – начала было Алена, еще одна «ватница», но Марина так выразительно на нее глянула, что та закончила:

– В Семипалатинске, – и посмотрела туда, куда Марина показала глазами. На парочку либералов.

Татьяна на всякий случай подыграла:

– Я понимаю, что ты из Казахстана, на родину потянуло, но лучше бы ты в России купила.

Боялись стука. Он в свободном мире очень развит. На нем держится порядок.

Противная парочка не выдержала. Девушка в круглых очочках, в детской шапке с длинными ушами (и почему они всегда так придурковато выглядят?), громко спросила:

– Вот за что вы ненавидите Канаду? Она вас приняла, неблагодарные! Собчак ругаете, а сами разве – не пятая колонна?

Все замолкли. Переглядывались: с какой стати они вдруг ненавидят Канаду?

Марина думала, что девушка не угадала. Плоско мыслит. По ее, Маринино, наблюдениям, русские иммигранты не относились к Канаде плохо. Даже несмотря на то, что она противостояла сейчас России. Отделяли власть от народа. Ибо застали другую Канаду. Приехали же в правление Жана Кретьена. Тогда, в девяностые, страна была добродушной, расслабленной, счастливой. Не агрессивной ни чуточки. Кретьен старался наладить связи с Россией, даже возил в Москву делегацию из трехсот человек – политиков, депутатов, бизнесменов, спортсменов. Рядовые канадцы на русских косяка не давили и не давят даже сейчас, когда идет война на Донбассе. Они и сами нынешнее свое

правительство критикуют. И сами не понимают, на что им сдалась какая-то Украина.

Потом к власти пришел Стивен Йозеф Харпер – яркий заукраинец, который перемежает обещания о помощи Украине клятвами в любви к Израилю. И понеслось... Агрессивная русофобия в газетах, мусульман местных запугал вусмерть (подловато вообще-то – сначала пригласить их в страну, отобрать самых образованных, перспективных, дать гражданство, а потом драконить в каждой статье, сообщать, что они террористы). Такого премьера испугались даже сами канадцы. Вышли как-то в 56 городах и поселках страны на демонстрации против инициированного правительством «антитеррористического закона», по которому можно хватать любого. «Мы боимся Харпера больше, чем террористов», – писали на плакатах.

В общем, русские иммигранты были слишком умны, чтобы ненавидеть целую большую, похожую природой на Россию страну за действия каких-то политиков, которые, подобно Горбачеву или Ельцину, сделают свое черное дело и уйдут. А Канада – останется. Со своим трудолюбивым, отзывчивым народом (если заглохла машина, непременно будут останавливаться и предлагать помощь). Необычайно вежливым и с тонким чувством юмора. Демонстрации против закона, отбирающего права, и против сексуальных извращений, тоже сблизили русских иммигрантов с канадцами. Трудно ненавидеть людей, которые с тобой плечом к плечу, разделяют традиционные ценности и так же не хотят спонсирования войны на Украине из своих налогов.

– Мы не ненавидим Канаду! – ответил Иван. – Мы вообще-то работаем, делаем вклад в экономику.

– Нет, вы ненавидите! Она вас приняла, а вы – предатели! – ярилась девушка. – Вас надо депортировать!

Все примолкли, переваривая. Потом стали смеяться. Смех нарастал, и девица выглядела все более растеряннo и сконфуженно.

Марина вспомнила как одна ее единомышленница, которая в 2014-м на большом сроке беременности ездила по домам, собирала гуманитарку на Донбасс, таскала ящики с одеждой и консервами, тоже как-то грустно заметила: «Слушай, а мы получаемся как либерда в России – пятая колонна». Не хотелось быть похожими на Быкова* и прочих акуниных**-лазаревых**.

И Марина ей тогда объяснила, что пятая колонна вредит стране проживания.

– А мы разве вредим? Нет, мы все специалисты, нас за это сюда и приняли. Мы работаем, платим налоги, законопослушны. Стрижем лужайки, сортируем мусор. В России либералы ездят в храмы на катафалках, власть в интервью иносми охаивают, левиафаны и матильды поганые снимают, а мы разве в Канаде такое делаем? Мы с риском для своего благополучия вместе с канадцами ходим на демонстрации против сексуального образования – заботимся о будущем канадских детей! Мы вместе с коренными выступали против закона, который позволяет скрутить в бараний рог любого канадца. Так что мы очень полезные граждане. Честные, активные.

– Ну, значит, Россия потеряла в нашем лице, – подумав, сказала та.

– Это да...

* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом..

** Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.

Марина и сама об этом не раз думала. Тогда, в 96-м, уезжая из России, она не понимала, что страна в ее лице что-то теряет. Не была о себе высокого мнения. А потом, уже после 2014-го, вдруг осознала, что нет, обездолили они все Родину, уехав. Не по злему умыслу обездолили. Цены себе не знали.

Но если говорить о главной причине, почему русские не испытывали ненависти к Канаде при всей ее заукраинскости, то это потому, что нормальные, психически здоровые люди не могут ненавидеть целые страны. Ругать их на чем свет стоит и временами испытывать сильнейшее возмущение – это одно. Но вот прямо постоянно, ежедневно ненавидеть и, находясь там в качестве не шпиона, а жителя, умышленно вредить – совсем другое. Не в природе человека гадить там, где живешь. Народу, который позволил поселиться рядом, доверился. Привыкая, любой ментально здоровый человек начинает испытывать добрые чувства к месту, где расположился, к соседям, к сослуживцам, к незнакомым прохожим. И русские были именно такими. Незлобивыми, не подлецами, честными людьми, которые выполняли обязательства, принятые при получении въезда на жительство. Собственно, и в республиках бывшего СССР русские не занимались вредительством, а напротив, старались всеми силами подсобить...

По наблюдениям Марины, одна лишь либеральная общественность, обличенная еще Достоевским, отличались ненавистью к любому месту, куда ни посели ее. Гадили, высмеивали, предавали, радовались неудачам. И то ли дело в генетическом сбое, то ли в безбожии, коим отличались «свободолюбцы», а то ли надо верить конспирологам, которые считают, что есть люди, произошедшие от сатаны, рептилоиды. \

* * *

– А-а-а! – вдруг радостно взревела толпа, и Марина увидела, что к дверям консульства бежит тот самый парнишка, что подрался утром с украинцем. Его отпустили!

Он подбежал и рассказал, что все хорошо, ему ничего не будет, украинцу тоже. Их пожурили, но дело не завели.

– А знаете, как того хохла зовут? – рассмеялся. – Скотт Поганий! Третье поколение канадских украинцев.

Все хохотали. Настроение сильно улучшилось. Переживали за мальчика...

Из консулата выходили проголосовавшие. Довольные, важные, с чувством, что сделали что-то очень правильное. «Путин – царь!» – крикнул толпе риелтор Идлен Сидорофф, потрясая кулаками над головой. (Идлен – от «идеи Ленина», мама в прошлом – преподаватель марксизма.)

И в этом выкрике была личная смелость. Потому что такие вещи сразу же расходятся по общине, и от риелтора могут уйти старые клиенты, если им Путин не царь. То есть за слова Сидорофф может потерять десятки тысяч долларов. Но он шел ва-банк. Окрасил свою рекламу в газетах в сине-красно-белые тона и ходил на все «ватные» мероприятия.

Странно, что Марина стояла на каблуках, уже долго, но ноги не устали. Вот что значит приподнятое настроение. Адреналин или что там... Кто-то запел «Катюшу», другие подхватили. Марина взглянула в сторону противной пары, и увидела, что их нет. Оглянулась – они быстрым шагом уходили. Нервы не выдержали. Ну и, видать, поняли, что их два голоса не свергнут «тирана».

* * *

Вдоль очереди в консульство шли две женщины. Одна, пожилая, худая, с вредным лицом, – впереди, вторая, помоложе, с лицом огорченным, – позади. Пожилая взглядывалась в лица, искала кого-то.

Немолодой мужчина в бежевом плаще отвернулся к стене, попытался спрятаться за чужую спину.

– А ну выходи! – истерично взывала пожилая, быстро сунула руку в гущу очереди и вытащила худыми цепкими пальцами прятавшегося. Высокий, статный, но совершенно напуганный, он бормотал:

– Оля, ну что ты? Ну что ты?.. Иди домой...

– Я тебе сейчас пойду! Ах ты, старый пень! Думал, не догадаюсь?! Ты о внучке подумал? О нас подумал?!

Женщина, несмотря на то что была намного ниже мужа, легко схватила его за шею и потащила за собой.

– За Путина он голосовать будет, сволота! А як же ж без нього!

– Оля, прекрати! – взывал, остановившись, мужчина, но жена волокла его дальше, подгоняя пинками. – Олеся, доча, скажи ей!

Все в изумлении наблюдали. Молодая женщина, Олеся, подняла меховой воротник кожаного пальто до глаз и быстро уходила, как будто она не с родителями.

Все поняли, что русский отец семейства, обладатель российского паспорта, тайком от семьи приехал голосовать, но украинская семья его нашла и утащила. Мужчине скорбно смотрели вслед, жалели.

Таких русских и украинцев, у которых семья – бандерва, немало. В советское время женились, не разбираясь кто кацап, кто хохол, а тут вдруг внезапно обнажились краеугольные противоречия. Доходило до разводов, а где не доходило – там лились слезы. Здесь же, в толпе, стояла пожилая русская женщина Анна, которая вышла замуж за украинца из Канады и находилась в процессе получения вида на жительство. Так, через замужество, она хотела воссоединиться с взрослым сыном, у которого не хватало дохода чтобы показать его иммиграционному ведомству и официально стать спонсором эмиграции матери. За канадского украинца Остапа Анна выходила до знакового 2014 года, Остап выглядел солидным, приятным, ухаживал. Вдовец со взрослыми детьми и внуками-подростками смотрелся презентабельно, все вокруг советовали не кобениться, выходить замуж. (А куда там кобениться, когда сын живет в Канаде, у него трое детей и никаким другим путем воссоединиться с ним нельзя?) И действительно в первые годы Анне с Остапом жилось неплохо.

До донбасских событий.

– Потом он как с ума сошел, и его дети тоже, – рассказывала однажды женщина по телефону журналистке русской газеты. – Я плачу и плачу. Они тут собираются у нас – муж, его дети, их друзья – и такое несут про русских! Проклинают! Оказались самые настоящие бандеровцы, у мужа отец в СС состоял, я не знала. И показать нельзя свои

чувства – мне уже немного осталось до получения документов. Потом разведусь и ни ногой к ним.

– А почему вы шепотом говорите? – спросила журналистка.

– Да чтобы никто не услышал. Я в туалет ушла, но все равно... У меня уже силы кончаются это терпеть, потому вам звоню, хоть выговориться. Внуки мужа по лесам тут бегают, игра у них вроде нашей «Зарницы», только ловят они якобы кацапов и «убивают» их шариками с краской. То есть тут тренируют детей для войны с русскими! Мне ваша газета – как глоток воды. Я ее беру, в парке читаю, потом возвращаю в магазин – домой принести нельзя. Приходится им поддакивать, я живу как Штирлиц, чтобы ничем себя не выдать... Так тяжело!

– Почему вам так долго не дают документов? Сколько осталось ждать?

– Были проблемы – нам отказ приходил, потом адвоката наняли, он по новой процесс запустил. Думаю, в этом году дадут, вроде бы уже все хорошо. Но уходить от мужа сразу тоже нельзя, власти подумают, что брак фиктивный. За Остапом не заржавеет, отомстит. Так что придется еще потерпеть. Можно я вам буду звонить иногда?

– Не можно, а нужно, а то с ума сойдете.

* * *

Анатолий сидел в машине, на пассажирском месте, а жена, Ольга, которая утатила его из очереди в российское консульство, царапала ему лицо. Цепкими пальцами скребла его обвислые щеки и орала.

– Ты о внучке, сука, подумал?! Она на всю украинскую общину известная художница, ее картины по всему миру выставляют! А ты что сделал? А если тебя кто увидел, что с ней будет? Вся карьера навернется! Мы для этого столько денег вбухали в ее уроки? И как тебе, бисова харя, в голову пришло на выборы пойти?

Дочка с заднего сиденья пыталась заступиться за отца, но сама боялась матери, хоть и взрослая. Олеся только плакала и говорила: «Мама, не надо, мама...»

– А ты молчи! Такая же кацапка, как папаша! Можете оба валить в Рашку! Но Ганночку я вам не отдам! Все подтвердят, что она у меня больше живет, чем с родной мамой! Мне опеку отдадут!

– Это потому что ты сама художница и учишь ее, а не потому что я плохая мать, – провила Олеся. Она уже рыдала. Олеся жалела отца, боялась потерять дочь и давно уже устала от диктата матери. Но выхода не видела. Мать вносила заметный вклад в карьеру пятнадцатилетней Ганночки. Та, с пяти лет обучаемая бабушкой, а не только платными учителями со стороны, проникла со своими картинами в лучшие галереи США и Европы, считалась вундеркиндом.

Анатолий вырвался, резко открыл дверцу автомобиля и выскочил, побежал по растаявшей мартовской снежной жиже.

Тяжело дыша, Ольга завела машину и повела ее в направлении дома. Дочь в голос плакала, как маленькая девочка. Минут через десять матери это надоело, и она остановила машину на обочине, обежала ее, открыла дверцу и вытатила Олеся, толкнула ее в подтаявший сугроб. Потом села на водительское место, повернулась назад, взяла с заднего сиденья сумку дочери и выкинула в окно.

– Сами домой добирайтесь, кацапы! – крикнула.

* * *

Стояли в очереди на голосование четыре часа. Кто-то меньше, но самые последние вошли в здание консульства через четыре часа после прибытия. Многим так и не довелось проголосовать, ибо двери закрыли. Не потому, что так решили российские дипломаты, а снова дело в распоряжении канадских властей голосовать только до определенного времени.

Марине удалось отдать любимому президенту голос, после чего она отправилась в русский ресторан – отмечать. И обнаружила там и других из очереди. Значит, и остальные восприняли выборы как праздник. После ресторана заехала в русский магазин. Набрала продуктов в корзину, подошла к кассе. Там стоял хозяин, Марк, они знакомы. Пожилой еврей, усталый и печальный, спросил ее, чего она так светится. Хотел узнать – может, и ему есть чему порадоваться.

– На выборы ездила, за Путина голосовала, – не без гордости ответила женщина.

– А-а, – равнодушно откликнулся Марк. Он не увлекался политикой. У него три продуктовых магазина, и ему не до чужого бизнеса. Политику он считал бизнесом, на котором обогащаются или теряют. – А шо, так уж он вам нравится?

– Он спас нашу страну! Вы, поди, в восьмидесятые уехали и не видели, что случилось в девяностые. Если б не он... если б не он...

– И шо бы, если б не он? – уныло поинтересовался Марк.

Она подбирала слова.

– Страна погибла бы. Он такой... такой... что за него хочется отдать жизнь! – наконец, определилась.

Марк грустно на нее посмотрел. Помолчал и сказал:

– Надеюсь, вам не придется этого сделать.

Она взяла продукты и пошла к машине. Ехала и думала над его словами. Что смерть за убеждения ближе, чем кажется. Что по всему миру убивают несогласных, и «смерть за царя» возможна не только в Средневековье, но и в двадцать первом веке. Тем более когда живешь в стране, противостоящей этому самому царю. Вон один министр канадский говорил недавно в интервью, что хотят взяться за тех, кто «верен режиму чужой страны». Причем подвели его к этому русскоязычные иммигранты – те самые издатели русофобских газет, поклонники авторской песни и Шендеровича*. Записались на прием и изложили про «ватников». Годами охаивали в своих изданиях сталинскую атмосферу доносов, а сами пришли к министру, который говорит по-русски (работал дипломатом в России), и принесли ему капучино в стаканчике, вышиванку и сведения о местных запутинцах. Донесли. «Мы живем в свободной стране!» – повторяли они в своих газетах как мантру. Но при этом, в глубине души, видимо, не верили в западные свободы, если ждали для «ватников» наказания за взгляды.

«Виноградную косточку в землю зарюю», – любили они распевать на посиделках, мечтательно уводя глаза вверх и свято веря в свою интеллигентность и приверженность правам человека. А зарыть-то, как оказалось, хотели исключительно несогласных с либеральной повесткой соотечественников. Вот те и «солнышко лесное»...

* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом.

Министр пообещал им принять меры, но не успел – свалился с поста раньше, оскандалившись по финансовому вопросу.

Можно было бы, конечно, вернуться на Родину, но об этом Марина думала лишь гипотетически. После двадцати с лишним лет в Канаде возвращение не представлялось легким и разумным. Во-первых, раскрутила бизнес. Положены силы и годы, бросать, что ли? Теперь, когда бизнес едет сам по своим рельсам и дает хороший доход. Бросать, и что? Наниматься в России на работу? Говорят, там людей после срока неохотно берут, а открывать новое дело уже нет сил. Да и пенсия там не заработана.

Муж-итальянец к России хорошо относится (настроила), но не согласится ехать туда навсегда. Дети родились в Канаде и выросли, им переезд будет как эмиграция – потрясением. Им, конечно, понравится там, но в первые годы будет трудно – язык знают, но читать и писать на нем не могут, не было у нее времени обучить. В первый класс им, старшеклассникам канадским, идти, что ли? И мама-пенсионерка. Здесь у нее субсидированное, отдельное жилье, а там что, всем вместе жить? И муж чем будет заниматься?

Едут из страны, когда невыносимо жить. Нет дома, работы, а у нее все есть. Причем вначале долго было трудно, а сейчас как раз уже пожинает плоды, и ввергать себя в новые тяготы не хочется. Тем более что помогать Родине можно хоть откуда. Вон они тонну гуманитарки на Донбасс собрали. И продолжают посылать туда и посылать... Может быть, от них даже больше пользы, когда они за границей, кто знает?

Так успокаивала себя. Потом вспомнила слова Марка, и снова стало не по себе. Кто знает, как поступят местные украинолюбцы во власти с теми своими гражданами, которые за Путина?

Ладно, не надо дрейфить, успокоила себя. С нами случается вовсе не то, чего мы боимся. Случается то, о чем и не думали. Соломку не подстелить. Любить Россию всегда и везде было опасно, но куда деться? Не любить ее невозможно. Можно, конечно, помалкивать, но... Как-то это погано. «скоттопогано».

Вспомнила, что недавно смотрела по российскому телевидению передачу про мальчиков-курсантов какого-то военного училища. Суворовского или какого другого, не запомнила. И вот спросили отрока с белым, румяным лицом и большими серыми глазами, какая у него любимая фраза на латыни (в училище ее изучали), а он ответил:

– *Nihil timendum est.*

И перевел:

– Нечего бояться.

Анатолий САХОНЕНКО

Родился в 1975 году в Мурманске. Учился в торгово-экономическом техникуме. Работает в сфере торговой логистики. Публиковался в журналах «Уральский следопыт», «Смена», «Южная Звезда» и других.
Живет в Мурманске.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Утром, в те ранние часы, когда он просыпался первым, он всегда аккуратно, чтобы не спугнуть хрупкий предрассветный сон, наклонялся над её головой и тихонько целовал прямо в макушку. Но, несмотря на всю осторожность, чаще всего не нарушить сон не удавалось. Такая традиция сложилась за долгие годы их совместной жизни и очень ему нравилась, несмотря на возмущённое поскрипывание или ворчание спресонок. По поводу того, что ей ещё рано вставать или: «Что ты за эгоист такой, не даёшь мне никогда выспаться». Ему же, помимо того, что приятно было вдохнуть аромат любимых пушистых волос, забавна была её реакция на бесцеремонное вторжение в святая святых – в утренний сон. Реакция, колеблющаяся от резко негативной (когда запросто можно услышать про себя такие вещи, которые в себе и не подозреваешь) до относительно спокойной, ограничивающейся тем самым недружелюбным поскрипыванием на еле уловимом для слуха уровне. Перерывы в этом своеобразном развлечении случались, но нечасто – в те дни, когда они пребывали в ссоре и спали в разных комнатах. Но даже и тогда, при условии, что обида с её стороны не была «смертельной», он старался выполнить свой утренний ритуал. Если же такая ситуация повторялась несколько дней кряду, то иногда он слышал в свой адрес обещание:

– Завтра я специально встану раньше и разбужу тебя ни свет ни заря – хорошо тебе будет?

Он соглашался, но при этом добавлял:

– Только при условии: разбудить тем же способом, что и я тебя!

Но почему-то этого так ни разу и не дождался...

В то самое утро, когда он впервые почувствовал запах, всё должно было идти как всегда: никаких происшествий, ничего неожиданного, всё такое уютное и милое. По графику у неё стояла вторая смена на работе, поэтому он, проснувшись первым, машинально-привычным движением склонился над её головой. Но что-то странное, необычное отвлекло его внимание, не дав с ходу окунуться губами в пушистое море. Замерев на мгновение буквально в сантиметре от подушки, он почувствовал какой-то новый запах от её волос. Запах этот был абсолютно посторонним и примешивался к обычному, даже слегка его

перебивая. Он не был резким или неприятным, чуть-чуть горький, да. Но главное, он не был замечен никогда ранее. А сейчас вдруг появился, откуда ни возьмись. Что для его жены, которая пользовалась всегда одними и теми же проверенными средствами, было совсем несвойственно. Она не любила экспериментов, в том числе и в выборе шампуней. Однако времени на размышления в связи с этим не было – он быстро, едва прикоснувшись к волосам, «клянул» её в голову и, не дожидаясь ответной реакции, вышел из спальни.

Немного позже, за чашкой кофе, он вдруг опять отчётливо, но всего на мгновение почувствовал этот новый запах. Как-то неуловимо тот просочился сквозь кофейную преграду и так же таинственно исчез. Неуверенно, сам себе пожав плечами, словно стремясь стряхнуть это наваждение, он поспешил выйти из дому, досадуя, что забивает свою голову всякой ерундой. С другой стороны, такой незнакомый запах от такой знакомой жены может ведь значить и что-то более серьёзное, если на секунду дать волю своей фантазии и подозрительности. Но едва он вышел за порог, в парадную, все эти дурные мысли сразу улетучились – обычный ежедневный бег начался. Агнесса, воспитанная и жизнерадостная бульдожка с третьего этажа, всегда выходившая на прогулку в то время, когда он отправлялся на работу, каждый раз норовила познакомиться с ним всё ближе и ближе – как он ни прижимался к стене, как ни пытался проскочить мимо козликом, мокрые следы её восторга неизменно оставались у него на брюках. Или всё-таки дело в её хозяйке по имени Алевтина, симпатичной молодящейся шатенке? Ведь следуя здравому смыслу, собака же не сама выбирает время для прогулки! Никогда не допуская даже мысли о возможном, а точнее, о невозможном адюльтере, он гнал от себя саму тень соблазна – «а что, если вдруг...»

Рывок на остановку за вечно пытающимся сбежать автобусом, а затем очередной сумбурный день, наполненный звонками, разговорами, суетой и житейскими заботами, и вовсе стёрли из памяти утреннее недоразумение.

Каково же было его удивление, когда на следующее утро, проснувшись, он первым делом опять почувствовал тот же самый запах! Жена уже ушла на работу, но запах задержался на её подушке, будоража воображение и подпитывая страшные подозрения. Причём ему показалось, что даже стал более резким, тяжёлым. Твёрдо решив выяснить, в чём же дело, он отправился в ванную комнату и минут пять, созная всю ненормальность ситуации, разглядывал полочку с шампунями и бальзамами для волос, как будто надеясь найти там какой-то ответ, но, конечно, безрезультатно. Шампуни вроде бы были все прежние, но нельзя было поручиться за это на все сто процентов. Подавив невероятным усилием воли желание позвонить жене на работу и устроить допрос по телефону, он взял-таки себя в руки, решив перенести разговор на вечер. «Наверняка ничего серьёзного, сам себя накручиваю. Что за глупости?» – наиболее оптимальная позиция, чтобы не мучиться и не страдать, пока нет существенной причины. То, что у него есть такая черта в характере – из пустяка раздувать глобальную проблему, – он старался не забывать. «Мнительный мазохист», – так изредка он шутил о себе.

Однако день решил всё-таки не заладиться: два неприятных, сложных разговора ждали его сегодня. Точнее, один разговор, на одну тему, но поочерёдно, с двумя старыми приятелями. Разговор этот вертелся вокруг бильярда, точнее, вокруг того, что он уже давно перестал приходить на их совместные мини-турниры. Раньше они собирались вчетвером раз

в неделю, в общий выходной, и устраивали ночь бильярда – играли пара на пару, вызывали на командный поединок других завсегдатаев бара. Все четверо с детства любили игру на бильярде, одно время в их кружке даже витала идея поставить у кого-нибудь дома стол и собираться по-домашнему и чаще. А закончилось это тем, что он почти перестал появляться на их мероприятиях, – жена считала, что выходные нужно проводить исключительно в семейном кругу. Днём – поход в большой ТРК, иногда фитнес-центр, а вечером можно устроить просмотр новой мелодрамы с бокалом вина. Ну или к родителям, на отчёт. Все его старания вырваться из этого начертанного ею круга принимались в штыки. И если поначалу прогулы его были редки, казались больше случайными, чем закономерными, то вот уже как полгода ему удавалось вырваться максимум раз в месяц. Он постоянно придумывал какие-то непреодолимые обстоятельства, форс-мажорные ситуации, но друзья, понятное дело, совсем перестали ему верить. Тем не менее они, верные их старому союзу, искать ему замену считали неким предательством и намеревались завлечь его обратно. Вот такие разговоры, наполненные упрёками, претензиями, попытками вырвать у него обещание явиться, пришлось ему выдержать в тот день. Как и прежде, ему не оставалось ничего другого, кроме как выдать очередные обязательства своего участия в совместных сборищах. Обязательства – и он понимал это, – которые вряд ли у него получится выполнить полностью. Ошибся же он только в причинах этого.

Вечером, уже дома, он очень осторожно, стараясь не разжечь пожар своими подозрениями, поинтересовался у жены: меняла ли она шампунь или бальзам для волос в последнее время или, может, стала пользоваться новой туалетной водой? Получив отрицательный ответ, ему, со своей стороны, тоже пришлось удовлетворить её любопытство о цели расспросов. Торжественно признавшись, что уже которое утро чувствует от неё, от её волос новый запах, он внимательно стал следить за реакцией, пытаясь определить для себя, есть ли вообще смысл волноваться по этому поводу. Но прояснить так ничего и не удалось – ещё раз подтвердив, что ничего нового в свой косметический рацион не вводила, она поинтересовалась:

– А что, запах неприятный, не нравится тебе?

– Не то чтобы он мне не нравится, просто он совсем незнакомый, не могу его разобрать. Не духи точно, но и не шампунь. Не знаю.

– Ну, тогда и не морочь мне голову и себе заодно!

Вероятно, этой установкой всё бы и закончилось, наверняка он бы так и поступил, но позже, укладываясь спать, в непосредственной от неё близости он снова почувствовал не признанное ими обоими преступное амбре. И опять, как и в предыдущих случаях, он сопоставил этот запах с ней, определил его принадлежность жене, но повторно начинать разговор не стал. Было понятно, что если он и узнает происхождение таинственного запаха, то точно не от неё. Утром же случилось то, что происходило только во время серьёзных обострений в их отношениях: он, встав первым, не стал её целовать. Но не ссора стала причиной такого невнимания, а то, что пробуждение его наполнено было этим самым, навязчивым уже до возмутительности запахом. Едва открыв глаза, ещё не до конца перейдя ту грань, что отделяет объятия Морфея от реальности, он словно окунулся в него с головой. И сам запах стал гораздо резче, отчётливей и неумолимостью своей раздражал уже не на шутку. Но вот удивительно: запах, словно поиграв с ним, подразнив, создав переполох в мыслях, как-то быстро улетучился.

От него, секунду назад такого неотступного, не осталось ни малейшей тени. Ситуация эта повторялась как по расписанию, два раза в день – утром и вечером, рядом с женой или после встреч с ней его преследовал этот запах, всегда по одной и той же схеме: налетев, как порыв ветра, растревожив обоняние, он точно так же стремительно исчезал. Изредка он посещал его и вне дома, на работе, но в подавляющем большинстве случаев неразрывно был связан с его второй половиной. Она же в те моменты, когда он пытался возобновить своё расследование, поначалу удивлялась, так как никакого необычного запаха не чувствовала, а потом и вовсе потеряла интерес к этой теме, видимо, посчитав, что если это такие игры с его стороны, то они непозволительно затянулись. Со временем коварный запах из нейтрального, доставляющего только лёгкое беспокойство своим неустановленным происхождением, превратился в настоящее мучение для его нервов.

Так пролетело две недели, всё шло в рутинном режиме: утром – на работу; в парадной – Агнесса, норовящая войти к нему в доверие, и её хозяйка, бросающая на него томные взгляды; после работы – в магазин; потом – домой на ужин. Пока не встретил старого знакомого и, вспомнив, что тот где-то когда-то учился по медицинскому направлению, не спросил у него совета насчёт всей этой истории. Каким же было для него потрясением, когда тот, разбавляя своё пояснение мудрёными медицинскими терминами, рассказал ему, что появление каких-то посторонних, неестественных запахов может означать серьёзное заболевание, связанное с гормональными нарушениями! Добавив, по-видимому, для успокоения, что в большинстве случаев в группе риска женщины, приятель посоветовал отправить жену на обследование и написал ему в СМС название этой болезни. «Не затягивайте с этим!» – напутствовал он.

В тот день, придя домой в крайне сильном смятении, он сначала включил ноутбук (а обычно он сразу бежал в душ) и набрал название болезни в поисковике. Первая же статья, посвящённая этому заболеванию, подтвердила всю информацию, выданную его товарищем. Да, один из симптомов – непонятные запахи, да, если вовремя не среагировать, болезнь может быть смертельной. Он почувствовал лёгкую панику, стало холодно так, словно его окунули в ледяную прорубь. Даже не дочитав до конца, выхватив для себя только основные моменты, он в полной прострации всё же отправился в душ, стараясь избежать встречи с женой. Испугался, что слёзы, так предательски подступившие к глазам, его выдадут. И что он тогда ей скажет?! Там, включив максимальный напор, сделав погорячее, насколько можно выдержать, он попытался собраться с мыслями.

«Сначала нужно как-то ей объяснить, почему нужно обследование. А с другой стороны, может, лучше сразу ничего про это не говорить, а придумать какой-нибудь “левый” предлог? Вдруг всё обойдётся, и смысл тогда её раньше времени огорчать? Но и время терять нельзя...» Сумбур в голове рос по мере появления разных вариантов для дальнейших действий. Неожиданно в дверь ванной постучали:

– Ты не заснул там? Всё давно остыло!

– Да, выхожу, – появившись на кухне, он старательно прятал глаза, не отводя их от тарелки.

Он совершенно не мог понять, не знал, как начать этот разговор. Вяло поковырявшись в еде, чем немало удивил жену, привыкшую к его аппетиту, он принял единственно верное решение – перенести объяснения на следующий день. «Ещё раз обдумаю, как и что сказать, чтоб мягче

и деликатней получилось», – такое решение показалось ему мудрым, правда, на секунду мелькнула мысль, что он смалодушничал, струсил... Но только на секунду. Хотя и на следующий день, и через день он так и не набрался смелости, чтобы приступить к задуманному. Ничего, кроме избитой фразы «нам нужно серьезно поговорить», в голову не приходило, но слишком часто эта фраза использовалась для обсуждения обыденных вещей. И это его смущало. Он не мог себе представить реакцию жены на такое известие. Что может чувствовать человек, которому сообщают такую новость? Здесь тоже была заминка – он не мог решиться сказать ключевую фразу. Как вообще она должна звучать? «Дорогая, не хотел бы тебя расстраивать, но ты опасно больна»?

Нет, надо отдать должное: он уже почти начинал разговор, но неизменно осекался, терял мысль и натужно переводил его на совсем отвлечённую тему. Ему хотелось найти какие-то особенные слова – слова, которые бы соответствовали такой ситуации. Но у него не получалось, и в конце концов он нашёл новую отговорку для переноса. «Расскажу всё на выходных! В будни по вечерам все уставшие, времени для серьёзного разговора нет, а там как раз и время будет, и мысли появятся».

Дотянуть же до выходных и не проговориться оказалось сложнее, чем он думал. Каждый раз, обсуждая с женой те или другие домашние дела, он старался не выдать своё настроение, показательно держался бодрячком, но, видимо, что-то фальшивое сквозило во всём его виде, так что она пару раз даже поинтересовалась, что с ним. А настроение у него было аховое – привычка прогнозировать всё самое плохое рисовала в его воображении ужасные картины.

Врачи ставят неутешительный диагноз. «Вы слишком поздно к нам обратились». И вот он уже сидит в больнице, у постели умирающей жены.

В такие моменты, когда самые худшие предположения овладевали им, он, стараясь не смотреть на жену, чтобы себя не выдать, сбегал в ванную и долго стоял под душем. И там уже давал волю своим эмоциям, вода и слёзы смешивались и утекали, и он выходил, на какое-то время успокоившись.

А в субботу весь его тщательно выстраданный план рухнул, как карточный домик. Замешкавшись с утра, он, выйдя из спальни, обнаружил, что его жена куда-то собралась и стоит в прихожей уже почти одетая. Очень удивившись, что он ничего не знает о её раннем уходе из дома, он получил весьма легкомысленный ответ в свойственном ей стиле:

– А что, я разве тебе не говорила вчера? Нет? Странно... Мы с девочками в фитнес-центр, на целый день. Но мне кажется, я говорила тебе! Ты пропустил мимо ушей, как обычно!

И быстро упорхнула, давая понять, что никакой спор ей не интересен, тем более в начале выходного, обещающего быть ярким и наполненным всяческими приятными событиями. Так он и остался стоять, тупо уставившись на закрывшуюся за ней дверь, медленно закипая из-за того, что опять всё пошло не так, как он задумал. И впервые у него мелькнуло в голове что-то злое! «Ладно, посмотрим, как ты запоёшь, когда...» Тут же, словно устыдившись, он отогнал эти мысли прочь: «Ну она-то откуда знает, что у меня важный разговор? Я же не предупреждал. Правда, и сама могла сказать, что на фитнес с утра идёт!» Затем он вспомнил, что такие ситуации, когда она куда-то собиралась, с кем-то о чём-то договаривалась, планировала своё время и при этом не ставила его в известность, были неотъемлемой частью их семейной жизни. И если до этого

он как-то привык к её пренебрежению и смотрел на это снисходительно, то вот сегодня это уже было чересчур. Опять нечто предательское зашевелилось у него в подсознании, но, не дав этому нечто оформиться во что-то связанное, он пресёк бунт: «В конце концов, день только начался – вечером сядем и поговорим. Да и завтра выходной».

Только ни вечером, ни в воскресенье никакого разговора опять не получилось. После фитнеса ему было сказано: «Я так устала, тренер нас так затаскал – еле на ногах стою. Давай потом?» Ну а в воскресенье оказалось, что «мама ждёт нас, у неё важная дата – день, когда познакомились её родители» или что-то в этом роде. Нужно обязательно быть, и мило улыбаться, и радоваться всем вместе, и что у них тоже крепкий союз, продемонстрировать. И вот это он ненавидел ещё больше – одно дело, если она забывала его предупредить о своих планах, но совсем переходило все границы, когда в последний момент он узнавал, что сам должен куда-то идти. В начале их совместной жизни он ещё как-то боролся с такой беспардонностью, но потом плюнул – больше уходило нервов, причём напрасно.

Отбывая же на семейном торжестве очередную повинность, он вдруг отчётливо понял, как от всего этого устал. В какой тупик зашли их отношения, если они не могут просто сесть и спокойно обсудить что-то важное, касающееся их обоих. Как его измучила жизнь галопом, когда не получается найти время и сказать жене, что, возможно, она опасно больна. И вот тут в его голову пришла мысль, от которой он просто оторопел, испугался её преступности и подлости, испугался так, что сразу стал выпихивать её обратно, куда-то, откуда она появилась, лишь бы от неё не осталось и следа. Он на минуточку, буквально на самую малость, представил, что остался один, что её больше нет. Представил, как он убит горем, как все его поддерживают и утешают. Все друзья и коллеги подчёркнуто внимательны и деликатны. Как он мужественно переносит эту утрату, как ему плохо и тоскливо. Хочется выть от отчаяния! Но он всё выдерживает – время залечивает и такие раны тоже. И вот он уже восстал из пепла, возродился для новой жизни. И для новых отношений!

Когда они вернулись от её родителей, у него уже не было ни сил, ни желания начинать объяснения с женой. Хотелось махнуть на всё рукой – пусть будет как будет! А позже, когда он лёг спать, гаденькие мыслишки опять стали будоражить его воображение, перед глазами почему-то замаячила Агнесса, то есть не она, конечно, а её хозяйка, и она очень откровенно намекала на всяческие радости, связанные с её несомненными достоинствами. Собака вертелась тут же и, прыгая невероятно высоко, своим шершавым, тёплым языком лизала его прямо в нос. Он зачихался, как вдруг в их компании обнаружился один из его друзей и, укоризненно попеняв ему на то, что он опять пропустил игру на бильярде, заговорщически подмигивая, стал соблазнять его тем, что «и стол можно было бы к тебе поставить» и «смотри, какая красotka вокруг тебя вьётся», почему-то указывая ему при этом в сторону собаки. Затем, взявшись за руки, причём Агнесса увеличилась до человеческих размеров, они стали водить вокруг него хоровод и петь тоненькими, дурашливыми голосами. После этого началось нагромождение совсем уже каких-то диких, не поддающихся никакому пониманию образов, и он провалился в глубокий сон.

Проснувшись утром с тяжёлой головой, он даже обрадовался, что один в квартире, долго вспоминал свой сон, а вспомнив, пришёл к выводу о разумности некоторых доводов, проявившихся в этом сне. На самом деле, он мог бы зажить абсолютно другой жизнью – жизнью спокойной, уравновешенной, но направленной, при всей своей положительности,

на извлечение из неё удовольствий. «И да, – сказал он сам себе, – стол можно будет поставить в комнату». Но, снова почувствовав укол совести, он отогнал эти фантазии, которые по справедливости, при живой ещё супруге, были, конечно, омерзительно подлыми. И до того ему стало противно и гадко на душе, что он перенёс свой выход из дома на пять минут, перенёс с целью избежать ежедневной встречи в парадной.

Он с ужасом вспомнил, что после разговора с товарищем прошла уже неделя, а с момента, как он впервые почувствовал запах, – целых три. Вспомнил, как долго и, казалось, безнадежно ухаживал за женой, как от радости чуть не выпрыгнул из штанов, когда она ответила ему взаимностью. Как день, когда она согласилась выйти за него, стал для него самым счастливым днём в его жизни. К нему пришло отчётливое осознание того, что нельзя, даже мысленно, даже если в последнее время отношения пошли наперекосяк, ставить под сомнение супружескую верность и преданность. Что жена, при всех её недостатках, обнаруженных за эти годы, всё же не бильярдный стол, не друзья-товарищи, какими бы распрекрасными они ни были, и даже не Агнес... тьфу, не соседка, бросающая на него откровенные взгляды. Что любимая жена – это надолго, даже, наверно, навсегда.

Спустя десять дней они сидели в медицинском центре, удобно устроившись в креслах приёмного кабинета, ожидая результаты анализов. В тот час – час его внутреннего раскаяния перед самим собой – он позвонил в медицинский центр и договорился о первичном обследовании, заказав сдачу анализов на двоих. Оплатил вперёд, что было не в его правилах – он любил откладывать расчёт до последнего, – настраивая себя на то, что время для глупых фантазий и колебаний закончилось и нельзя терять ни минуты. Зная, как его жена не любит обращаться к врачам, он решился на самый весомый и не поддающийся оспариванию аргумент. Сдавать анализы они будут вместе: они уже достаточно долго женаты – годы идут, и пора подумать о ребёнке! А для этого желательно... нет, необходимо пройти хотя бы минимальное обследование! Да и стариков пора уже обрадовать!

Ошарашенная такими доводами жена, немного повозмущавшись из принципа, конечно, согласилась. Сам же он планировал, сдав анализы, в дальнейшем от обследования увильнуть, так как уже выяснится её недуг. По крайней мере так он себе нарисовал эту картину. Все десять дней он был с ней максимально вежлив и предупредителен, говорил ласковые слова и практически перестал с ней препираться. Ещё недавно на споры и выяснение отношений у них уходила куча времени, а сейчас он во всём с ней соглашался. Он, уверив себя в её болезни, был с ней мягок и внимателен к её капризам. Жена, отвыкшая от таких нежностей, даже пошутила однажды:

– Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты мне изменил! Цветов только не хватает для полноты ощущения!

Он смутился и после работы забежал в цветочный ларёк. Закончилось тогда всё очень хорошо. Уже ночью, обняв её и засыпая, он подумал: «Вот почему, чтобы вернуть прежние отношения, чтобы понять, как тебе дорог человек, нужно обязательно бояться его потерять?»

В кабинете он взял руку жены в свою, понимая, что когда она узнает, он должен быть к ней как можно ближе, и поэтому лучше держать её за руку. Она удивлённо приподняла брови, но улыбнулась – к хорошему привыкаешь быстро. Доктор, ещё раз уточнив их фамилию, поблёскивая стёклами очков, перебирал на столе бумажки с анализами, но почему-то никак не мог найти их результаты. Он даже запыхтел от усердия,

а потом, вдруг щёлкнув пальцами, полез в отдельный лоток с наклейкой «срочно, важно», видимо, вспомнив что-то. Вот эта надпись «срочно, важно», сделанная к тому же большим шрифтом, сразу сгустила атмосферу в кабинете – возникло напряжение, осязаемое почти физически; всё стало тягучим и неестественным, как в замедленной съёмке. Он почувствовал, что рука его похолодела: то, что он давно уже знал, сейчас должно было приобрести официально подтверждённый статус.

– Ну-с, друзья мои, новости, конечно, не совсем хорошие. Прямо скажем, неприятные новости, – доктор заметно волновался, и волнение его передалось им, накрыв волной липкого, противного беспокойства.

Он ещё крепче сжал её ладонь, давая таким образом понять, что всегда будет рядом, что бы ни случилось, и какой бы ни был диагноз, она может не сомневаться в его поддержке.

– Послушайте, у вас довольно редкое заболевание, связанное с нарушением гормональных функций организма. Мы относим такие заболевания к классу эндокринных. Да... Впрочем, это не настолько важно сейчас. Главное – понять, начался ли опухолевый процесс, и принять срочные меры по его купированию. Для этого понадобится более тщательное обследование. Но хорошо, что мы выявили болезнь на достаточно ранней стадии, чтобы успеть использовать все средства для лечения! – доктор, поборов эмоции, уже вошёл в свою стихию и уверенно оперировал медицинскими терминами.

Они с женой переглянулись, и тут она задала вопрос, показавшийся ему в тот момент очень странным:

– Доктор, так это заболевание, как вы там его назвали... оно что, у нас обоих? Разве так бывает?

– Ох, извините, что-то я растерялся немного, не с того начал, – доктор в самом деле выглядел слегка обескураженным. – Нет, конечно. Речь идёт о вашем муже! Но ещё раз хочу повториться: вы не переживайте сильно, ключевое – что болезнь в самом начале развития и, собственно, всё в наших руках! – Он старался, чтобы его слова звучали убедительно. – Мы сможем всю ситуацию держать под контролем, я вам сейчас напишу направление на углублённое обследование, а кое-какие препараты для повышения... – тут доктор опять употребил специфический термин, – принимать начнём уже сегодня.

Он же сидел ошеломлённый, не воспринимая окружающее, – так, вероятно, чувствует себя человек, к которому подкрались сзади и дали по голове чем-то тяжёлым. Не убили, нет, но внутренне он чувствует себя именно так! Мысли его скакали, как блохи, перепрыгивая с одного направления на другое, лихорадочно пытаясь уцепиться за что-то, что вернуло бы его на твёрдую почву.

«При чём здесь вообще я, это же она заболела... Что он там болтает, понятно же, что анализы перепутаны... и предрасположенность ведь у женщин... что теперь – лучевая терапия, биохимия... нет, этого не может быть, запах же от неё непонятный... а вот, точно, запах!»

Ухватившись за эту спасительную идею, постаравшись придать своему голосу уверенность, он, как ему показалось, хладнокровно обратился к доктору:

– У вас наверняка перепутаны анализы, у меня же никаких симптомов нет! А вот у жены симптомы я уже три недели замечаю, – при этом заявлении он краем глаза заметил её изумлённый взгляд, направленный в его сторону. – Я тебе потом всё объясню! – на секунду обратившись к ней, он вопросительно уставился на доктора.

Тот, ещё раз пробежавшись по своим бумажкам, пожал плечами.

– Да нет. Никакой ошибки, у нас всё строго. К сожалению, у вас обнаружены все признаки этого заболевания. Есть, конечно, небольшой шанс на естественную ремиссию, но обольщаться не стоит – на моей памяти такого не происходило. Крайне призрачный шанс...

– А то, что эта болезнь – женская, ею преимущественно женщины болеют? – он ещё пытался ухватиться за последнюю соломинку, уже совершенно не обращая внимания на удивлённое лицо жены.

– Это не более чем домыслы, не подтверждённые никакими доказательствами. Женщины болеют чаще, это да. Но не в таких пропорциях, чтобы назвать эту болезнь женской. Кстати, вот вы говорили про какие-то симптомы у жены. Если можно, расскажите поподробнее об этом. Откуда вы это взяли?

– Ну, я стал чувствовать от неё запах, которого прежде не замечал, непонятно было, откуда он вообще взялся... Потом мне сказали про это заболевание... Я посмотрел в интернете статью, на медицинском сайте. Там было написано, что первый признак – появление странных запахов. Ну, я и подумал... насчёт обследования... – голос его звенел натянутой струной, готовой вот-вот оборваться.

– Я вас понял. Да, есть такое – когда запах неожиданно появляется и так же резко исчезает. А сайт не помните, как называется? – Доктор смотрел на него с явно читающейся жалостью – так смотрят на больных, лишившихся последней надежды, но тщетно цепляющихся за какую-нибудь мелочь.

– Да там первый сайт по ссылке, в Яндексe, он на самом верху в поиске!

Доктор, повернувшись к монитору, несколько минут пристально изучал содержимое статьи, потом, покрутив пальцами ручку, стал что-то писать на бумаге. Затем отложил всё это в сторону, долго тёр тыльной стороной ладони подбородок, вздохнул – стало понятно, что он тянет время.

– Ну так что? Что там написано? – её слова прозвучали слишком громко, но тон был спокойным как никогда.

Доктор же, очнувшись, всё своё внимание направил в его сторону, аккуратно подбирая слова, словно боялся обидеть.

– Вы знаете... Вы, наверно, тогда сильно расстроились, растерялись! Переживали за близкого человека... Это и понятно! Торопились, когда читали... Поэтому не обратили внимания на детали: там написано, что признаком заболевания является не запах от человека – от людей вообще разные запахи бывают, – а именно то, что человек заболевший сам начинает чувствовать непонятные запахи! Вот у такого человека это и есть начальный симптом заболевания!

В кабинете повисла тишина. Такая тишина бывает, когда присутствующим не хватает смелости что-либо сказать, все опасаются ляпнуть что-то глупое, не соответствующее ситуации, и тем самым сделать ещё хуже. Были слышны только тревожно гудящий компьютер и прорывающийся из окна шум города.

Он на ватных ногах встал с кресла и, как-то несуразно съёжившись, не дожидаясь жены, потащился в сторону двери. В голове крутилась только одна мысль: «Где же я нагрешил-то так? Почему это случилось именно со мной?»

Утром, в те ранние часы, когда он просыпался первым, он всегда наклонялся над ещё спящей женой и аккуратно целовал её...

Юлия АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в 1979 году в Горьком. Окончила Нижегородский государственный педагогический университет (математический факультет), в 2010 году получила юридическое образование. Преподавала математику в школе, работала в Московском институте права, в управлении социальной защиты населения. В настоящее время занимается репетиторством.

В основном пишет малую прозу и стихи. Дебютный роман «Гербарий» опубликован на «Литрес».

Живет в Нижнем Новгороде.

ПУСТЫРЬ

Новый дом, который так быстро – от зимы до зимы – вырос возле железной дороги, напоминает Лере кубик: одинаковый по высоте и ширине, он приземистый и устойчивый. Этот дом нравится ей гораздо больше, чем длинные и безликие новостройки. Но когда Лера смотрит на его светящиеся окна, то чувствует, как изнутри, от сердца к горлу, поднимается шершавая тоска.

Почему? Да потому, что раньше на месте этого дома был пустырь. Настоящий пустырь! Но не из тех, буйных, беспризорных, что насквозь поросли крапивой и лебедой, а цветной, мозаичный. Если стоять на платформе, то можно долго разглядывать его узоры: бахрому камышей, зеленые островки, яично-желтые и лиловые пятна... Иван-чай, пижма, люпины и еще тьма безымянных трав – все они хороводили там, звенели, ревниво пряча от прохожих маленькое болотце посередине.

Но это было летом.

А тем вечером в конце мая пустырь показывал Лере спектакль: над желтым морем колыхался, переливаясь, воздух. Она не сразу поняла, отчего. Но присмотревшись, задохнулась от восторга: «Стрекозы!» Высокие травы еще не успели заглушить буйство одуванчиков, и сурепка уже цвела, создавая и не фон даже, а подмалевок. И вот там, где цвета были гуще, где в глубине пустыря затаилось крохотное, словно игрушечное, болотце, там и трепетали десятки стрекоз. Золотые всплески их крыльев мерцали, танцевали... завораживая, притягивая к себе взгляд.

Лера не смогла бы толково объяснить, почему она снова примчалась сюда, на станцию. Завтра экзамен, обществознание, и они с Егором договорились, что сегодня – день тишины, как перед выборами. Но что-то позвало ее, и она не смогла усидеть дома. Хотела сбежать еще днем, но случился дождик. А когда просветлело, она отодвинула учебники и тетради, схватила ветровку и удрала. Почти бегом преодолев пять автобусных остановок, Лера застыла под навесом, только здесь обнаружив, что забыла телефон дома на столе.

Она надолго замерла в ожидании, сливаясь с цилиндрами бежевых колонн, улыбками встречая одну электричку за другой и опуская плечи вслед последним вагонам.

И лишь тогда, когда растворились в воздухе стрекозы, когда море одуванчиков на пустыре задремало, погасив огни свои, а вместо них включился фонарь под крышей, когда человеческие фигуры вконец стали расплывчатыми, только тогда Лера увидела: он шел к ней. Шел, уверенно и резко переставляя длинные ноги.

Она не заметила, как он выходил из вагона, она и успела-то всего лишь шагнуть навстречу. А он сперва раскинул руки, как Христос на распяты, а затем сомкнул их в железный замок на ее лопатках и сказал:

– Моя. Не выдержал, стал звонить, но абонент не абонент, волнительно стало. Все хорошо?

Егор произнес это шепотом, торопливо, и его дыхание стрекозиными крыльями защекотало Лере ресницы... и звук его голоса эхом отразился от свода станции, эхом прокатился по шпалам, эхом стукнул в груди: «Моя...»

Лерины родители сначала улыбались, но потом отец стал «гонять молодежь» по терминологии, из всех сил стараясь быть суровым, а мама шипела на него, суежилась и бесконечно поила всех чаем.

Лера держала Егора за руку под столом. За руку с жесткими пальцами, с ногтями гладкими, как озера, но окруженными камышинками заусениц. «Все хорошо, солнце, – думали они хором. – Все будет хорошо, не переживай».

Да, это была весна, самый конец мая. Лето, которое пришло следом, Лера не помнит. Потому что летом Егора не стало. Он погиб. Внезапно и глупо. Любая смерть глупа в восемнадцать лет.

Лера не плакала. Она рвалась к окнам и крышам, она резала запястья, она лечилась в больнице.

Постепенно мрак отступил.

Через три года, осенью, когда она вновь стояла на платформе, поживаясь от ветра, а пустырь был еще свеж, самоуверен, бахвалился колосьями, метелками, сиреневыми островками диких астр-октябринок, в один из таких дней появился Николя. Словно на кадре из киноплёнки – он задорно помахал в окно, промелькнув в череде таких же окошек. Лера отвернулась, а он взял да и приехал обратно на встречной электричке.

Николя изучал языки. Леру, как и себя, он называл на французский манер – Валери. Он привозил пирожные в квадратной коробочке, и Лера боялась, как бы он не споткнулся, не уронил их, потому что Николя не нужны были ступени, он всегда слетал с них, спрыгивал, и Лера научилась так же лететь к нему, обнимать, повисая на шее, кошкой тыкаясь в его прохладные щеки. Они быстро шагали по платформе, и Николя хохотал, вспоминая дорожные истории. Эха от его голоса не было.

Были стихи Луи Арагона, которые Николя читал в оригинале, а потом переводил: «В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью...», но Лера слушала не слова, а грассирующий в такт, спотыкающийся на щербинках асфальта стук своих каблучков. Нет, эха не было.

«Никак не может это быть простым совпадением», – думала она. Наконец решила рискнуть и рассказала о Егоре. О том, как десятки раз встречала его именно здесь, о том, как Егор попал под машину, а она – в больницу. Николя выслушал внимательно и непривычно спокойно.

А на следующий день исчез. Куда – не знал никто. «Уехал в Европу», – сухо ответила его мать. «Бросил», – за спиной ехидничали подруги. Лера пожимала плечами. Она не плакала. Всего лишь забрала документы из универа и стала работать. Много.

Время шло, и однажды пустырь обнесли синим забором. Долго осушали болотце, вырыли котлован, а когда начали забивать сваи для нового дома, то рельсы на железной дороге гудели: «Буммм... Буммм...», вторя тяжелому молоту.

Лера знает это, потому что живет теперь совсем рядом со станцией. Так сложилось само собой. Возвращаясь с работы, она иногда ставит машину на парковку перед торговым центром и идет в кассы, чтобы купить билетик «туда-обратно». Все изменилось: теперь на платформу нельзя попасть просто так. Лера послушно проходит турникет, обеими руками толкает тяжелую стеклянную дверь, словно крышку колодца – изнутри.

И снова она стоит под навесом, и снова опускает плечи вслед поездам, а потом медленно бредет вдоль колонн, спрятанных кем-то бездушным в прямоугольные короба, идет мимо светящихся полукруглых окон, где раньше сидели кассирши, а сейчас хозяйничают узбеки в ярких фартуках.

Оглянувшись на новый дом-кубик, она выходит со станции. Возле лестницы ее встречают двое мужчин: первый в пуховике с капюшоном, второй – в перекошенной шапке-балаклаве.

– Мы из сада идем, смотрим: машина. Пошли домой, Лер! – говорит первый бодро, пряча в глазах беспокойство. – Костик замерз.

– Не замерз! – упрямо мотает головой второй, маленький человек-грабитель. – Мам, а мы с Вер Михалной сегодня эти, сердечки, лепили! Вот!

И Лера садится на корточки, не подбирая подола пальто, и в руку ей ложится рыхлое, корявое пластилиновое сердечко, теплое, сплошь покрытое ворсинками от варежек. Оно невнятного буро-зеленого цвета, но Лера видит: в нем собраны все оттенки весны и лета, нежных лепестков, упругих стеблей, мягких трав...

Она гладит сердечко, выравнивает, растирая по поверхности выпуклые соленые капли, и наконец-то отчетливо слышит эхо собственного пульса. Эхо дрожит под колесами скоростных электричек – современных, с мягкими креслами, эхо тонет в недоуменных взглядах прохожих... Эхо обнимает троих людей единым ватным одеялом.

Дмитрий ИГНАТОВ

Родился в 1986 году в Ярославле. Проходил обучение в ЯГТУ по специальности «инженер-педагог машиностроения». В настоящее время – дизайнер и веб-разработчик, пишет сценарии для кино, ТВ и рекламы.

Публиковался в изданиях «Знание – сила», «Знание – сила: Фантастика», «Искатель», «Нева», «Дарьял», «Байкал», «Смена», «Нижний Новгород», «День литературы», в альманахах и сборниках. Автор романа в рассказах «Великий Аттрактор», иронического фэнтези «Кампания Тьмы», хоррор-повести «Первыми сдохнут хипстеры» и сатирического справочника «Это ваше FIDO».

Живет в Воронеже.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Михаил любовался пейзажем с явным удовольствием на лице. С широкой площадки на заднем дворе, вымощенной шестиугольными плитками, открывался действительно живописный вид. Вниз шёл долгий и пологий склон, поросший ровной невысокой, будто недавно постриженной, травой. Дальше вздымались такие же зелёные холмы, обрамлённые негустыми хвойными перелесками, между которых бежала узкая тропинка. Она становилась совсем неприметной, теряясь в дымке у тёмных скал и пляжа из чёрного вулканического песка, за которым плескалось море. Впрочем, отсюда этого уже почти не было видно.

С противоположной стороны всё уже плотно поросло лесом. И дом, оказавшийся на этой резкой границе, словно выглядывал из-за стволов высоких сосен.

– Класс, да?– спросил Крис с довольной улыбкой, явно набиваясь на комплимент. Михаил кивнул. Удовлетворившись таким ответом, хозяин, высокий мужчина лет сорока с лёгкой небритостью, вернулся к мангалу, где жарилось мясо и ароматный дымок струился вверх в холодном воздухе.

– Морозильник у вас тут какой!– появился из дома худощавый Нейл, сразу же застёгивая спортивную куртку. – Но и правда... Шикарный вид!

Парень встал рядом с задумавшимся Михаилом и окинул взглядом простор.

– Смотри-ка! Смотри! Видел это?– толкнул он приятеля в бок и указал на один из зелёных склонов. – Прямо как на обоях. И тени от облаков бегут по холмам... Прикольный «рейтрейсинг».

– Да, – нехотя отозвался Михаил.

– Жалко, не взял нативный фотик... Ладно. Сделаю скрин. Надо показать это Грейси, – Нейл прикоснулся пальцами к левому виску. – Готово!

– Мы же договаривались, – недовольно проговорил Михаил. – Не ломай атмосферу.

– Да, точно! – поддержал Крис. – Не забываем! У нас тут сугубо мужская компания. Дикая природа, мясо на огне, и без баб.

– Ладно, ладно, – согласился парень и с насмешливым видом расположился в одном из плетёных кресел, расставленных вокруг массивного столика из чёрного дерева.

Ещё раз взглянув на холмы, тропинку и причуды солнечного света в облаках, Михаил отвернулся. Настрой и правда был подпорчен. Но могло ли быть иначе? Если не Нейл, то кто-нибудь другой всё равно заговорил бы о работе или играх, началось бы с обычной болтовни про цифровые технологии, а закончилось бы вечным гиковским хвастовством. Вот и поспорь после этого, что числа не правят миром. Правят. Ещё как! Но не мы ли сами отдали им эту власть? Кажется, в какой-то момент все свернули куда-то не туда...

Окончательно испортив себе настроение, Михаил вернулся к друзьям, где на столике в широком блюде с малахитовым узором уже дымился шашлык.

– Кажется, мы свернули куда-то не туда... – повторил Михаил вслух.

– О чём ты? – не понял Крис и на правах радушного хозяина и шеф-повара протянул приятелю шампур. – Держи!

– Когда мы стали такими... цифровизированными?

– Ясное дело. Когда GA придумали совместить воедино процессор и энергонезависимую ячейку памяти, – увлечённо включился в разговор Нейл.

– Нет, – с улыбкой возразил Крис. – Полагаю, что произошло намного раньше. Когда дядюшка Синклер снабдил каждое домохозяйство страны процессором Z80. Даже у нас был такой...

– Это что? «Спектрум»? – опешил Нейл. – Сколько тебе лет?

– Было восемьдесят три... Пока я тут не оказался.

Михаил оценивающе посмотрел на гостеприимного хозяина, которому, даже с учётом седины на висках, никак нельзя было дать больше сорока пяти.

– Отличный скин, – высказал Нейл общее мнение. – Но вряд ли он так же хорошо смотрелся бы на экране в 256 на 192 точки с шестнадцатью цветами...

– С пятнадцатью. Там было два одинаковых чёрных, – поправил Михаил. – И ещё в одном знакоместе нельзя было ставить больше двух цветов одновременно. «Калор клэшинг» ради экономии памяти...

– Тем более.

– Вы ничего не понимаете, – отмахнулся Крис, разливая пиво по высоким грудастым стаканам. – Смысл в том, что компьютер стал впервые влиять на реальный мир, вошёл в повседневную жизнь массы обычных людей: сложились свои комьюнити, своя философия, своя эстетика.

– Этим комьюнити не хватало коммуникации. Как нам, да? По-моему, всё изменили не компьютеры, а Интернет. Давайте! – Нейл поднял своё пиво. – Слейнт!

– Мы говорим «Сколь!» – присоединился Крис.

– Будем... – чокнулся с друзьями Михаил.

Все трое приложились к пенному напитку, который показался каждому именно тем самым «отличным пивом», которое «было когда-то». Михаил жевал сочное мягкое мясо, в меру прожаренное, выдержанное в маринаде необходимой кислотности и приправленное необходимым набором специй, непременно с кориандром и базиликом, смотрел на красоту окружающей природы и практически отрешился от философских компьютерных проблем... Но приятели втянули его обратно.

– До Интернета был Фидонет, – заметил Крис.

– Не до, а параллельно... Тут ты меня не подловишь, старик! – рассмеялся Нейл. – Глобальные сети были намного раньше. Другое дело, что энтузиасты захотели делать доступную и дешёвую коммуникацию прямо у себя дома.

– Об этом я и говорю, пацан. О доступности, – так же насмешливо ответил хозяин. – Люди захотели расширить своё эго посредством электронной машины. И сети – та среда, куда ты транслируешь себя. Конференции, форумы, чаты – всё это возможность выгрузить свои мысли и слова тем, до кого ты иначе не доберёшься. Вот в чём истинная причина.

– Значит, снова – эгоизм и тщеславие? Старшее поколение всегда было такими циничными материалистами, или это просто тема преподавателей физики?

– Движущие силы, сынок... Преподаватели физики всюду рассматривают силы. От них никуда не деться. И ещё страх. В реальном мире за мнение может прилететь по физиономии, компьютеры сделали мир безопаснее.

– Но ведь во времена этого вашего Фидо практиковались встречи оффлайн? Так?

– Поинтовки, да. Но и после тоже... Чатовки, форумовки... Но ты же понимаешь, почему всё это закончилось?

– После пары сотен битых физиономий, да? – снова хохотнул парень.

– После стомегабитной витой пары. Когда благодаря потоковому видео, тебе уже не нужно было выходить из дома, чтобы посмотреть в глаза другому человеку.

– Ну погоди! Ты говоришь про времена кабеля и оптоволокна. Согласен! Гики были погружены в онлайн-игры, хикканы не вылезали из комнат. Но эпоха затворничества кончилась, когда у каждого в кармане появилась штука вроде... – пытаюсь что-то найти, Нейл полез в карман, затем в другой и только потом спохватился. – Чёрт! Мы же договорились не брать с собой... Ладно. Ты понял.

– Да. Палмы, смартфоны, планшеты и прочие мобильные девайсы, связывающиеся с мировой паутиной по беспроводным сетям.

– Мне больше нравились умные часы. До сих пор ношу при случае...

– Из той же оперы... Но ты разве не понял ошибку? Они не освободили тех, кто сидел в комнатах. Они поработили тех, кто был снаружи. С тех пор своя «комната» была у каждого в кармане, – Крис отпил пиво и многозначительно посмотрел на гостей. – Не поняли? Какой толк в том, что ты ешь и спишь в реальном мире? Или совершаешь прогулку? Или даже занимаешься спортом? Вся остальная человеческая жизнь – там. Работа, развлечение, хобби, общение... Всё и все – там.

– То есть здесь, – неожиданно проговорил Михаил. – Значит, вот как случился поворотный момент. Когда вся социальная жизнь окончательно ушла в Сеть? Удалёнка из-за пандемии?

– В том числе, – кивнул Крис. – А ещё всякие вооружённые конфликты. Внешний мир в целом стал слишком опасным. А здесь...

– Безмятежность, – Нейл откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

– И внезапное отключение электричества не волнует? – спросил хозяин, но парень никак не отреагировал на провокацию.

– Нисколько, – ответил за приятеля Михаил. – Я знаю, как смонтирована система. Питание задублировано три раза. В самом крайнем случае, операционка восстановит бэкап за время одного движения век, он в очередной раз откроет глаза и даже ничего не почувствует. Серверные заглублены на двадцать метров под землю, сверху двухметровый слой бетона.

– Слышал, старик? – проговорил парень, не открывая глаз. – Всё будет хорошо. Наконец-то все могут расслабиться. И ты тоже.

– Я расслабился так давно... что вы оба вместе взятые столько не живёте. Просто иногда задумываюсь о бессмысленности.

– Разве оцифровать сознание и использовать готовую нейросеть из твоей головы – бессмысленная идея?! – возмутился Нейл, что аж подпрыгнул в кресле. По всей видимости, слова преподавателя задели его за живое.

– Это отличная идея, как заставить тебя работать и после смерти, – хмыкнул Крис. – Скрытая эксплуатация.

– Не велика цена за жизнь вечную. Из тебя ведь не сделали батарею. Вот я, к примеру, каталогизирую изображения, присваивая им хештеги. Каждый день я трансформирую свой жизненный опыт в экспертность систем распознавания образов. А Мисха...

– Миша, – поправил Михаил.

– Ладно, Михаэль...

– Михаил.

– Да фак! Майкл! Да, я плохо знаю твой язык...

– Хорошо. Пускай «Майкл».

– Я просто хотел сказать, что вот Майкл, к примеру, крутой спец по части диагностики и работы системных сервисов. А ты, старик, наверное, занимаешься какими-нибудь вики-справочниками.

– В основном общеобразовательными, – кивнул Крис.

– Ну вот! Мы все заняты здесь делом. Мы нужны.

– Я работаю с жадой познания. С интересом к науке. Разве мне самому не должно быть интересно, что осталось там – снаружи?

– Там нет ничего интересного, – уверенно проговорил Нейл, но увидев твёрдые взгляды друзей, сразу сдался. – Хорошо! Но вы же сами не хотели разрушать атмосферу. Раз уж на то пошло, лучше бы посмотрели какой-нибудь хороший фильм...

Крис сделал глоток, поставил на стол стакан с пивом и проделал плавный жест рукой. В воздухе перед ним возник полупрозрачный прямоугольный интерфейс. Ещё несколько движений по вложенным меню, и прямоугольник, увеличившись в размерах, превратился в широкий экран, загородивший собой зелёные холмы, сосны, узкую тропинку и далёкое море с пляжем из чёрного вулканического песка. На экране отобразился совсем другой пейзаж. Камера, которая на него смотрела, судя по всему, была установлена на одной из телекоммуникационных вышек. Такие же вышки, расставленные в узлах шестиугольной сетки, ровными рядами уходили вдаль. Под ними же всё пространство, словно расчерченная на клеточки ученическая тетрадь, заполнялось одинаковыми кубами из серого бетона с еле заметными вентиляционными

решётками, но без каких-либо окон. В тёмных проходах между этими коробками виднелись клеточки помельче – узкие дорожки, выложенные квадратными плитками и явно не предназначенные для людей.

– Вот торжество минимализма и рационализма, – искренне восхитился Нейл. – Прекрасно!

– Думаешь? – спросил Крис, а потом продолжил. – Думаешь, почему я не хотел смотреть на это один? Я ведь мог... В любой момент. Но я боялся увидеть. Именно это.

– Брось, старик! Я тоже вижу это впервые. Но я вижу, что это хорошо. В каждом здании сотни серверов, тысячи сознаний, десятки тысяч миров. Ещё никогда мир не был таким унифицированным и разнообразным одновременно. Таким необъятным и таким близким. Когда можешь оказаться в любом месте. Общаться с людьми из разных концов планеты. Разве могли мы трое встретиться здесь и сейчас как-то иначе? Только глобальная цифровая коммуникация сделала это возможным! – задумав что-то, парень посмотрел на Михаила. – Камеры ведь есть и внутри?

– Да, служба визуального контроля хостов, – кивнул тот. – Есть отдельный вход для каждого из ваших аккаунтов.

– Покажешь?

Михаил вздохнул. Сегодня ему меньше всего хотелось лезть в административную консоль.

– Хотите поглядеть, где хранятся ваши «мозги»? Пожалуйста... Вот. Вот. И вот.

Экран разделился на четыре части. Пейзаж сжался в правый верхний угол. Три оставшиеся части заняли картинки с пронумерованных камер наблюдения, на которых в тусклом свете моргали индикаторами серверные стойки.

Прятели принялись пристально всматриваться, переводя взгляд от одного изображения к другому, но никак не могли уловить разницу.

– Мне кажется... – неуверенно пробормотал Крис, – что это вообще один и тот же шкаф.

– Действительно. Похоже, на то... – смущённо согласился Нейл.

Синхронное подмигивание светодиодов, наконец, развеяло все сомнения. Первым общее молчание прервал Михаил:

– Ну, и зачем тогда это всё?

Татьяна АКИЛОВА

Родилась в 1994 году в с. Гагине Гагинского района Нижегородской области. Окончила Московский политехнический университет. Рассказы и зарисовки публикуются в газете «Гагинские вести».
Живет в Гагине.

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ

Чуть слышно распахнулась дверь. Антон, молодой человек двадцати лет, вышел из дома. Он пошел к калитке, оставляя на заснеженной дорожке следы. Сладковатый воздух оттепели, чисто убранная снегопадом улица невольно радовали его. Он стоял, дышал и слушал тишину, которая только что выпала вместе со снегом.

– Вот так!.. – и детский голос мягко лег на снег.

Антон обернулся. У забора, раскидывая желтой пластмассовой лопаточкой снег, стояла девочка. Веселый помпон прыгал у нее на шапке. Ей было лет пять, не больше.

– Вот так!.. – повторяла она, ссыпая и прихлопывая снег так, чтобы получилась горка. – Я сделаю горку. Потом буду с нее кататься.

Антон невольно улыбнулся ее словам, посмотрел на горку, на соседский дом, на дом друга, к которому приехал, и о чем-то задумался.

– А-а-а!.. – вдруг воскликнула девочка.

Антон огляделся. На улице по-прежнему никого, кроме него и девочки, не было. Видимо, девочка заигралась и все восклицания были частью ее игры. Но она больше не швыряла снег. Желтая лопаточка лежала в сугробе.

– Ух ты какой!.. – с восторгом, но точно боясь кого-то спугнуть, проговорила она.

Антон присмотрелся к ней. Девочка смотрела куда-то безотрывно, прижав ладошки в варежках к груди.

«Куда она смотрит?» – подумал Антон, позабыв про свои разные мысли.

Он подошел поближе к девочке, так, чтобы можно было увидеть ее лицо.

Девочка не обращала на него никакого внимания. Глаза ее лучились ярко, так что этим сиянием было залито всё ее лицо. И то ли из-за сияния, то ли еще из-за чего не получалось поймать ее взгляд и понять, куда она смотрит.

Антон обернулся наугад, надеясь, что на освещенной фонарями и снегом улице, сможет разглядеть то, что так ясно и живо видела девочка.

Он обернулся и ничего не увидел.

– Ангел!.. – невольно подсказала ему девочка.

Антон прищурился, точно был слаб зрением, и наконец увидел. Широко раскинув крылья, почти на краю улицы стоял снежный ангел. Над его головой светил голубоватый фонарь, и светлым, прозрачным был воздух вокруг.

Антон глядел вперед, потеряв из виду улицу и почти забыв, что где-то рядом с ним стоит девочка. Но сколько ни вглядывался, не мог различить на краю улицы земной предмет. Верно, там рос какой-нибудь куст, но разглядеть его никак не получалось.

Не выдержав, он быстрыми шагами пошел на край улицы. Ангел приближался, в его крыльях увиделись белоснежные крупные перья, а свет фонаря шел на него сбоку. Оказалось, ангел не стоял прямо под фонарем.

«Это же сосна просто!..» – выдохнул Антон и замедлил шаг.

Раскидистая, с густыми ветками, на просторе у дороги стояла молодая сосна. Она была выше человеческого роста и видела, что делается за забором дома, к которому росла ближе всего. У нее все иголки были облеплены снегом, так что ни зеленого, ни коричневого цвета совсем не было видно. Ветки клонились под тяжестью сырого снега, и казалось, что дивные перья медленно опускаются вниз. Еще секунда, другая – и ангел, подняв их, взмахнет крыльями и улетит.

Постояв у сосны, Антон не спеша пошел назад. Когда он подошел к дому, то девочки там уже не было, а впереди по улице шел человек и рядом с ним – ребенок. Видимо, девочка с желтой лопаткой в руках ждала, пока мама выйдет к ней из дома.

Обернувшись, Антон посмотрел на сосну.

«И в самом деле, ангел!..» – подумал он спокойно, немного удивляясь своему минувшему волнению.

Он совсем позабыл, что вышел из дому, чтобы позвонить Наташе, своей девушке. И, зайдя на крыльцо, тут же вышел обратно на улицу.

Всё время разговора и сколько-то после у него внутри сохранялось что-то неясное. Оно то совсем исчезало, то появлялось ненавязчиво и тихо. Антон не смог бы определить это чувство каким-то конкретным словом. Ему было тепло, точно на истопленной печке, и почти что весело, как вечером на опушке у леса. Но наутро у него уже всё прошло.

...Этот вечер сохранился в памяти у Антона.

Потом он еще не раз приезжал к другу. Сосна росла на прежнем месте, с каждым годом всё более расправляя свои ветви. Но кроме дерева Антон в ней ничего не видел. Да и не пытался увидеть.

Ту девочку он больше не видел. В его памяти она со временем стала представляться почти выдуманным, несуществующим человечком. А потом и вовсе чуть не соединилась с ангелом, которого он когда-то видел. И этот неясный образ жил у него внутри мягкостью свежего снега и светом, залившим всю округу и шедшим то ли от фонаря, то ли еще откуда. Это был мягкий, яркий и теплый свет...

Этот образ почти никогда не показывался Антону. Только иногда, когда он ходил гулять со своей маленькой дочерью или играл с ней, он вдруг замечал в ее глазах яркие лучики. Лучики быстро вспыхивали, исчезали, проливаясь счастливой улыбкой на ее лице, и девочка смеялась. Антон улыбался ей в ответ, на секунды задумываясь, будто что-то вспоминая.

МИНИАТЮРЫ О ПРИРОДЕ

В январе

Растущая луна освещала ночь мягким светом. От этого света снег казался серым, а весь пейзаж – черно-белым. Яблоня, ветки малины, теплица, стены беседки, забор, а за ним молодые сосны были молчаливыми лицами этого тихого пейзажа.

В тени беседки у двери заledenела лужа. В ней следы, оставленные днем человеком, рыбками выплывали из снежной воды. Они пристыли, замерли каждая в своем движении: кто-то повернув крупную голову, кто-то вильнув легким хвостом, оставленным пяткой подошвы.

Те рыбки, что только смогли высунуть головы из лужи или выбрались на снег и не успели далеко отплыть, были жирными и упитанными. А те, что смогли уплыть дальше, были сухие, мало напитаны водой и белели, почти совсем растворяясь в снегу.

Рыбки были гладкими, у них не было чешуи. Луна серебрила снег, по которому они плыли, и тот мелко и часто мерцал белым. Редко в его мерцании встречались красные, синие и зеленые крохотные искры. Как они смогли попасть сюда из цветного мира? Они казались инопланетными вкраплениями среди серых лунных красок.

На снегу чуть заметной железной сеткой от забора лежала тень. Столбы и перекладины забора были раскиданы на снегу толстой узловатой веревкой, к которой была приделана сетка.

Рыбки плыли к этой сетке, словно хотели попасть в нее, как в настоящую рыболовную сеть. Они не боялись кошки, в чьих следах была вся тропка у лужи. Но их прихватил мороз, и рыбки остались в снежно-лунном море.

В это же время по чистому небу пролетала птица. Огромным крылом перистых облаков она закрывала небо, едва касаясь луны. Тело птицы было за горизонтом, а второе крыло расправилось там, где еще только начинался вечер.

Птица принесла с собой тихую ночь, без вьюги, ветра, со слабым морозом и скромными звездами, мерцающими из-под ее крыла. Всё это было после оттепели в январе.

Кленовый лист

Кленовый лист оторвался от ветки и изнанкой лег на спокойную поверхность озера. Лист словно прислонился к остывшей воде своей желтой ладошкой, приподнял резные концы над водой и будто заозирался по сторонам, как озирается ребенок, вдруг зашедший в незнакомое место.

Это был один из первых листьев, упавших с клена. Он до того был ярок и чист, что казалось, его обронил в воду не клен, а солнечный луч. И вот как это вышло. Пробираясь сквозь ветки деревьев, луч падал на кору деревьев. На коре в ясную погоду было всегда много солнечных

бликов, и один из них – резной и особенно желтый – оторвался от шершавой поверхности коры и тонким солнечным слитком упал в воду.

В это мгновение началась листопадная осень. Она пришла тихо и беззвучно, в полном безветрии сентябрьских дней. Ее приход никто не заметил. И мальчишка, бросавший в воду мелкие, красноватые – словно недоспелая вишня – яблочки, не увидел ее. Он палкой разгонял ивовые листья, которые, падая в воду, сбивались в кучки, теснились друг на дружку, прибивались к поросшему длинной редкой травой бережку и пытались выбраться на сушу. Листья эти были похожи на причалившие к берегу старые лодки, окончившие свое маленькое путешествие. От них не веяло осенью. Ивы всё лето сыпали листья в воду, и никто на них не обращал внимания.

Кленовый лист медленно уплывал от берега. Родники, питавшие озеро, несли его по невидимым глазу дорожкам. Над ним пролетали стрекозы, жуки и всякая мошकारа, под ним – караси и окуни, добывая пропитание, сновали туда-сюда.

Ночью пошел холодный дождь, и ветер, словно одичавший, стал охапками срывать с веток листву и разбрасывать ее повсюду. Лишь к утру, окутанному в морось, всё стихло. Озеро было устлано желтой листвой. И нельзя было найти в этом плавающем ковре тот лист, с которого начался листопад.

Яблоки под снегом

Сад был засыпан снегом. В зимнем убранстве он был особенно молчалив и тих. Тишины было так много, что невольно получалось дышать реже и не вдыхать глубоко ноябрьского воздуха. Казалось, что в этой тишине можно было утонуть. Мягкий хруст заледеневшей корки на снегу – след минувшей оттепели – был единственным звуком тревожившим тишину. Но этот звук удивительным образом гармонировал с тишиной. Это точно уходила осень, плутая меж темных шершавых стволов деревьев.

Когда еще не лег снег и не все облетели листья, редкие некрупные яблочки висели на ветках. Они висели высоко, будто дразнили своим свежим зеленым цветом кожуры. Хотелось сорвать их и съесть...

Куда они делись? Наверное, упали с веток в одну из темных ветреных ночей и теперь лежат под снегом перемороженные...

Сделанные машинально, в задумчивости, шаги разворошили снег, под которым нашлось яблоко. А потом еще одно и еще... Целые, не тронутые морозом, яблоки были пересыпаны снегом, точно лежали ни на земле в саду, а в бочке с опилками. Их зеленая кожа смотрелась на снегу так, как смотрятся молодые ростки первоцветов, пробивающиеся сквозь крупитчатые остатки снега по весне. Ледяные, от них ломило зубы, как от родниковой воды, а сочная сладость напоминала дождливое прохладное лето.

Эти яблоки были гостинцем, который случайно оставила осень и так же случайно сохранила рано наступившая зима. Скоро карманы куртки были полны яблок. Пальцы рук покраснели, замерзли, и скорее хотелось надеть варежки. Это был осенний сорт, без названия, который не хранится долго, быстро теряет хрусткость и вкус. Нужно было съедать яблоки, пока кожа на них не съежилась, не потемнела.

...так закончилась эта осень. К вечеру промозглый воздух заполонил снег. Верно, он засыпал следы в саду. А на столе – на тарелке – лежали яблоки. Свежие, зеленые, словно только что сорванные с ветки, а не найденные под снегом.

Поэзия

Дмитрий УНЖАКОВ

Родился в 1963 году в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова. Был участником нижегородских литературных объединений «Крылья», «Струна», «Марафон», «Среда». Автор поэтической книги «Над городом живут...» Публиковался в журналах «Урал», «Нижний Новгород», альманахах «Urbі», «Золотой век», в антологии «Городское кольцо» (Н. Новгород: «Книги», 2024).

Живёт в Нижнем Новгороде.

БЕЗДОМНЫЙ ОГОНЬ

* * *

Лежат собаки на снегу,
согнувшись спинами в дугу,
и морды тянут, греются,
как будто солнцем бреются.
И я, как эта свора,
пригрелся у забора —
питаюсь солнцем...
А февраль,
он тот ещё свистун и враль...
Но всё же
толика тепла
меня на миг спасла.

* * *

Это было наяву:
речка сонная дымилась,
звёзды сыпались в траву —
ничего не изменилось.

Был туман белей, чем мел,
медвежонок волновался...
Может, кто и потускнел —
мир сияющим остался.

Может, это и обман,
ерунда, но как-то всё же
лучше, если сквозь туман
медвежонка слышит ёжик.

* * *

В покрытом инеем саду
струя – парит, трава – седая;
дрожу от холода и жду,
а всё звезда не выпадает –

как будто бы и вправду путь
осветит,
выпорхнув, жар-птица
и силы даст перемениться
чему-нибудь... когда-нибудь...

Ключик

Я потерялся, словно ключик
от неприметной с виду двери.
Наверно, знает лунный лучик
об этой маленькой потере.

Теперь в друзьях моих картинки
какой-то загородной свалки:
вчерашний мусор, пепелинки
да растревоженные галки.

И бомжик полусумасшедший,
в тряпье копаясь и картоне,
меня нечаянно нашедший,
во сне мучительно застонет.

Ёлка

Жизнь на излёте января –
Уже разряженная ёлка:
Ещё фонарики горят,
Но им мигать совсем недолго.

И словно ты чего-то ждёшь,
Пока коробки не убрали...
А как переливался «дождь»,
А как шары её мерцали!

Исчез торжественный наряд,
И на полу иголки с веток.
Лишь напоследок... напоследок...
Ещё фонарики горят.

Заноза

поёт о чём-то напролёт
наполовину запись стёрта
какого чёрта там поёт
поёт о чём какого чёрта

поёт не видно кто и где
хоть никакого в этом проку
но где-то рядом где-то сбоку
всё плачет кто-то на дуде

и время такая и ноя
под эту грустную дуду
переливается в иное
себя теряя на ходу

Не поверил

Он себе не поверил –
не решился, не смог;
развернулся у двери,
не шагнув за порог.
Прячась под одеялом,
умирал от стыда...
А за дверью упала,
чиркнув спичкой, звезда,
та – заветная – в ворох
рыжих листьев под куст,
и судьба без которой,
как без соли на вкус.

* * *

Нарисованные домики
отодвинуть ночь пытаются...
Проживающие гномики
мандаринами питаются.

И пока они питаются,
время в косы заплетается,
зависает и не движется,
а в окошке кошка лижется.

И пока она там нежится,
мандаринкой месяц режется –
переулкам адресованный,
зреет месяц нарисованный.

И пока он проясняется
под опекой строгой кошкиной,
смерть сама себя стесняется
возле домиков с окошками.

* * *

Дождь прибавляет звук.
В него глядится кошка.
Он в стыках, как бамбук,
и он – тысяченожка.

Чуть наискось идя,
как под откос составы,
ломаются дождя
прозрачные суставы.

А город – как в кольце
сияние алмаза.
Он слушает концерт
грозы – он город-ваза,

где гроздью гром повис,
и децибелов доза
бодрит, когда на бис
молниеносна роза.

Штиль

Вот веточка упала в полный штиль,
поэт её вниманием почтил –
она, как он, – живая, но почти, –
отсечена, но плотью ощущает,
что время ей уже не докучает
назойливостью галок и ворон,
что выпала она из жизни крон
и целый миг пылится и сучает...
Её – ещё зелёные – листья
уже пусты без чувства высоты.

Бездомный огонь

Церковь прячется в облака.
За дождём чуть видны кресты.
И бегущей строкой река,
И слова её так просты.

Оборвётся струной душа.
Будет ветер трепать листья
Старой книги, травой шурша,
И слова её так просты:

Сядет молния на ладонь,
Словно бабочка на цветок,
И бездомный сойдёт огонь,
Чтобы здесь погостить чуток.

Константин КОМАРОВ

Родился в 1988 году в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук, специалист по творчеству Владимира Маяковского, поэзии Серебряного века, современной литературе.

Как поэт и литературный критик публиковался в журналах «Дружба народов», «Нижний Новгород», «Урал», «Звезда», «Нева», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Дети Ра» и других. Автор нескольких книг стихов и сборников литературно-критических статей.

Лауреат премии «Восхождение», а также премий журналов «Нева», «Урал», «Вопросы литературы». Постоянный участник Форума молодых писателей «Липки».

Член Союза российских писателей. Живет в Липецке.

ОСТАВАЙСЯ ЗДЕСЬ

* * *

Белее боли, но не более,
мороз болтается в окне.
Сравнение тебе любое ли
пойдёт, забывший обо мне?

Нет, не любое, но правдивое –
с тем, чтоб, в ковёр уйдя по грудь,
с метафор пятнышки родимые
невинной строчкой скovyрнуть

и дальше развлекаться стансами,
по Блоку, невпробудь, греша.
Кому уйти, а мне остаться ли –
есть те, кто за других решат.

Но в хлопьях мелового выдоха,
в расплаве зимних микросхем
я вижу, как ты за ночь вымахал –
не отвернувшийся совсем.

* * *

Куда-то исчезает вся решимость
судьбу перекроить на новый крой,
когда под щётки траурным нажимом
из дёсен льётся утренняя кровь.

И ты, от гнёта влажного давленья
стремясь освободиться поскорей,
сам у себя выходишь из доверья,
как из закрытых наглухо дверей,

не успевая даже удивиться,
что в хватке коридоровых клешней
скрипение обычной половицы
насилия половецкого страшней.

Как будто пьяный дворник двухметровый,
освоивший немало злых метод,
огромной металлической метлою
твой тротуарный мозг всюю метёт.

Ты движешься, хромая по хоромам
автобусных гниющих животов,
и каждому знакомому харону
пугливо отвечаешь: «Не готов».

И, ослеплённый темнотой ребристой,
спускаешься в корявую кровать,
где простынь тихо ждёт тебя, как пристань,
к которой не пристало приставать.

Но и смирясь с сей фабулою жалкой,
качая головою, как ковыль,
не выбьешь ни под пыткой, ни под палкой
из снов ковровых – золотую пыль.

И засыпая (тяжело, не сразу),
уйти готовясь в праведный разнос,
услышишь вдруг напутственную фразу,
пока её никто не произнёс.

* * *

В ночи пытаюсь бессюжетной
нащупать слабый голос свой,
её ты ощущаешь жертвой,
своей добычей и жратвой.

Но лишь она тебя отринет,
уронит, как последний грош,
в гортани запершит гордыня,
в картавых пальцах вспыхнет дрожь.

А что уловит слух открытый –
извечный слепоты сатрап –
секундных стрелок хруст артритный
и часовых надрывный храп

да ветра хриплые тирады
(что, как деревья, гнёт понты)

о неразрывности триады
мечты, тоски и немоты.

И лишний, словно грустный леший,
способный вызвать смех и страх,
рассвет придёт, вишнёвый внешне
и обезвоженный внутри.

И ты, поевши никотина,
ночную поумерив прыть,
опять помыслишь негативно
о перспективе говорить –

за полной атрофией речи,
которая теперь черна.

И вечер наступает резче
и тяжелее, чем вчера.

* * *

Есть бытие – не сущее,
рассеянное в дым.
Есть бытие несущее,
где ты любим любим;

где мечутся, как дафнии,
кормя слепой восторг,
вспоминанья давние
и сердца пуст острог;

где прозреваешь порознь
партнёра и патрон,
где молодеет поросль –
бумагою в картон;

где ты передвигаешься
в единственном числе:
сперва – навроде дайвинга,
а после – на осле;

где слёзы сходят дробные
последней похвалой,
где рыба пахнет рёбрами,
а плаха – пахлавой;

где дождь мешает в кашницу
сухого снега смесь.

И если там окажешься,
то оставайся здесь.

Олег ЗАХАРОВ

Родился в 1961 году в селе Новоликееве Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы. Учредитель и главный редактор издательского дома «Земляки».

Поэт, публицист. Автор книг «Кстохмы» (2006), «Нежданный гость» (2011), «Иронист.ру» (2016), «Есть повод!» (2016). Лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 2007 и 2012 годов. Призер международного литературного конкурса «Жизнь прекрасна!» (г. Аахен, Германия). Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси», литературной премии Нижегородской области им. А.М. Горького.

Председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России. Живет в Кстове.

ЧТОБ ЛЕРМОНТОВ В ГРОБУ ПЕРЕВОРА...

Сила пушкинского слова

Сокрушить под Львовом где-то
Собрались в недобрый час
Бюст великого поэта
Петр, Мыкола и Тарас.

Взяли лом с собой, веревку
И в порыве злобных чувств,
Обернув верёвкой ловко,
С постамента тянут бюст.

Тут, считай, конец рассказа.
Покачнулся бюст.
Летит...
Петр с Тарасом насмерть сразу,
Кум поныне инвалид.

Всем хочу напомнить снова,
Сколь крепка доселе всё ж
Сила пушкинского слова –
Аж костей не соберёшь!

Современные поэты

*И к полке книжной подошёл
И с полки снял поэта...*

Александр Ковалёв, Санкт-Петербург

Какой-то внутренний сигнал
В душе моей раздался,

И я поэта с полки снял,
Хоть он сопротивлялся.

Второй хотел сбежать под стол.
А третьего поэта
Я в холодильнике нашёл –
Он ел мою котлету.

Двоих я вынул из туфли,
Троих – из-под газеты.
Нет, всё же мелкие пошли
В стране у нас поэты!

Письмо другу

*Дай руку пожму, ты такое, старик, написал,
Такое затронул... такие, короче, глубины...
...Ты сам сочинил? Не, ты правда все сам накатал?
Да верю, чего ты, я просто признаться, блин, в шоке...*

Лев Козовский, Москва

Здорово, чувак!
Не поверишь – растрогало очень,
Глубины задело,
Когда твою книжку читал.
Ну ты и башка!
Чумовó, блин!
Я в шоке, короче!
Скачал в интернете?
Неужто всё сам накатал?

Респект с уважухой!
В натуре, ты истинный Пушкин!
А я-то, прикинь! –
В этой теме совсем ни бельмес.
Ну ладно, покуда!
До встречи, братан, на опушке.
Патроны купил я вчера,
Не волнуйся.
Дантес.

Счастье

*Какое счастье – разлюбить!
Забыть бессмысленную муку.
Как будто сломанную руку
В ручей холодный опустить.*

Игорь Шкляровский, Москва

Не знал я счастья – только муку,
Терпел жену что было сил.

Однажды сломанную руку
В ручей холодный опустил.

Вот это счастье, кто не знает!
С супругой мы теперь вничью.
Она суставы мне ломает,
А я к ручью...

Оставь надежды

*Жизнь моя – одна литература...
Живы будем, да ведь, вивисектор?!
Что не dokonает редактора,
То добьёт внимательный корректор.*

Дмитрий Мурзин, Кемерово

Тут и правда повод есть для грусти –
Путь поэта сложен и тернист –
Если вдруг корректор что пропустит,
Точно dokonает пародист.

На смерть Лермонтова

*Писал он здесь своё «Бородино».
Стихотворенье славное. Оно
Армейской песней стало при царе,
При демократах слышу песню ре...*

Алексей Любегин, Санкт-Петербург

Скрипит всё ре... поэтово перо,
В стихах слова становятся коро...
Вот и настала грустная пора,
Чтоб Лермонтов в гробу перевора...

Хватились меня

*Но среди поседевшего мрака,
Где ни возгласа и ни огня,
Что-то ухнет... Залает собака...
Может, это хватились меня?*

Анатолий Аврутин, Минск

Не ведут заключенных к обеду.
Встрепенулась тревога, звеня,
И собаку пустили по следу.
Может, это хватились меня?

Муж вернулся – ревнивец и демон –
В середине рабочего дня.

Он кричит: «Я убью его! Где он!»
 Может, это хватились меня?

Чья-то женщина – ночью, вестимо,
 Заявила, супруга кляня:
 «Как вернется, получит, скотина!»
 Может, это хватились меня?

Заревела кассирша белугой,
 В покупателях кровь леденя:
 «Вот он! Вот он! Держите ворюгу!»
 Может, это хватились меня?

Раздавали награды поэтам,
 За талант их достойно ценя.
 Но как раз почему-то при этом,
 Как назло, не хватились меня!

Стихия и любовь

*К чему слова? Я больше не вернусь.
 Ложится тень на наши поцелуи...*

Анатолий Лебедев, Екатеринбург

Уже я не вернусь к тебе, мой друг,
 Не допущу ещё одной промашки.
 Накрыла тень касанье наших рук,
 Задудло ветром наши обнимашки.

Я ухожу. Запри за мною дверь.
 Метелью гасит искру между нами.
 А поцелуи? Где они теперь?
 Их смыло разрушительным цунами!

Нам чувства иссушил палящий зной,
 Седой мороз сковал сердцебиенье.
 На наши те гулянья под луной
 Упали аварийные деревья...

Нас некогда связующую нить
 Стихия рвёт без всяких сантиментов!
 ...И в этот час как можешь говорить
 Ты о каких-то пошлых алиментах!?

Почва и судьба

Павел БАСИНСКИЙ

Родился в 1961 году в городе Фролове Волгоградской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Литературовед, критик, прозаик. Составитель сборников произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина; антологий «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.», «Проза второй половины XX века», «Русская лирика XIX века». Автор многих книг, в том числе «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму» (2011), «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой» (2013), «Лев в тени Льва» (2015), «Лев Толстой – свободный человек» (2016).

Лауреат премии «Большая книга» (2010), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2014), Государственной премии в области литературы и искусства (2018), премии имени А.И. Герцена (2020). Автор текста «Тотального диктанта» 2019 года.

Живет в Москве.

КОТОЧКА: ОРЛОВСКОЕ ДЕТСТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА*

Два Андреевых

В обстоятельствах рождения и первых лет жизни Леонида Николаевича Андреева (1871–1919) ничто не предвещало, что этот обычный мальчик, родившийся в орловской мещанской семье, в будущем станет автором рассказов «Бездна», «Стена», «Тьма», «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», незаконченного романа «Дневник Сатаны» и других ужасных текстов, о которых Лев Толстой в беседе с Максимом Горьким будто бы сказал: «Он пугает, а мне не страшно».

Современная Андрееву критика назовет его произведения «отравленной литературой», будет именовать его «Великим инквизитором», обвинять в аморальности и порнографии. Корней Чуковский соберет целый словарь критических определений его творчества и самой его личности, расположив их в алфавитном порядке. Приведем самые «яркие» из них: *Абракадабра, Белиберда, Вызывает тошноту, Грязная лужа полового извращения, Дегенерат, Жалкий отщепенец, Загаживает человеческую душу, Изувер, Кошунство, Ложь, Мерзкий человек, Набор наигнуснейших слов, Осатанелость, Порнограф, Разбойник пера, Смердящее дыхание пошлости, Упадочная глупость, Фальшивые бриллианты, Хулиган, Циник, Шарлатан.*

* Глава из книги «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо».

Можно смело утверждать, что ни один из русских писателей не удостоился такой роскошной коллекции критической брани. Но, возможно, и ни один русский автор не имеет такой сплоченной группы преданных поклонников, *леонидандреевцев*. Особенно в среде начинающих писателей, которые «аукаются» его именем как творческим паролем.

...Леонид Андреев родился в хорошей семье. И как во всех семьях, в ней были счастливые и несчастливые дни, светлые и мрачные периоды. Но что неизменно отличало эту семью, так это сердечное отношение ее членов друг к другу. Сошлемся на мнение относительно стороннего человека. «Глубокая привязанность сердца – родовая черта андреевской семьи», – вспоминала невестка писателя, жена его брата Павла Анна Ивановна Андреева.

Эта привязанность сохранялась на всем протяжении жизни Андреевых, в бедности и богатстве, прозябании и славе. И сам Леонид Николаевич не был в этой дружной семье исключением. Мать, сестер, братьев он всегда нежно любил и заботился о них.

Вообще Андреева, в отличие от многих творческих личностей, невозможно представить *без семьи*, без постоянного окружения родных людей. Рядом с ним почти всегда кто-то из близких родственников находился. Только однажды он оказался в одиночестве, без близости родни. Это было в начале 90-х годов в Петербурге во время учебы в университете. И этот короткий, чуть больше года, период его жизни стал для него мучительным. Он закончился бегством в Москву и воссоединением с семьей в одной городской квартире.

Как так случилось, что из орловско-московского домоседа, не мыслящего своих будней без самовара на общем столе (этот самовар его мама, Анастасия Николаевна, привезла ему даже на Капри, и можно вообразить, как этот пузатый тульский самовар путешествовал через половину Европы, а затем морем на экзотический остров), получился бунтарь и ненавистник мещанства во всех проявлениях... кроме, получается, самовара?

Андреев хорошо знал силу привычки. В письме литератору Е.Л. Бернштейну он признался: «Вы правы: я жестокий обыватель. Мне нужен хороший обед, и сон после обеда, и многое другое, без чего прекрасно обходится тот же Горький, отрицающий обывательщину не только мыслью, но и жизнью своею...»

«Было очень много Андреевых, и каждый был настоящий», – писал Корней Чуковский.

Попробуем в них разобраться...

Турчонок

Ранние рассказы Леонида Андреева появляются в конце 90-х годов позапрошлого века, а первая слава приходит в начале 1900-х годов, на заре XX столетия. Это эпоха Серебряного века, или «рубежа веков».

Но не стоит забывать, что детские годы писателя приходятся на начало 70-х годов. Он родился в Орле 9 (21 нового стиля) августа 1871 года. Что такое 1871 год в русской и мировой истории?

В этом году из самых заметных соотечественников Андреева родились будущий религиозный философ Сергей Булгаков, будущий композитор Александр Скрябин и будущий фабрикант-миллионер

Павел Рябушинский. Из иностранных писателей появились на свет Генрих Манн, Марсель Пруст, Теодор Драйзер и Поль Валери. Из скорбных российских дат: скончались декабристы Михаил Бестужев и Николай Тургенев, собиратель русских народных сказок Александр Афанасьев и писатель-народник Федор Решетников – автор повести «Подлиповцы».

В мировой жизни 1871 год очень важен для Европы. В этом году окончательным разгромом французской армии и взятием Парижа закончилась двухлетняя франко-прусская война и появилась объединенная Германская империя. В этой войне погибло более 100 тысяч солдат и офицеров, были убиты почти 800 тысяч мирных жителей, в основном французов. Выяснение отношений между императором Наполеоном III и королем Вильгельмом вылилось в чудовищную межнациональную резню.

В этом же году было официально провозглашено объединение Италии (Рисорджименто) в королевство со столицей в Риме.

Таким образом на карте Европы возникли сразу два новых государства.

А в средней полосе России царили тишь и гладь. Некоторые военные события происходили на самой дальней юго-восточной окраине империи, в Туркестане – поход генерал-лейтенанта Герасима Колпаковского и взятие Илийского края, через десять лет поделенного между Россией и Китаем в пропорции 20 % – России, 80 % – Китаю.

Страной правил Александр II – освободитель и реформатор. Ко времени рождения будущего писателя основные реформы уже были объявлены – отмена крепостного права, земская, судебная и финансовые реформы и реформа высшего образования. Близилась к завершению и военная реформа, закончившаяся введением всеобщей воинской обязанности, уравнивавшей все сословия Российской империи от крестьянских до дворянских сынов.

Итак, Андреев родился в Орле. С Орловским краем связаны имена Тургенева, Тютчева, Фета, Бунина, Пришвина... Но именно Орловским краем, а не самим городом. Настоящими гражданами Орла могли считать себя только Николай Лесков и Леонид Андреев, детство, отрочество и ранняя молодость которых прошли в этом городе, основанном еще Иваном Грозным как крепость от набегов кочевников и в 1778 году по указу Екатерины Великой ставшем губернским центром.

Андреев любил родной город. Мыкаясь бедным студентом сначала в Петербурге, а затем в Москве, он на летние каникулы всегда приезжал в Орел, чтобы отдохнуть душой.

Орлу посвящены многие страницы андреевской прозы и драматургии. В качестве примера приведем один отрывок из фельетона, напечатанного в московской газете «Курьер» за 1900 год с выразительным заголовком «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», повторяющим название пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена:

Давно это было, давно. Я жил в городе, в котором есть природа, и отсюда понятно, что город этот не был Москвой. В том городе были широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно-недвижим, как отдыхающий турок; зимой его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертво-прекрасного. Он высокими белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город. Точно

с перелетными птицами улетали все звуки на юг, и когда двое людей встречались и разговаривали на улице, голоса их звучали так одиноко и странно...

Мертвенно-тихо было в том городе, где лежал белый снег. Жизнь замирала в занесенных снегом домах, и когда я утром выходил на улицу, мне чудилось, что весь мир окован безмолвием, и до самой дальней линии, где белое небо сходилось с белой землей, не встречал слух препятствий. Казалось, стоит вслушаться внимательнее, и ухо может уловить то, что говорится на другой стороне земного шара. И только раза три в день нарушалась эта мертвая тишина. Один за другим медленно и спокойно выплывали из белой дали звуки церковного колокола, одиноко проносились в немом пространстве и быстро угасали без отзвука, без тени. И я любил слушать их в вечерний сумеречный час, когда ночь тихо прокрадывалась в углы и с мягкой нежностью обнимала землю. Дерево, бывшее в двух шагах от меня, было видно еще отчетливее и яснее, чем днем, но уже тотчас за ним начиналась тьма, призраками делала следующие деревья, а в окне уже горел спокойный теплый огонь, и звуки один за другим одиноко падали на землю и быстро, без тени и содроганий, угасали. И я старался понять значение и смысл таинственных звуков, и мое ребячье сердце видело в них ответ на что-то такое, что еще не ясно было мне самому, что еще только зарождалось в глубинах души.

В этой нежной лирической прозе, кажется, невозможно угадать будущего автора провокационной «Бездны», «экспрессионистской» «Стены» и «святотатственной» «Жизни Василия Фивейского». Это какой-то другой Леонид Андреев, которого он сам в какой-то момент своей жизни потерял.

Но внимательный глаз заметит, что здесь трижды повторяется эпитет, связанный со смертью: *мертвенно-прекрасный, мертвенно-тихий, мертвая тишина*. И белый снег вдруг оказывается саваном, а колокольный звон звучит совсем не радостно, как и разговор двух людей на улице, звучащий *одиноко и странно*, словно они встретились в мертвом городе...

Но за что точно должен зацепиться глаз, так это за непонятно откуда взявшегося *отдыхающего турка*.

Что он забыл в Орле? И почему о нем вспоминает Андреев, никогда в своей жизни не бывавший в Турции и вообще нигде на Востоке?

После Русско-турецкой войны 1877–1878 годов в плену у русских еще находилось свыше 100 тысяч турецких солдат и офицеров. Часть из них размещали в лагерях на юге средней полосы России, в том числе в Тульской и Орловской губерниях.

В биографии Льва Толстого, написанной Павлом Бирюковым, рассказывается, как летом 1877 года писатель и бывший участник Крымской войны встречался с пленными турками: «В Тулу, как и в другие города, стали приходить пленные турки. Л. Н-ч ездил к пленным, помещавшимся на окраине Тулы, на бывшем сахарном заводе. Помещение и содержание их было сносно, но Л. Н-ча интересовало больше всего их душевное состояние, и он спросил, есть ли у них Коран и кто мулла, и тогда они окружили его, завязалась беседа, и оказалось, что у всякого есть Коран в сумочке. Л. Н-ча это очень поразило».

И вот примерно в это же время с пленными турками встречался и Леонид Андреев.

Было мне тогда всего семь лет. Был я постоянно сосредоточен и важен, черен, как сапожное голенище, и дик, как волчонок. Повела меня мать раз в город, туюрок посмотреть. У одних ворот – я и посейчас помню эти ворота – стояла целая

кучка их. Увидели они меня и, как рассказывает мать, пришли в великий восторг. Ухватили на руки, целуют, передают друг другу и лопочат что-то по-своему, один гладит по голове, другой стал передо мной на корточки, не налюбуется на меня; потом обратились к матери, говорят ей, должно быть, что вот и у них дома такие остались, и руками от земли показывают. Я в свою очередь несколько не потерялся и, с самым важным и невозмутимым видом, принимал их ласки, как будто оно так и быть должно. Одним словом, никогда в жизни не имел я такого успеха у людей – и никогда не доставлял им столько счастья, как в тот момент, среди оторванных от семьи и всего родного, заброшенных на далекую чужбину турок. Дома потом смеялись над этим и называли меня турчком.

Это цитата из дневника Андреева 1897 года. Об этой встрече он помнил целых двадцать лет и описал ее так, словно это происходило с ним вчера. В книге о Леониде Андрееве Василия Брусянина 1912 года также приводится его слова-воспоминание о детстве: «Меня особенно любили пленные турки».

Во внешности Андреева в зрелые годы, жгучего брюнета, черноглазого, с усами и крупным, с горбинкой носом, несомненно присутствовали восточные черты. Думается, окажись он в Турции, легко мог бы сойти за соплеменника. Недаром газетные и журнальные карикатуристы всегда изображали его с гипертрофированно восточными, «турецкими» чертами лица.

Древо жизни

Род Леонида Андреева не имел «ветвистого древа». Родословная по линии отца обрывается уже на деде, личность которого, впрочем, вызывает много вопросов.

«В семье Андреевых всегда были убеждены в дворянском происхождении отца Леонида – Николая Ивановича», – сообщает биограф писателя Наталья Скороход. Однако во всех официальных документах в графе о происхождении Андреев писал: «из мещан».

По семейной легенде, его отец был незаконным сыном орловского помещика и предводителя дворянства Карпова. Этот Карпов, как утверждает Андреев в дневнике, «погиб от своей излишней склонности к женщинам, одной из которых, Барышниковой, своей брошенной любовницей, он был отравлен».

История его связи с моей бабушкой проста: он был помещик, она крепостная девушка-красавица, она ему понравилась, и через девять месяцев на свет явился мой отец. Впрочем, как говорят, он очень любил бабушку, и даже собирался жениться, да судьба, как водится, помешала: ради поправления своих расстроенных финансов и поддержания дворянской чести ему пришлось жениться на каком-то уроде, всё достоинство которого состояло в ста тысячах приданого. Бабушку для очистки совести выдал за какого-то сапожника и, давши отцу кое-какое образование, умер.

В этой дневниковой записи смущают две вещи.

Первое: этот дневник писался, когда молодой Андреев, красавец, но едва ли не нищий, сам имел «излишнюю склонность к женщинам» и пускался во все тяжкие. Получив отказ от Надежды Антоновой, он находился в активном поиске другой невесты. Среди множества девушек и женщин, которых он упоминает в своем дневнике, называются такие, что обладали приличным состоянием. «...Меня любит другая, очень

достойная девица, предлагающая вместе с своей рукой 1 000 000 рублей денег», – не без хвастовства пишет он. В другой записи фигурирует некая М. Шершакова: «возьми меня и 70 000 моего приданого». «На кой черт мне она и ее 70 000?» – пишет он. Интересно: почему о браке по расчету своего «биологического» деда он вспоминает именно в это время?

Второе. Откуда он знал столько подробностей из жизни этого Карпова? Он не был с ним знаком, никогда не был в его доме. При этом о семье его официального деда, «какого-то сапожника», в которой не только был воспитан, но *родился* его отец, мы не знаем почти ничего. И так же мы почти ничего не знаем о его жене – родной бабушке писателя. Мы знаем только, что она была крепостной и любовницей Карпова. Видимо, этими фактами и исчерпывались семейные предания. *Некий Карпов и какой-то сапожник.*

Скупое пишет об этой туманной истории Наталья Скороход: «Мать Николая – крепостную девку Глашу – якобы взял к себе в палаты богатый орловский помещик Карпов и, обрюхатив, выдал замуж за своего дворового Ивана Андреева, а после, как водится, отослал семью подальше от греха в город».

Геркулес Пушкарской слободы

Зато об отце писателя мы знаем много интересного. Это был очень живописный, истинно орловский характер.

Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книги, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужицко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе.

Эти строки из «Автобиографии» Леонида Андреева подтверждаются воспоминаниями его брата Павла Николаевича, но с существенными дополнениями:

Это был человек ясного и трезвого ума, сильной воли, большой честности и прямоты; был смел и обладал большой физической силой. Был чужд каких-либо мистических или религиозных настроений, – одним словом, это был человек жизни, той реальной жизни, которая требует ясного ума, сильной воли, а когда надо, то и физической силы. В жизни увлекался строительством. Он всю жизнь строил, перестраивал, пристраивал. В начале своей самостоятельной жизни был беден, к концу жизни если и не богат, то обладал во всяком случае большим достатком. В Орле имел большой дом с массой разного рода пристроек, как то: конюшен, амбаров, погребов для вин, птичников и пр. Жил он самой широкой и свободной жизнью, совершенно не считался с мнением общества. На своей Пушкарской улице был «царьком». Его уважали за честный и прямой характер, в то же время сильно побаивались его физической силы, которую не один пушкар испытал на себе. К тридцати годам он стал пить, пить запоем...

Строитель, любитель природы, страстный садовод, кулачный боец и запойный пьяница. Если к этому добавить, что по профессии Николай Иванович был скромным служащим орловского банка, то его личность представляется какой-то фантастической и скорее из мира литературы,

а не реальной жизни. Между тем он вполне органично вписывался в нравы бывшей Пушкарской слободы, где со времен Иван Грозного селились «пушкари» – артиллеристы, защищавшие крепость в случае набега. От этой слободы, в какое-то время утратившей свое значение, пошли и названия двух Пушкарных улиц – 1-й и 2-й.

«Мы все, орловские, проломленные головы», – говорит Цыганок в «Рассказе о семи повешенных».

В рассказе «Баргамот и Гараська», навеянном орловскими воспоминаниями, «проломленными головами» титулуются именно «пушкари», обитатели Пушкарных улиц.

Леонид стал первым ребенком в семье Андреевых, когда она еще снимала скромный флигель во дворе «тарусской мещанки» Анастасии Николаевны Ганышиной. В этом впоследствии сгоревшем флигеле и родилась будущая звезда литературы начала XX века. Но уже через три года его отец, тогда землемер-таксатор*, закончивший курсы при Орловской гимназии (возможно, как раз на деньги помещика Карпова), поступил на службу в Орловский городской общественный банк.

И тогда дела семьи пошли в гору.

На 2-й Пушкарной улице Николай Иванович приобрел участок земли с ветхим строением. Старое здание снесли, а на месте его построили деревянный дом на высоком фундаменте, в десять комнат, с фасадом с четырьмя окнами. Позади дома был разбит прекрасный сад.

Но на какие средства обычный служащий городского банка возвел эти «хоромы» и, по свидетельству его сына Леонида, проживал несколько тысяч рублей в год, имея своих лошадей?

В статье В.В. Морозова** о государственных банках России второй половины XIX века приводятся цифры ежегодных доходов их служащих на 1875 год:

Управляющий банком – 6000 руб.

Товарищ (заместитель) управляющего – 4 500 руб.

Директор – 3000 руб.

Главный кассир, бухгалтер и контролер – 2000 руб.

Управляющий конторой – 3000 руб.

Директор конторы – 2000 руб.

Старшие кассир, бухгалтер и контролер – 1500 руб.

Это весьма приличные жалования для того времени, тем более в провинциальном городе. До поступления в банк Николай Иванович в качестве служащего на железной дороге получал 15 рублей в месяц. К тому же, как пишет автор статьи, эти зарплаты «были во многом условными, так как руководство филиалов банка имело возможность производить доплаты разным чиновникам».

До середины 80-х годов Орловский городской общественный банк процветал. Его вкладчиками были городская казна и крупнейшие орловские купцы. Но в середине 80-х разразился скандал. По обвинению в подлогах и растратах оказались под судом и были сосланы в Сибирь некоторые члены правления банка. А вот его главный бухгалтер Николай Николаевич Пацковский, родной брат матери Андреева и шурин его отца, устроивший своего родственника в банк, был

* Таксатор — оценщик леса.

** Вестник СПбГУ. Сер. 2. Вып. 2. 2013.

оправдан. Ни он, ни его протеже в финансовых преступлениях участия не принимали.

Наверное, еще и за это уважали Николая Ивановича простые жители Пушкарных улиц, или пушкарки. За честность. И еще – за трудолюбие. Он вставал обычно в пять часов утра и все свободное от работы в банке время проводил в саду, ухаживая за многочисленными фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками.

Эту любовь к садовому хозяйству он прививал и детям. Например, он делал им своеобразные подарки. «Так, когда созревали ягоды и фрукты в его саду, – вспоминал Павел Андреев, – он дарил каждому из нас то по кусту смородины со зрелыми ягодами, то по вишневому дереву. Леониду же всегда дарил, как старшему, целое фруктовое дерево, с самыми лучшими и вкусными плодами. И с того дня уже никто не имел права пользоваться ягодами или фруктами с подаренного куста или дерева, кроме собственника».

В его поведении и привычках было немало эксцентрического и в то же время провинциального. «Во время дождя раздевался, уходил в сад, где и прогуливался по дорожкам полчаса, час, таким образом принимая дождевую ванну. Ходил всегда в красной рубашке, в черных, в сапоги, шароварах, а поверх – поддевка. На голове – картуз».

В красной рубашке изображен и Леонид Андреев на известном портрете кисти Ильи Репина 1905 года. А картуз на голове, сменяемый на зиму барашковой шапкой, был неизменным головным убором его молодости.

Второй страстью отца было строительство. В своем доме и на участке он что-то постоянно достраивал и переделывал и говорил, что когда прекратит строить, то умрет. «И действительно, так и случилось, – вспоминал Павел Андреев. – В тот год, когда он почему-то прекратил всякого рода стройки, – он умер».

Но главным образом Николая Ивановича уважали за его физическую силу, которая особенно ценилась среди пушкарей. О его геркулесовой мощи в Пушкарской слободе ходили легенды. «Силач был первый на всю слободу, – вспоминала его жена, мать Леонида, Анастасия Николаевна. – Когда мы только что поженились, накинула я шаль, иду по мосту, а я была недурненькая, ко мне и пристали двое каких-то... в военном. Николай Иванович увидел это, подошел неспешно, взял одного за шиворот, перекинул через мост и держит над водою... Тот барахтается, Николай Иванович никакого внимания. А я стою и апельцины кушаю».

Одной из забав пушкарей были кулачные бои. «В драке принимали участие до 100 человек, а то и более, – вспоминала сестра писателя Римма Андреева. – Драку обычно начинали мальчишки, и заканчивали ее уже взрослые. Отец из окон нашего дома любил смотреть на эти “турниры”, и часто, стоя вместе с ним, я взглядывала то на дерущихся, то на лицо отца. Постепенно его веселое лицо становилось все суровее. Наконец, он не выдерживал, отстранял меня и выходил на крыльцо. Иногда его появление прекращало бой, когда же это не оказывало должного впечатления, он врезывался в толпу дерущихся и своим личным вмешательством прекращал драку».

Леонид в этих драках не участвовал и вместе с отцом за ними не наблюдал. У него были другие игры, о чем расскажем позже. Но храбрость отца в кулачных переделках явно запечатлелась в его душе. Уже в зрелом возрасте Леонид в пьяном виде нередко лез драться, и даже с городовыми, за что попадал в участок. А его потасовка

с Александром Куприным на литературном вечере стала одним из самых громких публичных скандалов начала XX века. Он закончился «третейским судом» и бурно обсуждался в печати.

Пьянство отца... Как ни тяжела эта тема, не коснуться ее нельзя. Пьянство стало лейтмотивом жизни самого Леонида Андреева.

Современная научная медицина отрицает наследственный алкоголизм. Но, как следует из воспоминаний Горького, Андреев верил в свою генетическую предрасположенность к выпивке. «Ты вообще нехороший человек, – говорил он Горькому, – пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я – алкоголик».

По воспоминаниям Павла Андреева, Николай Иванович пил запоями. «Тогда всё в доме становилось вверх дном. Тащились из погребов вина, ведрами пиво, и весь дом наполнялся гостями, проводившими с ним пьяные и бессонные ночи».

В трезвом виде Николай Иванович был человеком добрым. Отправляясь в город, мог закупить слободским детям игрушки и раздавать их прямо на улице. Но когда глава семейства уходил в запой, в доме его все боялись. В том числе и Леонид. «Леонид его очень боялся», – вспоминала тетюшка писателя Зоя Николаевна Пацковская.

В пьяных выходках отца все же присутствовал какой-то народный юмор – смеховая, или «карнавальная», культура, о которой пишет в книге о Франсуа Рабле Михаил Бахтин, родившийся в Орле четверть века спустя после Леонида Андреева*. Ночью он мог зайти в комнату, где мертвецки спали пьяные гости и пришить их одежды к тюфякам или связать ноги веревками, потом разбудить каким-нибудь резким звуком и хохотать, глядя, как они убегают с тюфяками на спине или валяются на пол со связанными ногами.

Кстати, по воспоминаниям Риммы Андреевой, сообщником в этой забаве был и его старший сын Леонид.

Но пьяные выходки отца не всегда были шуточные, и за это его пытались наказать. «Случилось это так, – вспоминал Павел Андреев: – сидел он у себя в конторе за работой, когда кто-то вызвал его во двор. А когда отец вышел, на него разом набросилось около 10 человек, связали его веревками, отнесли в большую пустую комнату в том же доме, где и бросили, предварительно избив, – избив так сильно, что нижняя челюсть оказалась у него вывихнутой. Не знаю, сколько времени он там пролежал, но кончилось тем, что он выпутался из веревок, выломал дверь и наказал всех, так или иначе принимавших участие в его избиении. А вечером он был пьян и со смехом рассказывал, с каким ужасом все принимавшие и не принимавшие участие в его избиении бегали по темным закоулкам от него и прятались».

Отец умер рано, в 41 год, когда Леонид был в 6-м классе гимназии. Возможно, пьянство и было главной тому причиной. «И здесь он проявил высшую степень хладнокровия, – вспоминал Павел Андреев. – Случилось это во время работы в конторе. У него вдруг отнялась рука. Тогда другой, еще здоровой рукой он кладет больную на стол и просит всех присутствующих бить по ней. Бьют, щиплют, колят булавками – он не чувствует. Спокойно говорит: “Очевидно, пришел Кондратий” (кондрашка). А через полчаса уже был без сознания – удар поразил его

* Его дед, орловский купец Н.К. Бахтин, как раз проходил в суде над служащими орловского банка как обвиняемый в фальшивом банкротстве.

всего. Все же успели вызвать мать и Леонида, которому отец сказал, что так как теперь он остается старшим в семье, то все заботы о матери и всех нас он оставляет на него».

«По словам орловского старожила А.Г. Шиллера, – пишет биограф молодого Андреева Николай Фатов, – незадолго перед смертью Н.И. Андреев вышел на балкон и, протянув к себе ветвь вяза, свил ее наподобие венка. “Когда умру, положите мне этот венок на гроб”, – сказал он жене. Через несколько дней он умер. Жена спилила эту ветвь и положила ему на гроб в виде громадного венка».

Святое беспокойство

Мать писателя Анастасия Николаевна Андреева (в девичестве Пацковская) представляла собой полную противоположность его отцу. Возможно, поэтому личность Леонида словно распадается на две части. Человек недюжинной работоспособности, расчетливый в издательских делах, но склонный к запоям и скандалам, он в то же время вспоминался современниками как человек исключительно мягкий и добросердечный, отзывчивый на дружбу и к тому же природный фантазер, любитель схватывать на лету разные «истории» и талантливо развивать их.

Первая личность была от отца, вторая – от матери.

В семье ее называли Рыжиком, хотя рыжей она не была, обычная шатенка. Были и другие домашние прозвища: «Топтун-Шептун», «Рыжий дьявол», «Соломон с Горбатого моста». Они появлялись в зависимости от причуд ее поведения и менялись на протяжении всей ее жизни, неотделимой от жизни ее старшего сына. Сам Андреев говорил о ней: «святое беспокойство».

Мать сыграла в жизни писателя огромную и продолжительную роль. Причем роль исключительно благотворную.

Ее видели рядом с ним *всегда*. И когда они жили в бедности, и когда в богатстве. В Орле, в Москве, в Петербурге, за границей. На Капри и в Финляндии. И сама пережила его всего на два года, потому что без сына жизнь лишилась для нее смысла.

О происхождении Анастасии Николаевны мы знаем чуть больше, чем о родословной отца, но тоже мало и тоже в основном по семейным преданиям. В семье считалось, что она из обедневшего польского дворянского рода. Чуть ли не графского. Старший сын Андреева Вадим в своих воспоминаниях пишет, что брат бабушки Николай Николаевич Пацковский подумывал хлопотать о восстановлении графского титула, но отказался по причине слишком дорогой цены за услугу – 4 000 рублей.

Но в семье ее почему-то называли «поповной». Считалось, что она была дочерью православного священника. Но не очень вяжется с версией о польско-дворянской и, следовательно, католической родословной по отцу. Биографы Андреева Людмила Кен и Леонид Рогов предположили, что из семьи священника была мать Анастасии Николаевны. Ее отец-поляк женился на дочери русского попа, отсюда и пошло – «поповна». Это согласуется с тем, что Анастасия Николаевна была малограмотна и училась только в церковно-приходской школе. Она писала с чудовищными грамматическими ошибками.

Вот отрывок из ее позднего письма из Финляндии своей родственнице Софье Дмитриевне Пановой:

Милоя моя Соничка

прасти что долга тебя неписола приехоли мы хорошо дома всех зо-столи здоровыми неделя прашила не зометна а потом была горя Лену-ша очень сильна прастудился так что боялись что б небола восполе-нья легких бронхит уже ночолся неделю была температура 39 и 4 деся и утром и вечером сночола его лечил доктор здешний и потом привизли с петербурга которой ночевола у нос успокойл что восполенья легких нет и не будить но конечно радости нашей конца не бола но выздоровления его идеть очень скверно вот уже больши недели кок он встол чувст-вуйть себя очень не хорошо нервы слобость опять был Доктор теперь он сейчос в петербурги только что он встол это была понедельник как наша Анно ильйнешина обявила что она чувствуйть себя не хорошо...

Замечательно, что в этом письме, где нет почти ни одного грамотно написанного слова, ни одного знака препинания и ни одной прописной буквы в начале предложения, прекрасно передана атмосфера дома, где все вдруг разболелись.

Этот талант матери не без юмора признавал и ее старший сын. В письмах к ней он любил подшучивать над ее неграмотностью, но в то же время ценил литературное своеобразие ее «крючочек».

Вот его письмо матери из Вамельсуу во время одной из нечастых разлук с ней:

Светлейший мой рыжикончик!

Твои письма – образец вместительности. При полном отсутствии знаков препинания слог твой краток, силен и в то же время богат подробностями и чисто стилистическими украшениями. Минутами ты напоминаешь Шекспира в лучшие его минуты, но чаще уподобляешься Гомеру в его величавом эпическом спокойствии. По содержанию же – каждое письмо твое неисчерпаемо и разнообразно, как энциклопедический словарь Эфрона. Все, что волнует мир, находит для себя богатое отражение в твоих трудах, вмещааясь иногда только в одной или двух каракулях.

Анастасия Николаевна писала неграмотно, но читала много, как и отец Андреева. Вообще в провинциальной среде чтение было чуть ли не единственным развлечением для домохозяек, заменяя им карты и билиард, которыми после службы увлекались их мужья.

«Насколько отец смотрел на жизнь ясными и трезвыми глазами, настолько для матери жизнь была полна загадок и чудес, – утверждает Павел Андреев. – Она любила всякого рода сказки, фантастические рассказы, небылицы и в конце жизни зачитывалась такими писателями, как Конан-Дойл и Понсон-дю-Террайль...»

Забывтый ныне французский писатель XIX века Понсон-дю-Террайль был создателем персонажа-авантюриста по имени Рокамболь. «Рокамболь» на французском означает «чесночный лук». Это имя стало нарицательным для любого разбойника и мошенника. В то же время «рокамболь» – одна из старинных карточных игр и один из самых сложных приемов игры в билиард – рикошетом шара по нескольким бортам.

В России серия романов о Рокамболе была невероятно популярна во второй половине XIX и начале XX века. Чтение этих переводных книг среди людей высокообразованных считалось признаком дурного вкуса, но увлечение ими в провинциальной среде было легко объяснимым.

Впрочем, в любви к романам Понсона-дю-Террайля признавались и некоторые известные писатели – Валерий Брюсов, Максим Горький, Самуил Маршак и Варлам Шаламов. В «Рассказах о детстве» Шаламов вспоминал, как был наказан своим отцом-священником за чтение «Похождений Рокамболя»: «Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено приносить Рокамболя в квартиру, квартиру – где, подобно Рокамболю, изгонялся Пинкертон* и Ник Картер** и пользовался почетом Конан Дойль. Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось дочитывать у кого-то из товарищей».

Герой-авантюрист прочно поселится в произведениях самого Андреева: «Тьма», «Савва», «Иуда Искарот», «Сашка Жигулев»... Другое дело, что его герои пускаются в приключения не ради наживы или самой игры, а движимые «горячей» идеей, подобно персонажам Достоевского. Они авантюристы не столько по своим поступкам, сколько по своему протестному отношению к миру. Их задача не обмануть мир, а «взорвать» его. Иногда – в буквальном смысле, как в пьесе «Савва» с ее героем-«бомбистом».

Прозаик Викентий Вересаев описал Анастасию Николаевну так: «Мать – типичнейшая провинциальная мелкая чиновница. В кофте. Говорит: “куфня”, “колдовая”, “огромадный”; “Миунхен” вместо “Мюнхен”. На Капри томится».

Иначе писал о ней ее сын Павел: «По природе была веселая, живая, но иногда в недоумении и страхе останавливалась перед картинами, созданными ее же фантазиями. А к концу жизни – жизнь стала для нее сплошной загадкой, полной всяческих ужасов и страхов».

Интересно, что если в этом описании поменять женской род на мужской, мы получим психологический портрет... Леонида Андреева. Именно таким его вспоминали Максим Горький и Борис Зайцев – как веселого и жизнерадостного по природе человека, но испуганного собственными мрачными фантазиями.

Павел Андреев утверждал, что мать была талантливой рассказчицей: «Рассказывала изумительно красочно, образно, ярко. Рассказ любила прикрашивать и к былям прибавляла несчетное число небылиц. Правда в ее рассказах так переплеталась с выдумкой, фантазией, что невозможно было отделить одно от другого. И это сплетение правды с фантазией и было ее действительной реальной жизнью».

В биографической справке 1910 года Леонид Андреев писал:

Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло, либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвивавшимся зародышем того же литературного дарования.

* Герой-сыщик из серии популярных в начале XX века романов анонимного немецкого автора, прототипом которого послужил реальный американский детектив Алан Пинкертон.

** Герой-сыщик из популярной в начале XX века серии дешевых американских «романов с продолжением».

Анастасия Николаевна что-то предчувствовала в судьбе ее первенца. Леонида она любила гораздо больше остальных детей – Павла, Риммы, Всеволода, Зинаиды и Андрея. После Леонида она родила девятерых, но половина ушли из жизни младенцами.

В то же время в этой любви было что-то ненормальное. Например, она панически боялась за его жизнь. Павел Андреев вспоминал, что, когда Леонид с другими детьми шел купаться на реку, мать отправлялась с ним, «веревкой привязывала его за ногу или за талию, как поросенок, и тогда только пускала его в воду; но тотчас же тянула обратно за веревку, когда Леонид, как ей казалось, уходил очень далеко. А река-то в том месте была что ручеек, и все мальчишки вброд, по щиколотку переходили ее».

В этой веревке есть что-то символическое. Какая-то незримая связь, как пуповина, связывала Андреева с его матерью на протяжении всей жизни, даже когда ее не оказывалось рядом. Порой она спасала его от смерти. Во время учебы в Петербурге Андреев всерьез думал о самоубийстве. И вот его запись в дневнике в ночь с 21 на 22 октября 1891 года:

Одна только мать удерживает от самоубийства... Жалко мне маму. Бедная она бедная. Ждет меня не дождется, одна, небось, меня теперь во сне видит. Ну, как убить себя? Дождалась, – привезли сына холодного, мертвого. Нет больше сына. Нет больше и жизни. И ради кого убью я эту бедную несчастную, больную маму? Я не могу, не могу.

Сестра Римма приводит рассказ брата о том, как в Петербурге, устав от безденежья, голодный, он пошел к Неве, чтобы утопиться, но вспомнил, что ждет письмо от матери. Вернувшись он увидел конверт, в который было вложено три рубля.

Тема потери любимого сына станет ключевой в творчестве Андреева. Она появится в двух его главных произведениях – «Жизни Василия Фивейского» и пьесе «Жизнь Человека», а также в пронзительном по трагизму рассказе «Великан».

В его обширном эпистолярном наследии письма к матери занимают особое место.

Пятьдесят лет, знаешь, это немало, а мы с тобой почти 50 лет вернейшие друзья, начиная с Пушкарной и кончая холодными финскими скалами. На твоих глазах я из Кота в сапогах и узяка превратился в русского писателя, пройдя через пьянство, нищету, страдание; на моих глазах ты из молоденькой женичины стала «бабушкой», также пройдя сквозь страдания, нищету и проч. И что бы ни было с нами, куда бы ни заносила нас судьба, высоко или низко – никогда мы не теряли с тобой самой близкой душевной связи. Приходили и уходили люди, а ты всегда со мной оставалась, всё та же – верная, неизменная, единственная. Я знаю хорошие семьи, где существуют хорошие отношения между родителями и детьми, матерью и сыновьями, но таких отношений, как у нас с тобой, я, по правде, не встречал.*

Конец жизни Анастасии Николаевы сложился трагически. Она пережила большинство своих детей. В 1905 году умерла дочь Зинаида, в 1915-м – ушел из жизни сын Всеволод, а в годы Гражданской войны пропал без вести самый младший Андрей. Но ни одно из этих печальных

* В Орловской губернии так называли младенцев, завернутых в пеленки.

событий не отразилось на ней так, как смерть ее любимого сына Леонида. Так случилось, что именно в этот момент ее не было рядом с ним...

Когда она узнала о его смерти, она сказала: «А я думала, что он бессмертный».

Любимчик

Детство Андреева до смерти его отца было абсолютно счастливым. Но в его произведениях мы почти не найдем картин счастливого детства, как находим их в творчестве С.Т. Аксакова («Детские годы Багрова-внука»), Л.Н. Толстого («Детство»), И.С. Шмелева («Лето Господне»), А.Н. Толстого («Детство Никиты»). И даже развернутых картин ранних лет жизни, пусть и тяжелых, как в повести Горького «Детство», мы не найдем. То ли они не оставили в его памяти ярких воспоминаний, то ли сама его творческая природа противилась тому, чтобы переносить их на бумагу.

Но может быть и третье объяснение, которое представляется наиболее вероятным. После смерти отца и обнищания семьи жизнь Леонида, на которого упала главная забота о близких, была столь горька, что раннее детство виделось ему только прелюдией к этой жизни. В этих счастливых годах было что-то заведомо роковое.

В рассказах Андреева дети – не обеспеченные мальчики, баловни родителей, каким он сам был до шестого класса гимназии. Это забытые нуждой, несчастные существа. Если им и перепадает радость, как в рассказах «Ангелочек» или «Петька на даче», то очень ненадолго, и заканчивается это всегда плохо. Восковой ангелочек с новогодней елки растает на печке, а кухаркиного сына Петьку заберут с чудесной дачи и вернут в парикмахерскую, где его опять будут бить и заставлять работать, где он будет ночевать в темном углу с таким же, как он, мальчишкой из бедной семьи.

Если и появляется в прозе Андреева барчук, которому ни в чем не отказывают родители, как в рассказе «Алеша-дурачок», то и он не будет счастливым. Перед его глазами вечным укором будет стоять этот Алеша, а Алешу опять-таки все бьют, отнимают у него деньги и тому подобное. В рассказе «Валя» ребенок живет в обеспеченной семье, но у приемных родителей. Родная мать бросила его ради любовника. В конце концов она заберет его, но это будет насилием по отношению к сыну, и совсем, совсем не в радость...

А в более позднем рассказе «Жизнь Василия Фивейского» один ребенок утонет в реке, а второй родится уродом и ничего, кроме несчастья, родителям не принесет...

Почему же писатель, чуткий к детской психологии и умевший прекрасно ее отображать, не позволял своим маленьким героям радоваться жизни, любить родителей и быть любимым, как было в раннем детстве самого Андреева? Это остается загадкой его творчества.

Леонида в семье любили решительно все.

Самое удивительное – отношение к нему отца, который успел заставить его только ребенком и подростком. Брат Андрей вспоминал:

Как -то я сказал Леониду:

– Как мне обидно за отцов, которые умерли, когда их сыновья – будущие писатели – еще дети. Отец Толстого умер, когда Левочке было всего 9 лет. И он даже не подозревал... Как жалко, что наш отец умер так рано.

Леонид ответил так:

– Не совсем так. Отец будущность мою предвидел настолько, что я считаю его первым поклонником своего таланта. Не могу сказать, в чем это выражалось явно, но отец как-то выделял меня среди других, и не только одною любовью. Обычно самовластный, резкий, он был со мною уступчив, почти вежлив; какая-то тень почтительности и уважения проскальзывала в его ко мне отношениях...

И если бы он сейчас воскрес и увидел бы, что есть, он нисколько не удивился бы. Скорее даже, что он отнесся бы так: только-то? – я ожидал большего.

Но молодой Андреев однажды задумался, насколько это семейное обожание было благотворным для его воспитания. Вот запись в его раннем дневнике:

Из меня всеми возможными способами готовили барича, удовлетворяя мои самые вздорные желания и отнимая всякий повод к самостоятельному достижению чего бы там ни было. Мой характер проявлялся в капризах. И теперь капризы заменяют характер. Не встречая никогда отпора в своих желаниях, я при первом же мало-мальски серьезном препятствии, не имея ни малейшей подготовки к нему, должен был позорно сложить оружие, которым оделила меня природа. Все вело меня к этому: репетиторы, без которых я не мог и шагу сделать, и удача, сопровождавшая мои первые шаги на жизненной арене. Все меня любили, и родители гордились и восхищались мною, показывали меня для той же цели знакомым, заставляя или распевать Пушкинские песни, которые я, восьмилетний мальчуган, знал в невероятном количестве, или показывать свои рисунки, действительно порядочные для моего возраста. Моя изумительная страсть к чтению, благодаря которой я восьми лет стоил пятнадцатилетнего, удовлетворялась самым беспорядочным и вредным образом. Возмужавши раньше времени умственно, я узнал потребности, которых не мог удовлетворять, будучи еще ребенком, и должен был всецело положиться на взрослых... Выйдя из детства и вступив в жизнь совершенно не подготовленным к той борьбе, которая составляет самое ядро, самую квинтэссенцию жизни, я на первых же порах должен был упасть духом, не имея силы для преодоления самого паршивого препятствия, а вместе с тем обладая привычкой к скорейшему и обязательному исполнению всех своих желаний.

Вождь краснокожих

Но вернемся в его ранние годы. О характере маленького Андреева остались противоречивые свидетельства. Сам он в разговоре с писателем и критиком Василием Брусяниным говорил, что был «оптимистом до 10 лет». Но с детского портрета на нас смотрит мальчик с очень серьезным и печальным взглядом. По словам матери, Леонид «уже в детстве был очень серьезным».

«С детских лет характер Андреева поражал неровностью», – пишет Николай Фатов. А двоюродная сестра писателя Зоя Пацковская вспоминала:

Помню его лет с 5-ти, с того времени, как помню и себя. Ребенком он или шалил так, что «хоть святых вон выноси», или же сидел и читал, читал все подряд, что ни попадется, но особенно любил приключения и путешествия – Майн Рида, Жюль Верна и т. п. Увлекался необычайно индейцами...

Именно из-за его любви к индейцам дети Андреевых и Пацковских часто играли «в краснокожих». Причем вождем племени был, разумеется, Леонид.

Однажды собрал всю нашу компанию, было нам всем лет по 8–10, велел всем раздеться догола, вымазал нас всех глиной, вывалял в перьях, которые повыдергал из кур, и стал готовить нападение. Сказал, что белые близко, что мы должны напасть на них, и тогда, говорит, «попируем». У нас в это время были гости, очень много народу, и все сидели в беседке, пили чай. Леонид велел нам тихо подползать; мы ползли, ползли, не дышали, боялись его послушаться – что бы он ни велел, мы всё беспрекословно исполняли, – окружили беседку. Наконец, Леонид с гиками бросается на гостей, и мы все за ним. Среди гостей была одна дама в интересном положении, с которой сделался обморок от страха, да и все гости от неожиданности сильно перепугались. Леонид был очень доволен произведенным эффектом, но отец на него страшно рассердился и хотел его высечь. Тогда Леонид убежал и залез на дерево. И никакие уговоры не могли заставить его сойти. Говорил: «скорее умру с голоду, чем сдамся». Он считал себя предводителем шайки краснокожих, и всякое малодушие для себя считал позором. Так его и простили.

В этой, на первый взгляд, забавной детской шалости останавливают внимание три момента. Первый – с каким хладнокровием 8–10-летний мальчуган вырывает перья у живых кур. Второй – до какой же степени он был избалован своими родителями, если мог вовлечь других детей в такую шалость и не бояться при этом сурового наказания. И наконец, так мог вести себя не просто баловень, но прирожденный подростковый *лидер*, уверенный в том, что его сверстники будут беспрекословно исполнять его волю.

«В другой раз, – вспоминала Зоя Пацковская, – помню, увел он нас на богомолье, в Киев. Мы жили на даче, недалеко от Орла, и около нас по большой дороге часто проходили богомольцы с котомками в Киев. И вот нарядил Леонид всю нашу братию богомольцами, заставил разуться, взял палки, узелки и повел, но... вместо Киева, привел нас в Орел, и мы явились к Андреевым; никто нас, конечно, не ждал, тем более в таком виде, все тоже пришли в ужас, и ему опять за это сильно попало».

Судя по этим воспоминаниям, Андреев в детстве отличался бойким и веселым характером. Заводила во всевозможных играх, выдумщик, он уже тогда имел склонность к «театральности», в чем угадывается представитель нового театра начала XX века.

О любви брата ко всякого рода «представлениям» вспоминал и Павел Андреев. Он видел в этом влияние матери:

Обладая большой творческой фантазией, красочностью рассказа, она и детскую жизнь Леонида наполнила самым фантастическим миром, миром сказок, подвигов героев. Поэтому детская, когда Леониду исполнилось 4-5 лет, уже перестала удовлетворять его – ему было в ней тесно; игрушки мертвы и неинтересны. Вся квартира стала его полем действия. Не было ни одного предмета во всех комнатах, который он оставил бы в покое, кроме разве тех, которые он сам не в состоянии был сдвинуть с места, да и тем отводил место в своих играх. А в летние дни он имел целые армии рыцарей из мальчишек с улицы, с которыми и совершал разные героические подвиги. Играми же всегда руководил сам и на груди всегда имел знаки отличия. И костюмы его были самые фантастические. Были рыцарские костюмы, с латами и шлемами, с кавказскими кинжалами и серебряным поясом. Были зеленые, синие, красные и шитые серебром и золотом всякого рода шапки, маски, пики.

В то же время, вспоминала Зоя Пацковская, «иногда, даже на маленького, на него находило мрачное настроение, тогда – лучше не подходи!

То же было и когда вырос. В хорошем настроении он бывал весел, что называется, душа общества, постоянно шутил, веселил всех, выдумывал разные истории, но вдруг становился мрачным, и тогда уже уныние на всех напускал, так что становилось прямо неприятно. Иногда он и уходил в таком состоянии из общества, чувствуя, что становится всем в тягость. А когда весел, — то остроумен, интереснейший собеседник. И любил компанию. Любил также всякий спорт — кататься на коньках, на лодке, на лыжах».

Вместе с унаследованными от матери творческими способностями он, как и его отец, отличался физической силой и ловкостью, что было важно для мальчика, росшего в Пушкарской слободе среди «проломленных голов». Слобода считалась не самым захудалым районом Орла, но нравы здесь царили самые простые. В воспоминаниях Павла Андреева подробно описывается жизнь 2-й Пушкарной улицы:

Улица эта находилась на самом краю города и трудно была проходимой от сугробов снега зимой, осенью — от грязи. Зато весной она покрывалась вся зеленым ковром, по которому в большом количестве бродили куры, гуси, свиньи. И с этого же времени вплоть до глубокой осени жители этой улицы все свое свободное время проводили на ней. Это было горячее и живое время года, длившееся ровно шесть месяцев. Здесь можно было видеть похоронные и свадебные процессии, драки, набеги на чужие огороды и сады. Бунты «гожих»^{*} и всякие непристойные сцены. Народные праздники, как например, «Мокрый спас», когда все поливали друг друга водою, опускали на веревках в колодцы, когда парни загоняли в костюмах целые партии девушек в реку. Разные семейные сцены, любовные и нелюбовные, вплоть до ссор и драк между супругами. А вечерами игра на гармониках, хороводы.

В Пушкарской слободе была и своя этика. Здесь презиралась трусость, нельзя было бить лежачего, и здесь не любили *богатых*. При этом сами Андреевы, как и их родственники Пацковские, бедными не были, но и богатыми их считать тоже нельзя. Все немалое жалование Николая Ивановича тратилось на нужды многочисленной семьи, и никаких сбережений на «черный день» не оставалось. Когда глава семьи неожиданно умер, у Андреевых не было ничего, кроме заложенного дома.

Презрение пушкарей к *богатым* проявлялась своеобразно. Их определяли по внешнему виду, а не по реальному содержанию их кошельков. Судя по воспоминаниям Павла Андреева, это была скорее нелюбовь к городским щеголям, случайно забредшим в Пушкарскую слободу. Как если бы житель центральной части Москвы XIX века забрел в Замоскворечье.

«Между прочим, — пишет Павел, — нелюбовь к “барину”, к его пиджаку, белым перчаткам, к белому, накрахмаленному, с галстуком, воротничку доводила ребят этой улицы до неистовства. Попробуй пройти в то время по этой улице такой “барин”! Да его запyleт, забросают камнями, засмеют. И странно, этот пиджак с его обязательным белым накрахмаленным воротничком так и не пристал в будущем к Леониду. Брюки, рубашка темная с отложным воротником — вот обычный костюм его, которому он не изменял никогда».

Это не совсем верно. Вторым «имиджем» Андреева, когда он уже был известным писателем, стала темная бархатная куртка. Но есть его

^{*} Непонятно, кого имел в виду Павел Андреев. *Гожий* — устаревшее от «годный», «пригодный к работе».

фотографии и в костюме с белой сорочкой, и с накрахмаленным воротничком. Правда в том, что классический Андреев, как мы его обычно представляем, действительно не похож на «барина» и «интеллигента». Народная рубашка, белая, расшитая на украинский манер, или красная, подпоясанная ремешком, или бархатная куртка «художника» – вот его привычный внешний облик. А насколько это можно считать подлинно народной чертой – такой же спорный вопрос, как народность «толстовки» Льва Толстого.

Купер и Мошотт

И все-таки главной его страстью были книги. Читать он начал рано, с шестилетнего возраста, и, как только это стало возможным, записался в городскую библиотеку. По словам его брата Андрея, книги выбирал такие, которые отвечали двум условиям: «если у них было пылкое название и если цена книги не была меньше рубля. Тонких книжонок терпеть не мог. Часто, увлеченный необычайной ценою книги, он выписывал какие-то научные труды, непосильные и взрослому».

Вероятно, именно так в раннем возрасте он прочитал популярную в России книгу голландского физиолога и представителя «вульгарного материализма» Якоба Мошотта «Учение по пище». Мошотт напрямую связывал социальную, умственную и даже духовную деятельность человека с той пищей, которую он принимает, по принципу «мы то, что едим», известному еще с античных времен. Но Мошотта явно заносило, когда «учением о пище» он объяснял особенности национального характера.

«Овощи, – утверждал Мошотт, – будучи употребляемы в пищу одни, весьма недостаточно вознаграждают вещества, израсходованные кровью, чем и объясняется недостаточное питание тканей при исключительном употреблении растительной пищи. От такого рода пищи не только обессиливают мускулы, но терпит и мозг, получая скудное вознаграждение. Этим объясняется нерешительность и малодушие индусов и других тропических народов, питающихся исключительно одними овощами»*.

Но главное направление его интересов в это время – приключенческая и фантастическая литература. Джеймс Фенимор Купер, Майн Рид, Жюль Верн... Эти книги он читал не просто так. В манере его чтения также отразились театральные наклонности мальчика, тоже привитые его матерью, заядлой орловской театралкой, не пропускавшей ни одной премьеры знаменитого Орловского драматического театра, учрежденного графом Сергеем Михайловичем Каменским в 1815 году. На эти представления Анастасия Николаевна всегда брала с собой Леонида.

«Книга была для Леонида самою жизнью и при чтении требовала определенных декораций, поз... – вспоминал брат Андрей, – голый и вымазанный в сажу, Коточка разваливался на полу среди развешенных

* Книга Мошотта, переведенная и изданная в России в 1863 году, считалась очень революционной. Выдержав несколько изданий, она была запрещена к распространению вместе с сочинениями других философов-материалистов после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II в апреле 1866 года. «Фогт, Дарвин, Мошотт, Бокль — соучастники каракозовского дела. Их сочинения велено отобрать у книгопродавцев. Вот до какой тупости довели нас духовные министры и бездушные крикуны казенных журналов», — писал Герцен.

на стульях одеял и вздыбленных подушек, с копьем в руке, с пером в волосах... В таком “вигваме” он ждал обычно Купера. И читал его здесь же, лежа: ведь нигде не сказано, чтобы индейцы сживали за столом, покрытым скатертью».

К этой особенности детского чтения, как и к тому, что излюбленным местом для поглощения книжных страниц была крыша их дома, откуда открывался прекрасный вид на окрестные сады и речку Орлик, не стоит относиться снисходительно. Стирание границ между реальностью и сумасшедшей фантазией станет едва ли не главной особенностью творчества Леонида Андреева. Наиболее зримые образы в его прозе именно самые фантастические. Он признавался брату Андрею:

Сию , читаю, и вдруг, без всякого основания, по-видимому, перед глазами у меня – так ярко представление, что кажется реальным – листок неведомого мне тропического дерева: и я не ошибаюсь – по двум-трем лучам солнца – по нескольким смутным очертаниям дерева, я ясно сознаю, что листок тропический... Или вот то странное чувство, которое я испытываю постоянно: это чувство всей земли. Я стою вот здесь, в кабинете, а помню и ощущаю вокруг все земли: Европу, Азию, Америку...

Он никогда не бывал ни в Азии, ни в Америке. Его зримое ощущение этих земель могло быть только результатом книжного опыта или подсознательных импульсов. Но такова уж была природа его писательского дара. Наиболее убедителен он был именно в тех картинах, которые рисовало его свободное воображение, а не привязанность к настоящей реальности.

Но однажды реальность грубо напомнила о себе. Это случилось, когда умер его отец и семья вдруг оказалась на грани нищеты. В тот год и закончилось детство...

Стихи по кругу

Юлия РУБИНШТЕЙН

г. Сосновый Бор, Ленинградская область

От земли

Прыжок. От земли долой!
Упруго прогнись, равнина.
Ударивши пяткой злой,
на миг я тебя покину.
Но через миг вернёт
к тебе тяготенья гнёт.

Разбег. От земли долой,
когда обгону течение.
Обнимет воздушный слой,
от веса даст излечение.
Но он переводит дух –
и, значит, разбег затух.

Рождение огня внутри –
вам, звёзды, привет мой братний!
Считаю не «раз, два, три» –
отсчитываю обратный.
Теперь от Земли долой,
покуда сам удалой!

Иголка

Подарили матрёшку.
Не девчушку – зайчишку.
Открутила недрожко
деревянную крышку.

Ниже – крылышки-перья,
кряква-утица сиза –
отпираются дверью,
словно падает риза,

а под нею – яичко,
расписное Ярило...
Щёлк – и вылетит птичка?
Ой, нечистая сила!

Как блеснула иголка,
из скорлупки полезла!
Неприступно и колко,
зло и жалко железо.

Хватом крепким и жарким
изломить, обезглавить!
Будут гуси-гагарки
вёсны новые славить,

улыбнётся зеркально
за стеклянной завесой
прадед с жёлтой медалью
«Оборона Одессы».

Треск. В обломки. В осколки.
И свет не поймать...
То ли дрон, то ли колокол,
то ли кузькина мать.

Лишнее

Почудилось: гармошкою колготки
и репетиция поклона тётке;
поблазнилось – юннаты, стройотряд,
как чадно письма папины горят;
привиделась поленница бутылок,
уполовинена рытьём могил,ок,
но снега хруст живьём стоит в ушах.
Идём с вокзала. Шаг. За шагом шаг –
туда, где ты, и ничего иного.
Где конченное не начнётся снова,
где рельсы снег заподлицо занёс,
бел до невидимости паровоз.
Лишь ты – и жажда нового житья.
Нужна ли ей пустая тень моя?

Анатолий ГЛАДЫШЕВ

Выкса, Нижегородская область

* * *

А ты на скамейке с соседом,
Спасаясь в тени от жары,
Пускала в беспечное лето
Из пены зеркальной шары!

Из выдоха, из ниоткуда,
Дрожа от небесных лучей,
Прозрачное, робкое чудо
Купалось в восторге детей!

И я зачарованным взглядом,
Забыв про земные дела,
Следил, как нестройным парадом
Бокастые плыли тела.

О, как бесконечно мгновенье,
Когда, проникая в эфир,
Качается от напряженья
Мой маленький радужный мир!

Егор ПЕРЦЕВ

г. Олонец, Карелия

* * *

На нашу долю это бремя выпало,
И мы с тобой вдвоём его несём.
Мы не стыдимся сделанного выбора
И Господа благодарим за всё.

Дрожит земля, израненная минами,
И дымом степь затянута густым.
Я знаю, всё пройдёт, моя любимая.
Всё случится для нас за то, что ты

Так тосковала, так ждала и верила,
И слышала ночами голос мой...
Наступит день: умолкнет артиллерия.
Наступит час: и я приду домой.

* * *

Я помню всё. Я не хочу обратно.
Я рад, что это было так давно.
На солнце, говорят, бывают пятна,
Но вместо солнца чёрное пятно
Не грело, а коптило надо мною,
Не утешала ночь, и день не грел...
Мне снились сны, где духота и бред,
Где нет любви, и я всему виною.
Где двери есть, но некуда мне выйти,
Где на вопрос молчание в ответ...

Затем я мрак такой тогда увидел,
Чтоб знать его и чтоб идти на свет.

* * *

Мой груз. Он более ничей.
Его взвалил на плечи,
Чтоб голос, как виолончель,
Глубок и человечен,

Звучал и говорил с тобой
О том, что каждый – вечен.
Есть в жизни боль, но жизнь – не боль,
А ожидание встречи.

Анна РЕТЕЮМ

Москва

* * *

Вот небо, вот земля –
какие шутки, брат?
И cedят тополя
смолистый аромат.
И жизни строгий дух
горчит, извечно свеж,
врачуя наш недуг
насмешливых невеж.
И строгость та легка,
и горечь та чиста,
как милости река,
как слёзы у Креста.

Облака

Что за облака – цивилизации! –
в вечности сияют голубой,
полные достоинства и грации,
да и просто полные собой.
Словно горы кипенной акации,
с лестницей по склонам винтовой,
чистой красоты цивилизации
в даль свою плывут над головой.

* * *

Куда растёшь ты, дерево души,
ветвями шевеля нетерпеливо,
топорщась в самой царственной тиши,
у почвы камня молчаливо?
Ты буйствуешь, терзая нежный свод,
древесные узлы крутя на память,
и слёзы льёт небесный Садовод –
не в силах кривизны твоей исправить...

* * *

Как хорошо забыть ключи,
сидеть под дверью кротко, –
сверчок сознания, сверчи,
сквозь темень околотка.

И делать нечего в плену
застывшей круговерти –
берёшь на плечи глубину
и вес небесной тверди,
берёшь на сердце остриё
звезды, скользнувшей кратко,
и одиночество твоё –
прозрение, догадка...

* * *

С другими сравнивать привычка
себя – сколь годен и горазд –
смешна: пожалуй, и синичка
любым солистам фору даст.
Уж если хочется сравнений,
ты на деревья, птиц гляди –
какие стойкость и смирение,
какая музыка в груди;
сравни себя с высоким небом,
с Полярной чистою звездой,
и, проиграв в сравненье этом,
не измеряй людей собой.

* * *

Всё просто на земле широкой, просто –
любить, любить до самого погоста
шатровых сосен дебри меховые
и белых храмов солнечные выи,
протяжных волн гремучие узоры
и в дымке кристаллические горы,
и знак, что на крыле уносит птица,
и лица, человеческие лица.

Владимир ПЕСКОВ

Нижний Новгород

О жизни

(подражая Джону Китсу)

Мы все живём четыре долгих дня.
День первый – это юности цветы.
Его мгновенья в памяти храня,
Неоднократно вспоминаешь ты.

Второй свой день ты проведёшь в пути,
Встречая рядом правду и враньё,
И те дороги, что сумел пройти,
Определят величие твоё.

На третий день, уставший от сует,
Ты оглядишь преодоленный путь:
Что совершил, какой оставил след,
И может быть, исправишь что-нибудь.

Четвёртый день наступит, жди его,
Когда не сможешь сделать ничего.

Екатерина ГРУШИХИНА

г. Красногорск, Московская область

Воротился ветер

Воротился ветер с чужой земли, –
Умудрён, просветлён, игрив.
Облаков раскачивая корабли,
Он увидел красотку, чей нежный лик
Был прекрасней заморских див.

Волосами ее заигрался ветр,
Колыхнул сарафан из льна:
– Как зовут, тебя, девица, маков цвет?
В васильковых глазах потонул рассвет...
Отвечала она: «Жена».

Поднимая в небо колосья ржи,
Вольный ветер горазд летать.
По морщинкам земли ручеек бежит,
– Как зовут, тебя, милая, расскажи?
И она отвечала: «Мать».

Все мертвее и выше степной ковыль.
В чистом поле стоит – чёрна,
Не поднимет звериной своей головы.
Вместо платья – саван, глазницы – рвы.
– Как зовут тебя, смертница? – ветер взвыл.
Отвечала она: «Война».

Обезумел ветер, сошел с ума,
Молодецкий задор иссяк.
Полыхают деревни, горят дома,
У церквушки безмолвны жена и мать.

А высоко в небе – Господня рать, –
Журавлиный летит косяк.

Ангел рядовой

Ты – маленький,
С молочными зубами,
Пропахший материнским молоком,

Тебя уже крестили в местном храме,
Где с любопытством считывал орнамент,
Божественными фресками влеком.

Ты – маленький,
Но всех мудрей и глубже,
Критично близок к истине большой,
Твой детский ум по взрослому натружен,
Хоть ты нелеп и вовсе безоружен,
Любим и по-младенчески смешон.

Ты – маленький,
Ты слышишь очень четко,
Но только без понятия, о чем –
Рыдают мама, бабушка и тетка,
И в унисон подхлипываешь кротко,
Уткнувшись в материнское плечо.

Ты – маленький,
С лазурными глазами,
Лопочешь на библейском языке,
А твой отец на полсекунды замер,
Он, воспарив, на полсекунды замер.
Чтоб сделать в вечность резкое пике.

Ты – маленький,–
Тебе, быть может, годик,
Быть может, два иль около того,

А за окном витает дух Господень,
И твой отец, как прежде, к службе годен,–
Бессмертный ангел. Ангел рядовой.

Аннэтэс РУДМАН

Москва

* * *

В антикварном быту старушки
Груды старого барахла:
Бусы, ёлочные игрушки,
В медных рамочках зеркала,
Веера, портсигары, броши,
Кресло, ваза, резной комод,
Зонт японский, почти не ношен,
Скупщик вряд ли его возьмёт.
Сердцу памятные предметы,
Как глоточки святой воды.
Горделиво глядят с портретов
Тёти, бабушки и деды.
Что отправить сегодня в скупку:
Янтаря золотую нить

Или бронзовую голубку,
Чтоб задолженность отплатить?
А в глазах – угольки печали,
Боль отчаянья – на лице.
Жизнь любила её вначале,
Но забыла о ней в конце.

* * *

Я вижу серость ваших глаз,
Кусочек неба в них погас,
Повсюду серость.
Она лежит здесь, не таясь,
К одежде липнет, словно грязь,
И в душу въелась.
Я тоже в серости тону
И на себя беру вину,
Так будет лучше.
Мечтала вас свести с ума,
Но стала серой я сама –
Несчастный случай.

Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА

Кострома

* * *

Храни меня, храни,
Мой ангел ясноликий,
Когда печаль... и в дни
Всех горестей великих.
Владей моей души
Глубинами и всё же
Пророчить не спеши,
Минувшее итожа.
Под сенью крыл твоих
Неслабнувших спокойно.
Они бы и двоих
Могли вести сквозь войны,
От бед и суеты...
О спутник мой тишайший!
Прошу лишь только, ты
Веди меня и дальше...

* * *

Выщвели звёзды над сонной теменью,
Мрак на земле – не видать ни зги.
Тихо... Как будто течение времени
Вдруг повернулось к мирам другим.

И, будоража виденья памяти,
В этой кромешной тягучей мгле
Прошлое то обернётся заметью,
То встрепенётся огнём в золе...

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Если бы в парадные колонны
выстроить погибших на войне,
шли бы по брусчатке батальоны
к Мавзолею девятнадцать дней.

Грустную статистику такую
я припомнил, глядя на парад:
вот «кремлёвцы» бодро маршируют,
рубят шаг десантников отряд.

Юные, здоровые красавцы,
и не «будто» – точно на подбор.
их святое воинское братство
ворогу любому даст отпор.

Марш звучит «Прощание славянки»,
будто с той войны, издалека,
и идут в колоннах люди, танки
много дней и... прямо в облака.

Иван УДАЛЬЦОВ

Москва

* * *

Войдя в разбитые ворота,
Где угасает водопад,
Остановился серый кто-то,
Возможно – циник иль прелат.

Он слушал пение обломков,
Симфонию полутонов,
Звучавшую довольно громко
Средь молодеющих дубов.

«Зачем мой слух встревожен эхом? –
Подумал он. – Ведь что мертво,

Не воскрешается ни смехом,
Ни даже рёвом бурных вод.

Куда уж мне, шуту природы,
Вернуть из бездны падший храм?»
И стихло пенье, смолкли воды
И ветер, гулявший по ветвям.

Одиссей в сумерках

Надо мной в лазури ясной
Светит звёздочка одна:
Дар случайный, дар напрасный –
Ты ль на смерть обречена?

Лучше б я исчез во мраке
(Чтоб вернуться в свой черёд
К той неведомой Итаке,
Где печаль моя пройдёт).

Юрий ЕРМОЛАЕВ

Нижний Новгород

* * *

Я стоял под дождём,
Словно ждал очищения.
Верил, это послание
Льётся на землю с небес.
И дарила вода чистоту
И святое прощение.
Жаль, что чувства мои,
Как замена руки на протез.

* * *

Волноваться запрещено,
Сердце надо своё беречь.
Слышу, стужа стучит в окно.
Разожгу рецептами печь.
Лижут пусть языки огня
Смолянистое тело дров.
Если хочешь – лечи меня
Только нежностью русских слов.

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвёртого созывов.

Автор пятнадцати книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ЭТРУССКОЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ»?

О пропавших веках русской истории

Мы живем в переломное время. С 1991 года, и даже раньше – с середины 80-х годов, отменили одну идеологию и даже записали в конституцию положение, что мы будем жить без всяких идеологий. Идеология, по сути своей, означает, чего народ хочет, его устремления и самоощущение, осознание своего места и роли в этом мире. Без идеологии народы не живут, а поэтому начали действовать другие, ранее мало-значимые. В результате уровень жизни народа сильно упал, а на науку, и в первую очередь гуманитарную, деньги почти перестали отпускаться.

От этого была и некоторая польза, ведь официальная наука нередко попадала впросак. (Классический пример: Французская академия наук в XVIII веке на запрос о том, могут ли камни падать с неба, ответила, что камней в небе нет и падать они не могут, «отменив» тем самым метеориты и астероиды.) В противовес ей появились работы с неофициальным истолкованием истории, и, хотя многие из них и несли черты полуграмотной любительщины, некоторые позволяли пролить новый свет на неудобные «темные углы» и умолчания «общепринятых» концепций. Так или иначе, с 80-х годов разрушительной перестройки прошло немало времени, исследователи работали. Появились не только новые данные, но и новые научные инструменты (генетика, компьютерная обработка данных и т. п.), позволяющие детальнее взглянуть в историю.

Обратимся здесь к двум проблемам: древности русского народа и древности русской письменности.

С 1200 года до нашей эры существовала мощная греческая традиция считать скифов – тавроскифов – пеласгов – этрусков – русов одним

народом. Эта традиция существовала в Древней Греции, в Византии, существовала в русской историографии до XX века, а в недавнее время возродилась.

В учебнике истории 1763 года говорилось, что России и русскому народу 4410 лет. По указу Петра была напечатана книга католического священника из Дубровника Мавро Орбини «Славянское царство», дающего более-менее полную картину истории и древности славян. В середине того же века радением М. Ломоносова эта книга была переиздана. Однако с конца XIII – начала XIX века было принято считать и до сих пор официально считается, что русский народ четко фиксируется только с VI века. Вычеркнули тысячи лет русской истории!

Встает вопрос: почему так вышло и как на самом деле было?

Ответ простой. Римская империя на Западе погибла в 476 году. Родились новые государства, составившие костяк новой Европы. Поэтому любой европействующий якобы научный деятель отнесется нервозно к любой попытке продолжить историю какого-либо государства в доримское прошлое (за исключением Греции, естественно). А русские тем более древнее быть не могут. Ведь историю Руси с XVIII века писали пресловутые Байер, Миллер, Шлецер. Во-вторых, по приказу династии Рюриковичей русская история народа, земли и государства начиналась с 862 года, т. е. с призвания Рюрика. Именно по их приказу писалась «Повесть временных лет, откуда пошла есть Русская земля». Именно эта династия принесла на Русскую землю порядок и христианскую религию. А уж как вводился новый порядок и новая религия, рассказывалось даже в «Повести временных лет». Так, порученец Рюрика Олег убивает киевских князей Аскольда и Дира, показывает народу маленького Игоря и говорит: «Вот ваш князь». А то, что христианство вводили на Руси огнем и мечом, известно также. Итак, интерес правящей династии и церкви делает Русь православной и подчиненной династии Рюриковичей. Вот вам и идеология тогдашнего времени, а уж когда в начале XIX века правящие европоклонники заговорили на французском наречии и пренебрегли русским, то вся официальная наука стала обслуживать эту легенду.

С тех пор и по сию пору карта Евразии рисовала картину, на которой русского народа до указанного времени не было. От Алтая и до финских скал лежала Великая Скифия на месте проживания русского народа. Скифы же описывались и сегодня продолжают описываться кочевым ираноязычным народом. По сути дела, рисовалась шизофреническая картина: громадного русского народа нет, есть ираноязычные кочевники. Есть алтайцы, финны, мордва, европейцы. Есть даже фантастические кочевники ираноязычные! Ираноязычные народы – т. е. персы, таджики. Все эти и некоторые малочисленные народы Афганистана уже тысячи лет были оседлыми земледельцами, никогда не были на Русской равнине, однако эта нелепость продолжала сотни лет поддерживаться официальной наукой. Кочевники не пахут землю. Однако, даже вспоминая скифов-пахарей на Русской равнине, официальная наука продолжала утверждать ираноязычность скифов.

Потом неожиданно вся эта масса иранцев пропадает, появляется неизвестно откуда многочисленный русский народ, у которого множество городов (вспомните Гардарику – так называли Русь скандинавы и европейские путешественники за обилие городов и крепостей), мощное войско, которое начинает походы на самую развитую цивилизацию того времени Византию. Князья прибывают щит ко вратам Царьграда

(Константинополя), появляется развитая культура, массовая грамотность (берестяные грамоты) и т. д. Европа на этом фоне смотрится скопищем немытых и неграмотных варваров – вспомните королеву Франции Анну Ярославну – дочь Ярослава Мудрого, выданную за французского короля, удивлявшую знанием языков и литературы некультурную и безграмотную французскую знать. На Евангелии Анны Ярославны Русской крестили французских королей на престол. Согласитесь, что подобная фантастическая картина требует обстоятельного разбора.

Как же было на самом деле?

Палеогенетика говорит, что сегодня самым древним народом выглядит китайский. Ему IX тысяч лет. Русскому народу V тысяч лет. Евреям IV тысячи лет. Эти цифры недавно были приведены палеогенетиком А. Клесовым. У современных русских 52 % имеет генетический код R1a1 – это биологический маркер русского этноса, старейшая гаплогруппа Европы. Конечно, стоит помнить, что генетика дает самые общие цифры, в данном случае – общие цифры ядра русского народа. Но ведь это ядро обрастает другими людьми. А окраина русского народа может нести другие коды. Те же казаки, переселяясь и осваивая новые территории, продолжали считать себя русскими, однако генетический код у них мог нести и другие показатели. Видимо, так получилось и с этрусками. Они считали себя росами, расенами, однако исходный код мог частично меняться в результате массового переселения и неизбежного смешения крови с другими народами.

До крушения Рима предыдущий кризис был в 1200 году до нашей эры. В это время финикийцы, евреи и арабы еще не вышли с Аравийского полуострова. Турок, конечно же, не было на месте нынешней Турции, они появятся здесь тысячелетиями позже. До греков на месте Эллады живут пеласги, которых археологи справедливо называют предками русских и славян. Причем предков русских можно найти и в Западной Европе, и в Африке, однако в основном живут они на Русской равнине и четко фиксируются в Средиземноморской Африке до Туниса, в Малой Азии, на Балканах, в половине Европы от Италии и до Дании. Конечно, современные исследователи находят русских и в Западной Европе (см. исследования О. Семеновой-Роттердам), и в Англии. Однако граница обитания явно плавающая. Поэтому очень глубоко в древность забираться не будем. О мировом потопе, открытии в 90-е годы М. Гросвальда, доказавшем реальность и механизм этого катаклизма, я уже писал (см. «Нижний Новгород», 2024, № 5). Об арктической прародине индусов написано сегодня много (от Б.Г. Тилака до Н. Гусевой и Л. Шапошниковой). Переселение индусов с севера в Индию объясняет генетический код верхних каст индийцев в сегодняшней Индии. О родстве санскрита и русского языка много говорилось, но в данном случае важно остановиться на времени от 1200 лет до нашей эры, от Троянской войны.

Мировыми исследователями сделано довольно много, уточнены многие характеристики той эпохи. Интересно, что современные данные и византийско-греческая традиция в основном совпадают. И это важно. Я, конечно, буду опираться на обе линии. Итак, в 1200 году до нашей эры произошел мировой кризис, сравнимый по масштабам со временем переселения народов, распада Римской империи на Западе или с началом XX века, когда погибли несколько империй. Во всех случаях имели место крушения ряда империй и государств. Произошли мощные перемещения народов, менялась картина мира.

Около 1200 года до нашей эры вулканическая деятельность, страшная засуха привели к ужасному голоду в регионе. Кризис продолжался около 300 лет. Погибли Хеттская империя, Микенская цивилизация, множество городов, произошло массовое переселение народов. Устоял только Египет. По египетским источникам ясно, что войны не сводились к движению армий, ведь «народы моря» шли на Египет с детьми и женщинами. Но найти пропитание было трудно. Возле Мертвого моря пресная вода ушла в глубь почвы на 50 метров. Евреев там еще не было. Они именно в ходе этого кризиса вышли из Египта, где-то скитались до тех пор, пока дошли до земли обетованной. В Европе и Крыму было явно легче. Оттуда могло идти зерно. Троя, или Илион, стоял на путях подвоза зерна. Конечно, это было выгодным расположением. Понятно желание нажиться в этой ситуации и справедливый гнев и тех, кто везет зерно в зону бедствия, и тех, кто ждет подвоза продовольствия. Это и было главной причиной конфликта. На Трою напали со всех сторон, пришло объединенное войско из многих народов. Конечно, Прекрасная Елена, уже дважды бывшая замужем и имевшая детей, если и влияла на ситуацию, то ее влияние было второстепенным. Троянцы не были перебиты, и это легко понять: препятствие подвозу продовольствия устранено, а более они никого не интересовали. Население Трои было явно смешанным, на каком языке говорили – неизвестно. Войско победителей было также смешанным. И там и там были греки, скифы, видимо, и множество других.

Почему я об этом пишу? Часть троянцев (энеиты – родственники и сторонники Энея) ушли сначала на Балканы, а затем после многих мытарств пришли на Апеннинский полуостров, построили там свое Десятиградье и превратились в этрусков (самоназвание – росы, расены). Историки древние и современные называют их нередко пеласгами. В 753 году до нашей эры они основали Рим, были первыми пятью царями в Риме, оказали колоссальное влияние на формирование римской культуры (строительство дорог, канализация, термы, арки, медицина, наука, судостроение и т. п.). Из этрусской письменности выросла латинская. Символом науки был Пифагор. Другой этруск Меценат был покровителем культуры. Свободолюбие было в крови этрусков, и этруск Брут стал одним из заговорщиков против Юлия Цезаря.

Решающая роль в Троянской войне принадлежит Ахиллу. Отметим, что эллины в это время живут небольшими общинами на островах, на территории современной Греции живут пеласги. Складывается древнегреческий эпос в виде «Илиады» и «Одиссеи». Сама «Илиада» начинается словами: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Ахилл – вождь или царь мирмидонян. Эсхил написал Ахиллеиду из трех трагедий. Она полностью до нас не дошла. Сравнительно недавно найдены значительные фрагменты его трагедии «Мирмидоняне». Читателю очень бы рекомендовал прочитать издание Эсхила в серии «Мировых памятников». Там очень много деталей, существенных для греческой культуры и для нашей темы. Дело в том, что греки во все века знали, что Ахилл был скифом из Крыма, из Тавриды, вождем войска из Мирмекия. Этот городок располагался возле современной Керчи. Там добывалась железная руда. На этой руде металлургический комбинат в Керчи работает и сегодня. Железные доспехи и оружие Ахилла и его воинов явно были лучше бронзы его противников и соратников. Видимо, его непобедимость и значение были связаны с этим превосходством в вооружении. Вот почему его выход из боя вместе с войском

мирмидонян резко ослаблял войско противников троянцев, и поэтому он так красочно описан в «Илиаде». Этот эпизод отображен и современным писателем Ю. Никитиным в рассказе «Ахилл».

Кроме Эсхила порекомендую прочитать еще одного грека: Льва Диякона Калойского. Это уже не эпос и не истории Геродота, а весьма серьезное сочинение ученого человека. Через две тысячи лет после Троянской войны произошла еще одна война русских с греками. Когда противостояние русских с Византией зашло в тупик, то встретились византийский император Иоанн Цимисхий и русский князь Святослав. Цимисхий стоял на берегу, а Святослав сидел в лодке. За спиной императора стоял Лев Диякон – историограф Цимисхия. Он же потом написал «Историю». В этом своем сочинении через двадцать с лишним веков после Троянской войны Лев Диякон описывает Святослава как скифа и как роса, описывает русских воинов, вспоминает их предков и пишет об Ахилле-скифе. Греческая традиция и память дошла до Льва Диякона через много лет. Европа же об этой традиции старательно не вспоминает. То, что русский тавроскиф Ахилл является главным героем греческого эпоса, не единственный случай такого рода. Стоит напомнить карело-финский эпос «Калевалу», где главным героем и учителем выступает мудрец Вяйнемейнен (на финском языке и карельском «вяйне» означает «русский»). Мне представляются весьма существенными подробности подобного рода потому, что проторусские выступают здесь не отсталыми, а передовыми творцами цивилизации.

Итак, скифы не кочевники. Кочевать – означает перемещаться со скотом по пастбищам, а не строить города. Скифы – проторусские – при необходимости переселялись вместе с семьями, с детьми, женщинами, со стариками, и, найдя хорошее место для жизни, устраивались основательно: строили укрепления, дома, а не чумы, крепости, создавали производства, шахты, распахивали землю, и обязательно художники и мудрецы украшали жизнь письмом, музыкой, украшениями, всякого рода приспособлениями. Знаменитые скифские украшения из золота являются ярким доказательством этому. Металлические изделия кочевников всегда проигрывают в качестве продукции оседлых кузнецов.

Передвижения могли быть очень дальними, и эта особенность продолжилась в веках и в потомках. Ермак завоевал Сибирское ханство и утонул в Иртыше в 1584 году, а уже в середине XVII века – серия приграничных конфликтов в Приамурье между Русским царством и империей Цин, в том числе героическая оборона Албазинской крепости. Всего за век пройдены тысячи километров! И пройдены, и освоены, и построена крепость. И это не кочевье, а переселение. А после этого русские пришли на Аляску и достигли Калифорнии! Скорость передвижения колоссальная! Семен Дежнев прошел от Москвы до Дальнего Востока, построил судно, на нем прошел пролив между Азией и Америкой, перезимовал в устье реки Анадырь, вернулся, собрал ясак в Якутии и пришел в Москву. Это был разведывательный поход, и по этому пути встречь солнцу пошли другие, основывая поселения, города, шахты, производства. Бросается в глаза то, что русские шли по рекам, а не сидели, подобно грекам, как лягушки у пруда. Они осваивали пространства. Они были земледельцами, строителями, шахтерами, художниками и писателями.

Различие между кочевниками и земледельцами очевидно: кочевнику нужна пустыня и степь, он не производит ничего, он перегоняет скот по пастбищам, в лучшем случае сохраняет предельно необходимые

ремесленные навыки, может собирать самородки, но не строит шахты, города, не пашет землю. К сожалению, официальные историки и сегодня не всегда понимают это. Даже написав на карте слова «скифы-пахари», не делают из этого вывода о том, что это не кочевники, что они пашут, что они земледельцы. У славян же и названия включают «луг» (отсюда *лужичане*, *Лузитания*, *Вандалузия* – т. е. *венды-лузия*), «полян» (*поляне*, *поляки*). Коснувшись памяти в названиях, хочется обратить внимание на то, что (В)ндалузия в королевстве вандалов включала и корни «луг – лузия», и «ванда – венды – венеды – вене». В этом звучало и самоназвание. Существует теория, что название русские произошло от скандинавского «руотси» – гребцы. Согласитесь, что трудно такое представить в эпоху Троянской войны, или основания Рима, или основания вандальского королевства, или войн Святослава на юге, где о скандинавах еще не слышали. Ведь столица Швеции Бирке с 700 жителями появляется только в X веке. Росов и венедов, полян, пеласгов знали не через скандинавов. В период страшного кризиса 1200 года до нашей эры знали скифов, росов, пеласгов как громадную силу имперского масштаба. Как пишут современные историки (американские и европейские) пеласги славились в то время умением строить циклопические сооружения (Акрополь), арочные переходы (Рим), сливную канализацию, громадные каменные сооружения. Они выступали первопроходцами в судостроении, медицине, металлургии. Они закончили бронзовый и начали железный век. Фактически они начали новую эпоху. Именно поэтому греки могли заимствовать у пеласгов и их умения, и их богов, и их культуру. Это пишут сегодня современные историки Запада.

И негоже нам стыдливо продолжать болтать об ираноязычных скифах, о гребцах-«руотси» и т. п. Ведь фигура умолчания навязана Западом: «этрусское не читается».

Датский король Вальдемар I (уже по имени ясно, что исковеркали имя Владимир), сын и муж русских женщин захватил остров Русский (Рюген), сжег русский город Аркону и разгромил святилище русских богов, а громадную статую Триглава бросил в море. Почему? А потому, что христианину Вальдемару мешает. Вспоминать о грабительских подвигах не очень прилично, отсюда и умолчание.

Четвертый крестовый поход не дошел до Палестины, но был захвачен и разграблен Константинополь. Византии не было с 1204 по 1261 год. Вместо нее была Никейская империя. Блестящая работа об этом под названием «Образование венецианской колониальной империи» написана моим учителем профессором Н.П. Соколовым. В связи с этим именем уместно будет сказать несколько слов о традиции, из которой исходит данная статья и представителем которой является Н.П. Соколов. Еще до революции 1917 года существовало серьезное направление в русской исторической науке о связи истоков русского народа и византийско-греческой традиции. В рамках этого направления были работы А. Черткова и Т. Воланского, переведивших этрусские письма как исконно русские. Академик В.Г. Васильевский был специалистом по византийским древностям и упорно доказывал, что Ахилл был тавроскифом и русским по корням своим. Н.П. Соколов, пожалуй, самый выдающийся историк Горьковского (Нижегородского) университета великолепно знал отмеченную традицию, ибо учился у руководителя русской школы в историографии Н.И. Кареева. Он уже готовился к защите диссертации, но произошла революция, и он стал

лишенцем (как сын священника и выпускник Нижегородской духовной семинарии). Вернувшись в науку в конце 1930-х годов, Н.П. Соколов быстро защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Он блестяще читал нам лекции по средневековой истории. В то время особого курса по истории Византии для студентов не предполагалось, однако Н.П. Соколов старался заполнить эту брешь своими работами и лекциями. Напомню еще одну его работу «Сорок лет советского византиноведения», уже название которой говорит о связи с традицией русской школы.

Из других имен в этой традиции стоит отметить В. Иванова, чей перевод Эсхила был издан в серии «Литературные памятники». Именно ему принадлежит старательная разработка найденных фрагментов произведения Эсхила «Мирмидоняне». Причем Эсхил на сто лет ближе к Троянской войне, нежели Геродот. Кстати, и «История» Геродота в этой же серии издана в переводе В.Г. Боруховича, который работал на кафедре всеобщей истории, руководимой Н.П. Соколовым, и прямо повлиял на мой интерес к античности и отмеченной теме. С его легкой руки я оказался в составе Керченско-Нимфейской экспедиции Эрмитажа, в которой проработал несколько лет. При этом, конечно же, побывал и в экспедиции на острове Березань, и на острове Змеиный, и на раскопках Мирмекия и т. д. Вспоминается, как на лекции В.Г. Борухович подчеркивал, что Геродота греки называли отцом истории, а Фукидида отцом исторической науки. А различие состоит в том, что Геродот под историей понимал любые услышанные им байки, побасенки, т. е. не подвергал свои рассказы критическому осмыслению.

Тема тавроскифов-русских была вновь поднята писателями А. Юговым, затем В. Щербаковым, В. Скурлатовым, несколько позже Ю. Никитиным. Из современных нижегородских писателей, писавших по этой теме, стоит упомянуть А. Абрашкина.

Хотелось затронуть еще один, на мой взгляд, важнейший вопрос. Если в 1200 году до нашей эры всеми греками и прочими, на тот период кажушимися нам развитыми, народами было признано, что пеласги явно опережают их в своем развитии, то почему же «официально» считается, что после этих времен кризиса бронзового века у пеласгов – скифов – русов нет письменности? И якобы только по прошествии двух тысячелетий два брата Кирилл и Мефодий принесли нам азбуку. На мой взгляд, причина живучести этого заблуждения чисто идеологическая. И связано это с подчеркиванием того прогресса и успехов, которые принесли русскому народу христиане и династия Рюриковичей. Я не против христиан или Рюриковичей, но нельзя их возвышать за счет русского народа. Ведь посудите сами: в житии философа Кирилла говорится, что он видел в 860 году нашей эры в руках русского купца в Корсуни (Херсонесе) Евангелие, написанное русской грамотой. И не просто русскими буквами, а русской грамотой! И философ знает, что перед ним русская грамота! Когда русские заключали договоры с византийскими императорами, то разве писали эти договоры только по-гречески? И сразу же на Руси, как показывают берестяные грамоты, началась эпоха массовой грамотности, оборванная последующим татарским нашествием; подобная массовая грамотность достигнута лишь при советской власти. Есть свидетельства того, что у нашего народа была письменность в те далекие эпохи. Это и житие Кирилла-философа, и надпись «гороухша» (горчица или горох) на горшке из Гнездовских курганов в Воронежской области начала X века, и мозаика

в Герасе (Джераше) в Иордании с русской надписью, сделанной в VI веке. К этим свидетельствам мне хотелось бы добавить ряд других соображений.

От знакомого айтишника, работавшего в Китае, узнал интересный факт. Я спросил: «Как же вы работаете в Китае с иероглифами? Их же 80 тысяч. Какая должна быть клавиатура?» В ответ услышал: «В китайских компьютерах стоит англоязычная клавиатура. Мы набираем какое-нибудь слово на ней, а дополнительная плата (программа) тут же вызывает по набранной транскрипции китайский иероглиф». Подумалось: как же неудобна работа с иероглифами и насколько удобна работа с русской клавиатурой, русской азбукой. Кто же ее изобрел? Пришлось засесть за раскопки.

Сразу откидываем множество иероглифических письменностей, иератических и картиночных. В свое время картиночно-иероглифическая письменность помогала связям китайцев с корейцами, японцами и другими соседями. Но сегодня ясно, что они не представляют лучшие варианты письменности.

Речь пойдет только о буквенно-слоговой азбуке. Европейские языки получили свою азбуку от латинской, а латинская произошла от этрусской. Ряд алфавитов из-за излишнего национального патриотизма (армянский, абхазский, еврейский, арабский и др.) объявляются как якобы созданные самостоятельно народами, ими пользующимися. Это относится даже к тем, кто имеет алфавит без гласных букв (евреи, арабы, в древности – финикийцы). Но чаще даже не только указанные неполноценные алфавиты, но и полнобуквенные называют различные источники своей заимствованной азбуки.

Латинский язык произошел из этрусского. С этим никто не спорит. В целом же древние языки имеют одну ярко выраженную особенность. Они все выстроены по одному образцу. Для сравнения вызовите на экран компьютера алфавиты древних языков, и вам бросится в глаза то, что за небольшими изменениями они явно повторяют один какой-то первоначальный образец (А-Б-В-Г-Д и т. д.). Конечно, каких-то букв может не хватать, а какие-то существуют в одном алфавите, однако в целом редкое единство порядка букв напоминает порядок периодической системы химических элементов Менделеева, где каких-то элементов не хватало, были пустые клетки, однако порядок в целом был определен. Например, в арабском языке нет буквы П, нет ее и в алфавите арабов. Однако буква Фа (есть только в арабском) стоит на месте буквы П. Отсюда ясно, что филистимляне явно получили название от палестинцев. В египетских текстах PLST обозначает в «народах моря» филистимлян – палестинцев – пеласгов. В греческом языке есть буквы Кси, Пси и т. д., которых нет в русском, поэтому для удобства богослужения и почтения к исходному источнику Климент Охридский (реальный творец кириллицы) добавил эти буквы в кириллицу. Однако он не сломал существующего порядка, впрочем, как и арабы, которые поставили букву Фа на место П, как бы подчеркнув неизменяемость исходного образца.

Кто же создал исходный образец? Ряд авторов указывают на греческий, другие говорят о финикийском, многие пишут о языке пеласгов. Пожалуй, это и есть реальные претенденты на исходное гениальное творение алфавита. Здесь придется ввести еще одно общее соображение. Заимствование всегда естественно идет от высших к низшим по культуре народам. Так, финикийцы сначала пользовались для удобства

торговли аккадской письменностью. К чести греков, они, как правило, не писали об оригинальности своего алфавита. Они писали, что заимствовали свой алфавит у пеласгов или у финикийцев. Это только сегодня (в доме повешенного не говорят о веревке) старательно забывают о пеласагах. Ведь это явно напоминало бы о русских, о славянах, об их древнейших цивилизационных корнях. А это для нынешнего так называемого цивилизованного мира не очень приемлемо. В результате происходят удивительные вещи. Под давлением «общественного мнения», подкрепленного бомбежками Белграда и Югославии, сербский исследователь профессор Р. Пешич пишет об алфавите и языке из Винчи под Белградом. Язык Винчи удивительной древности – III или даже V тысячелетия до нашей эры, схож с этрусским, однако Р. Пешич пишет, что, как и все «приличные» народы, народ Винчи заимствовал свой алфавит у финикийцев. Соображение удивительное, обоснованное для непредубежденного читателя лишь давящей идеологией западничества, и только.

Ведь финикийцы никак себя не проявили до катастрофы бронзового века, засверкали только в середине I тысячелетия до нашей эры, когда был уже и греческий, и латинский, и этрусский языки. Финикийцы, евреи и арабы – именно в таком порядке – вынуждены были выбраться с территории своего исходного проживания, Аравийского полуострова, только после 1200 года до нашей эры, т. е. после катастрофы бронзового века. И конечно, все эти кочевники кроме кочевья и скотоводства были вынуждены заняться торговлей, для чего им (финикийцам) и понадобился аккадский язык и аккадская письменность. Но уж очень аккадская письменность неудобная. Тогда сели финикийские мудрецы и якобы придумали свою письменность. И конечно, нормальным людям в это верится с трудом.

Ведь грекам во втором тысячелетии до нашей эры было ясно, что пеласги являются более развитым народом и обладают более обширными познаниями в разных отраслях – в строительстве, морском деле, металлургии, медицине, общем представлении о мире. Поэтому самые древние циклопические сооружения (Акрополь в Афинах, Львиные ворота в Микенах и пр.) строили пеласги. Именно пеласги принесли грекам, пребывающим в бронзовом веке, железо, начали железный век. Поэтому греки не стеснялись заимствовать у пеласгов не только технические достижения, но и богов и героев (Ахилл, Геракл, Посейдон, Прометей и др.). У древних греков даже была легенда о том, что первым человеком на земле был Пеласг, а письменность и знания принес Прометей.

Родство или общее происхождение палестинцев – филистимлян – пеласгов – этрусков – скифов – росов для греков от Эсхила и до Льва Диакона Калойского в Византии не вызывало сомнений. Западники иногда шипели сквозь зубы проговариваясь так, как это сделал Наполеон, сказав об Александре I: «Лукавый византиец!» Стабильность, постоянство языка русов видны и по неоднократно озвученному явлению, когда ученые индусы, попав в Россию, ошарашенно твердят, что русские говорят на каком-то варианте санскрита. Об этом мне уже довелось писать. Об этом писали и Н. Гусева, и Л. Шапошникова. Создан словарь санскрито-русских совпадений, известна книга Б.Г. Тилака об арктической прародине, моим отцом профессором А.А. Бенедиктовым рассказано о признании в массе народной в Индии русских старшими братьями индусов, что по отношению к старшим кастам сегодня подтверждается генетическими исследованиями.

Однако вернемся к древним языкам. Напомню, что в еврейском иврите и у финикийцев в письме нет гласных букв, лишь значки над строкой могут подсказать, что здесь подразумевается гласная. Попробуйте проделать такое с русским языком. Вы обнаружите массу слов, которые прочесть без гласных правильно невозможно: дом – дым, стол – стул, рок – рык, барин – баран, бог – бег, меч – мяч... Обратим внимание, что в иврите и финикийском алфавитах их азбука все же начинается с гласной буквы А. Почему? Во-первых, ведь гласная, а во-вторых, почему она стоит первой? Ответ, на мой взгляд, может быть один: на создателей этих азбук давила русская пеласгическая азбука как более развитый вариант. В противном случае непонятно, почему цивилизованные земледельцы и торговцы китайцы поняли неудобство иероглифического письма только сегодня, через тысячи лет, и вынуждены работать с англоязычной транскрипцией, а отсталые кочевники-торговцы финикийцы неудобство аккадской письменности поняли моментально. И почему они ничего не изобретали сразу, а покрутившись с аккадским письмом взяли и одномоментно создали азбуку?! Китайцам было удобно с другими народами общаться при помощи иероглифов, а финикийцам нет. А русские, оказывается, тысячи лет существуя и опережая по развитию своих соседей, никак не могли создать своей азбуки?

Напомню еще одно серьезнейшее соображение: проторусские (пеласги – венеды – этруски – скифы – росы) не только создали азбуку, но и придали ей мировоззренческий смысл. В нашей азбуке за каждой буквой и в целом за всей азбукой стоит написанный и изреченный согласованный текст, несущий определенное мировоззрение. Ведь помните: Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть, Живете и т. д. А в других азбуках есть просто названия букв типа «алеф», «гимель» и т. д. Все сказанное убеждает в том, что именно пеласгическая азбука была изначальным алфавитом. Будет ли открытая древняя азбука винчианским письмом, неизвестно. А коли так, то стоит ждать новых открытий археологов и лингвистов, находок и расшифровок.

В связи с этрусками стоит обратить внимание на следующие соображения. Один из основателей палеогенетики А. Клесов написал, что этруски к русским и славянам не имеют отношения потому, что у них несколько другой код, не R1a1, в во-вторых, строчки этрусских надписей, посланные им некоторыми сторонниками русско-индоевропейского происхождения этрусков, переводятся различно. Мне кажется, что уважаемый биохимик-генетик ошибается. Каждый неизвестный текст в истории многими разными исследователями переводился различно. Однако все же когда-то переводился. Просто своего Кнорозова для этрусских надписей пока не нашлось. Иными словами, «переводческий» аргумент А. Клесова говорит лишь о том, что признанного перевода у его «экспертов» не оказалось. И всего-то.

И второе. У русского народа сегодня генетический код R1a1 есть только у половины населения. Точные цифры здесь не приведешь, потому что весь народ не подвергался генетическому анализу. Имеются лишь приблизительные цифры. Что ж, Пушкина когда-то называли «наше все» и творцом русской поэзии! Найдется ли у него арийский генетический код при его африканских предках? Или те же Романовы! На картине Васнецова «Богатыри» искусствоведы углядывают прототип Ильи Муромца в Александре III. Но ведь в крови у Романовых к концу XIX века много ли осталось русской крови – женились-то двести лет на нерусских принцессах. Однако и Пушкин, и царь Александр III

говорили по-русски, ощущали себя русскими, были безусловными патриотами. Это же касается и той половины русского народа, который не имеет арийского генетического кода. Причем вряд ли кто будет возражать, что на окраине русского мира соотношение биологически русских и иных в русском народе может быть отличным от исходной картины. Вспомним, что турки пришли в Малую Азию монголоидами. Сегодня это народ совершенно европейского облика. Объяснение простое: многие века турки вливали в свой генотип кровь европейских, славянских и русского народов. Результат налицо. Более того, вспомним о янычарах – самых турецких турках. Известно, что они появились в результате специального отлова и последующего воспитания христианских мальчиков в турецко-исламском духе. Скорее всего, в янычарах и не было изначального турецкого генетического кода. Но ведь и у русских жизнь шла в соприкосновении с другими народами через тысячелетия существовавший слой пограничников-казаков. Запорожское, Черноморское, Терское, Кубанское, Донское, Волжское, Амурское, Уссурийское и другие казачества вряд ли оставались генетически чистыми, и все же сохраняли русский дух (вспомним Тараса Бульбу у Гоголя) явно лучше, чем чистокровные дворяне с их французским языком. Иными словами, этруски были на грани проторусского мира, восточнее распространялись венеды (отсюда и известная Венеция). В каком-то смысле этруски – пеласги исполняли роль слоя казаков, сотни лет испытывали на себе влияние окружающих племен. В результате генетический код мог меняться, но суть оставалась прежней.

Нет сомнений, что проблема этрусков – пеласгов – русских таит немало неожиданных открытий для непредвзятых будущих исследователей.

Игорь ВИРАБОВ

Журналист, филолог. Родился в 1959 году в городе Баку. Окончил Азербайджанский госуниверситет, факультет филологии («русский язык и литература»). Работал учителем средней школы в селе Сеидбазар в Азербайджанской ССР. В 1982 году переехал в город Курск, где работал корреспондентом заводской многотиражки в объединении «Прибор». В 1984–1988 годах заведовал отделом культурно-массовой работы в областной молодежной газете «Молодая гвардия». С 1988 года – собкор «Комсомольской правды» по Среднему Поволжью. С 1994 года – редактор отдела культуры, с 1998-го – заместитель главного редактора «Комсомольской правды», с 2006-го – заместитель главного редактора газеты «Известия». В настоящее время – редактор отдела культуры «Российской газеты». Занимал пост ответственного секретаря газеты «Аргументы и факты», затем вернулся в «Российскую газету».

Автор биографии поэта Андрея Вознесенского (вошла в короткий список премии «Большая книга»). Живет в Москве.

ЭВАКУАЦИЯ В ТАШКЕНТ

Что можно узнать о себе за двадцать дней
с войной и без войны

Город букв

Иду себе по ташкентской улице Сагбан. Слева мелькнули буквы акварельных минаретов. Справа вздохнули предложениями дворики сочного плова. Дальше пошли бетон, металл и проза – вдруг читаю на заборе чей-то крик души: «Я посвятил это девушке с зелеными глазами».

Загадочная надпись, согласитесь. Автор явно, хоть и аноним, поэт. Сфотографировал на всякий случай.

Тем более что надпись мне напомнила другую странную историю. Сто лет назад, в мае 1921-го, русский поэт Сергей Есенин собрался в Туркестан, конкретнее, в Ташкент (тогда все было еще Туркестаном, позже его поделили на пять среднеазиатских советских республик). Перед отъездом приятель Анатолий Мариенгоф стал отговаривать: зачем ему Ташкент? И вдруг в ответ Есенин, совершенно трезвый, без какой-то логики заговорил про их подругу Галю Бениславскую: мол, обрати внимание – «а у нее глаза зеленые!».

К чему это? Мариенгоф застыл в недоумении – Есенин тут же укатил в Ташкент.

И вот опять. Зеленые глаза глядят с ташкентского забора.

Случайно – или времена рифмуются? Из прошлого подмигивал поэт.

Улица Сагбан, где я сейчас иду, когда-то в древности вела к воротам города, а их было 12 – по числу созвездий зодиака. То есть под этими же звездами и этим же путем ходил тут беспощадный всемогущий

Тамерлан, а до него еще и ученик Аристотеля, Александр Македонский. А после них – ходил еще поэт Есенин. А после – Симонов или Ахматова. Тут где-то их следы.

* * *

Ташкент плывет, как рукописный свиток.

По улице Сагбан я шел от мемориала Славы – там огромный парк с подробным музеем, посвященным нашей общей Великой Победе. Там ходят школьники, там же недавно президент Узбекистана возлагал цветы к памятнику «Ода стойкости». Скульптурная симфония посвящена верной Зульфии Закировой из Ханабада, потерявшей в войну пятерых сыновей и вместе с невестками хранившей до последних дней преданность своей семье.

Мемориал нельзя не посетить – настаивал поэт и переводчик Мухиддин Омон. Мы с ним встречались, он вручил два необъятных тома, «Узбекистан в годы Второй мировой войны». Книги ценные, в них летописи тысяч судеб. На обложке, увы, не «Великая Отечественная». Да и в самом музее, собранном с любовью, надписи на стендах удивляют – «оборона Москвы», «оборона Одессы» или «Курская дуга» – на узбекском и... английском.

Всего лишь буквы – стоит придавать значение? Похоже, стоит.

Узбекский поэт и переводчик Мухиддин Омон, широкая душа, сидел напротив и читал свой новый перевод из Ахмадулиной – на удивление созвучный мелодически лирическому русскому стиху. А у меня перед глазами плыл Ташкент и строки про «вселенную в окне – букварь для грамотея».

Другой поэт, Сухбат Афлатуни (в переводе – «диалоги с Платоном»), он же ташкентский русский поэт и писатель Евгений Абдуллаев, об этом тоже говорит: воспринимать весь мир как алфавит – это такое свойство азиатского суфизма.

– В какой поэзии еще найдешь сравнения, – заметил он, – подобные стихам узбекского дервиша Машраба трехсотлетней давности? У него девичий «стан подобен (букве) алиф». Или «от горестей спина сгибается как (буква) нун».

Так что все буквы и слова здесь – зашифрованная память или же привет из космоса.

Восток: в него надо вчитаться – а без этого он не откроется.

* * *

Приехал я, чтобы ответить на вопрос: вот почему в Великую Отечественную главные киношники страны в эвакуацию уехали в Алма-Ату, художники предпочли Самарканд, а поэты и писатели – именно Ташкент?

Но... следом тут же побежал другой вопрос: а почему сюда же (и без видимых причин!) еще в двадцатые, в Гражданскую, решил отправиться на двадцать дней поэт-имажинист Есенин? А через двадцать лет сюда приехал с фронта автор «Жди меня» военкор Симонов – и посвятил поездке повесть «Двадцать дней без войны».

Времена рифмуются, будто узоры на ковре.

Но я хожу тут, рассуждаю про себя: а почему сюда же года три назад свалились россияне-релоканты (средний возраст 32) – и все они

в Ташкенте не зарифмовались? Приехали и моментально выпали – остался, говорят, лишь чей-то ресторанчик.

Кто приезжал?

Айтишники, пиарщики, администраторы. Поэтов не было.

Дело не в том, сколько уже уехало, а сколько еще нет – скорее, в том, какой за ними остается шлейф.

Про них в Ташкенте ходят анекдоты: некий питерский психолог с трапа самолета прокричал – здесь азиатчина, нет европейских ценностей! Другие рвали волосы: то слишком холодно зимой, то слишком душно летом.

Странно – говорят мне – а чего они хотели? Приезжали-то зачем? Или за чем.

Искали для себя здесь «город хлебный» – а попали в город букв...

Нет, все-таки кому куда, а мне пора к Есенину. Здесь ведь у русского поэта – свой музей.

Двадцать дней Есенина

Ташкентское метро улыбчиво и не угрюмо. Мне до станции «Хамида Алимджана» (следующая – «Пушкинская»). Если кто не знает, Алимджан и Пушкина переводил. Писал антифашистские стихи. Ахматова в эвакуации к нему ходила за дровами. Но в 34 года, в разгар войны, поэт погиб в авиакатастрофе.

От метро минуты три – и вот музей Есенина. Белый домик на бывшей улице Толстого (переименованного в 90-х в академика Кары-Ниязова). Вокруг пятиэтажки, рядом спортплощадка – но музеем, кажется, уютно. Что немаловажно – он тут государственный. И вход бесплатный.

Захожу – как раз Борис Голендер водит по музею заглянувшую семью из Подмосковья, из Дубны, папу-маму-дочку-школьницу. Борис Анатольевич – историк и один из тех энтузиастов, силами которых здесь музей и появился ровно полвека назад. Он уверяет: как со школы зачитался, так его Есенин и не отпускал. «И не жалею, – говорит. – Мне Есенин помогает жить. Великие поэты отличаются от нас умением видеть мир лучше, дальше нас».

Ведет из зала в зал, их тут немного, и всё очень плотно, густо, отовсюду смотрят лица из другого времени. Вот и платочек матери поэта. Вот кожаный коричневый чемодан из «Англетера», доверенный музею дочерью Есенина Татьяной, – он помнит заграничные вояжи самого поэта и поездки Тани с братом, мамой Зинаидой Райх и отчимом, великим «доктором Дапертутто», Всеволодом Мейерхольдом, имя которого нацарапано на чемодане возле ручки.

Был еще второй чемодан – в нем дочери после ареста отчима и гибели матери героически удалось спасти архивы Мейерхольда: передала Сергею Эйзенштейну, и теперь тот чемодан в Москве, в Музее Глинки...

Вот и посмертная маска поэта – их осталось две, одна в Ташкенте, а вторая в Константинове.

Когда Есенина нашли в декабре 1925-го в «Англетере», в кармане пиджака лежало крохотное фото детей, Тани и Кости, завернутое в денежную купюру. «Дочь, кстати, – говорит Борис Голендер, – никогда не сомневалась в том, что это было самоубийство...»

И тут Борис Голендер вспомнил про Сергея Безрукова: приезжал в прошлом году, выступал в Ташкенте, побывал в музее, все цветы от зрителей, огромную охапку, отвез на могилу Татьяны Есениной – она

ведь как приехала в эвакуацию в Ташкент, так здесь и прожила всю жизнь...

Но едва он произнес имя Безрукова, школьница из Подмосковья бросила свой телефон и прокричала: «Боже мой, я, может быть, сижу на стуле, на котором мог сидеть Сергей Безруков!»

Голендер попытался убедить: Есенин лучше!

Стал перечислять: к ним приезжали и Евгений Евтушенко, Римма Казакова, Василий Лановой, Сергей Никоненко – «это же он сыграл первого Есенина в нашем кино».

Нет, я и сам Сергея Безрукова, конечно, уважаю. Просто школьница из Подмосковья не хотела слышать никаких других имен. Родители смущенно объяснили, что у них в Дубне снимался сериал «Бригада» – там же главный был Безруков, так что...

Все равно, конечно, польза от экскурсии для школьницы тут очевидна – стоило лететь в Ташкент, чтобы узнать, как много удивительных имен скрывает русская культура.

* * *

Так что же привело в Ташкент Есенина? Представьте: 26 лет, молод, а не зелен, ростом всего 168 см, а уже большой поэт. Вроде бы вдруг сорвался в мае 1921-го – но и не вдруг.

Как раз против него сплотились литсобратья. Дело и не в его перепалках с Маяковским или драке с Пастернаком.

«Главные хранители русской души и речи», писатель-символист Алексей Ремизов, писатель-большевик Евгений Замятин (оба вот-вот сбегут из страны, без пяти минут эмигранты) уверяли, что на место подлинных творцов пришли такие «юрки» писаки, как Есенин.

Под натиском создателей литературных репутаций и нарком культурных дел Луначарский пригвоздил публично «исповеди хулиганов».

Так что Есенин ехал на Восток не в поисках красивых декораций. Убегая от себя, хотел прийти к себе.

Поехал в Туркестан с приятелем Колобовым, ответработником наркомата путей сообщения, в его вагоне жил в Ташкенте – и съездил в Самарканд.

Было у него несколько литературных вечеров – но больше по друзьям-приятелям. Здесь ведь его встретил свой широкий круг поэтов. И «крестьянский», давний приятель Есенина по переписке Александр Ширяевец. И футурист Георгий Светлый. И даже имажинист Валентин Вольпин. И те же разговоры.

И к тому же оказалось – здесь танцуют тот же модный танец шимми, что в Москве и Питере. Носят те же остроносые ботинки, а в кинотеатре «Хива» – совсем новый фильм «Кабинет профессора Калигари» с Конрадом Фейдтом в главной роли. Все вроде то же – будто и не уезжал.

Есенин отказался от кино: «Надоело».

Затащили на концерт, где пели «Шумит ночной Марсель», – удрал со скандалом.

«Пустите, – говорит, – не за тем я приехал».

Вышел на улицу, а там верблюды. Обнял его: «Милый, унеси меня отсюда, как Меджнуна». Куда же уносить – от самого себя?

Потом в Москве он так и говорил: запомнился верблюд.

Художник Александр Волков, ученик Маковского, считавший себя учеником Врубеля, в то время был уже директором первого в Средней

Азии Госмузея искусств. «Пришел ко мне, сел на пол в комнате возле окна и стал читать стихи: “Все познать, ничего не взять пришел в этот мир поэт”».

При чем тут был Ташкент?

А дело тут во «внутреннем Ташкенте» – поисках ума и сердца.

И художник Волков удивлялся: как Есенин умудрился написать о Бухаре, которую не видел, – «и стеклянная хмарь Бухары»?

«Лучше ведь не скажешь. Это знаете что? Зной, смешанный с пылью веков, зной, оплавливающий камни бухарских куполов, их голубые изразцы. И откуда он это знал?»...

По пути в Ташкент он лихорадочно работал над поэмой «Пугачев». Приехал – стал читать отрывки, но писал еще и возвращаясь в Москву. Там одинокий Пугачев беседует наедине с собой, его преследуют и предают свои же – и нет покоя ни ему, ни миру.

Через год соратник по имажинизму Вольпин написал статью о туркестанской вылазке Есенина и встречах с ташкентскими поэтами. Сборники с его статьей изъяли отовсюду, потому что книгу открывало приветствие демона революции Троцкого. А Вольпин и пытался разгадать, зачем Есенину была нужна эта поездка: «Он ехал не в “Ташкент – город хлебный” – а открывать Восток. Внутри себя...»

Замечательный художник Волков объяснял по-своему:

«Не знаю, почему он тогда приехал в Ташкент. Многие сюда приезжали. Но он чувствовал, что здесь что-то важное должно совершиться для России. Настоящие поэты не выбирают случайных дорог».

Были еще в Ташкенте неожиданные встречи на вокзале – их обычно замечают вскользь: но вскользь и между строк нередко прячут что-то очень важное...

Есенин встретил земляка из Константинова, учились вместе, – красноармеец Кузьма Цыбин ехал на борьбу с басмачами в штаб одной из среднеазиатских бригад.

Встретил и приятеля по временам учебы в народном университете имени Шанявского – поэт Василий Наседкин позже женится на есенинской сестре Кате. А сейчас проездом с фронта – он тут не первый год воюет с бандами басмачей. Есенин подарил ему книгу «в знак приязни»...

Но его «Персидские мотивы», появившиеся позже, это ведь не только «Шаганэ» – но и проникновенная «Баллада о 26»: «Ночь, как дыню, / Катит луну. / Море в берег / Струит волну. / Вот в такую же ночь / И туман / Расстрелял их / Отряд англичан».

Четыре оставшихся после Ташкента года жизни Есенина – это не только разъедавший изнутри «черный человек». Это и «Русь уходящая», где он, «задрав штаны, готов бежать за комсомолом». Это и Ленин – строитель новой жизни из его поэмы «Гуляй-поле». Это и вещий сон, в котором видится поэту вечная история – «с копьями со всех сторон / нас окружают печенег»...

* * *

И через двадцать лет, в сорок третьем году, в том же Ташкенте – Есенин снова не давал покоя никому. Ни эвакуированным надолго, ни прибывавшим на побывку с фронта. Каждому – по-своему.

Лидия Чуковская спросила у Ахматовой: «А если бы Есенин не погиб, быть может, и выработался бы из него настоящий поэт? Ведь было же в нем что-то?»

Анна Ахматова неспешно отвечала: «Не думаю. Слишком уж он был занят собой. Даже женщины его не интересовали нисколько. Его занимало одно – как ему лучше носить чуб: на правую сторону или на левую?»

И эхом неожиданно – у Константина Симонова в повести «Двадцать дней без войны» майор Лопатин вспоминает вдруг в Ташкенте, как в двадцать третьем году гордился знакомством с Есениным. И как теперь, под пулями и бомбами, он слышал под Одессой полкового комиссара, читавшего бойцам Есенина по памяти.

И вот майор Лопатин – может, сгоряча и присмотревшись, как различны интересы творческой среды в эвакуации и тех, с кем он бывал на фронте, – не совпал совсем во мнении с Ахматовой:

«Будь Есенин жив, наверно, в эти роковые дни писал бы стихи о своей России и ездил бы на фронт – пускали или не пускали, все равно бы ездил!

Да и лет к сорок первому году ему было бы не так уж много – всего сорок шесть!»

Режиссер, с которым говорил у Симонова в повести военкор Лопатин, стал напоминать ему об Александре Блоке. И зачем это, кому понадобилось, чтобы поэт надел воинский китель и сидел каким-то табельщиком в военно-строительной команде под Пинском на Первой мировой войне! Тем более что ту войну потом признали глубоко неправильной, империалистической и «чуждой народным интересам».

Что сказал в ответ майор Лопатин режиссеру?

«Чуждая-то чуждая, а три миллиона народу на ней в землю легло. Как с этим быть? Может, Блок при всем отвращении к войне чувствовал потребность разделить общую судьбу? Не просился, но и не открывался, хотя, наверно, мог».

Случайно ли в ташкентских разговорах каждый раз всплывали эти имена – Есенин, Блок?

Но так сходилась – тут же постоянно что-то сходится, – что эти два поэта здесь, в Ташкенте, в прозаической беседе двух героев повести оказались точками отсчета, лакмусами, единицами измерения. По ним герои будто и определяли для себя свой «внутренний Ташкент».

А что это такое? Что-то вроде совести. Ужасно беспокоит.

Что, к примеру, может означать эта «потребность разделить общую судьбу». Кто-то сочтет, что это атавизм, а кто-то скажет: самурайство. Так или иначе, это все про то, чего нельзя купить, продать или пересчитать.

Как можно увидеть – совесть? Разве что в глазах вдруг что-то промелькнет. Зеленых?

Между прочим, и Ахматова – ловила те же взгляды:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне.

Шехерезада идет из сада

Забиваю в интернете название: «Мангалочий дворик». Это клуб-музей Анны Ахматовой. В Ташкенте он больше четверти века. Навигатор Яндекс лукаво петляет по центру, я иду по стрелке, «но шаги мои были легки» – от площади Дружбы народов к огромному парку – мимо шмыгнул паровозик с переростками-туристами – и где-то в самой середине парка наконец... Стрелка замерла: пришел.

Передо мной на вывеске «Даяко-чикен». Корейский ресторанчик. Стены трясутся под биг-бит, и можно было бы, конечно, перепутать правую и левую перчатки, но сейчас в Ташкенте ходят без перчаток.

Анну Андреевну в «Даяко-чикене» не видели.

Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

И все же, есть музей Ахматовой в Ташкенте или нет?

На выручку пришел всезнающий Борис Голендер, историк из музея Есенина:

«Да, музей Ахматовой, конечно, есть. Но он такой... домашний. Есть душа музея, вокруг нашей ташкентской поэтессы Альбины Маркевич собираются – встречи, лекции, вечера. Одно время – в “Русском доме”, сейчас их приютила епархия – встречаются в библиотеке нашего Успенского собора...

В сущности, проблема в том, что нет музейных экспонатов. Все, что было ценного, давно уехало с владельцами.

Конечно, жаль, что вообще история эвакуации поэтов и писателей в годы Великой Отечественной осталась без своего музея, но теперь уже, боюсь, поздно... Я сам не раз держал когда-то в руках рукописные автографы Анны Андреевны. А теперь даже домов, где жили литераторы в войну, не осталось: после землетрясения 1966 года их не стали восстанавливать».

Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок...

«А, кстати говоря, к нам в Есенинский музей, – уточнил Голендер, – лет 20 назад из петербургского музея Ахматовой на Фонтанке приезжала выставка “Тень моя на стенах твоих”. О Ташкенте в жизни великой поэтессы. И знаете, за пару месяцев набежало пять тысяч ташкентцев... Не знаю, соберется ли столько теперь».

Хотя сама Ахматова писала про Ташкент в 1944-м: «Я не была здесь лет семьсот, / Но ничего не изменилось...».

Много ли могло тут измениться за каких-то восемьдесят лет?

Зайти в ахматовский «азиатский дом», конечно, можно – виртуально. А уж там куда Ташкент вывезет.

Двадцать дней Толстого и Ахматовой

В ноябре 1941-го Анне Андреевне выделили комнатку кассира в «доме литераторов», на Маркса, 7 у ташкентской Красной площади – здесь для эвакуированных поэтов и писателей освободили управление культуры. Теперь и площадь эта называется – Мустакиллик, Независимости. И улица теперь – Махтумкули, по имени туркменского мыслителя. Да и на месте прежнего дома – фонтан.

Следующий ахматовский адрес – на Жуковского, 54 (теперь улица имени академика Садыка Азимова). Сюда Ахматова переселилась летом 1943-го на жилплощадь уехавшей вдовы писателя Булгакова. Дом состоял из нескольких слепленных построек. В глубине двора деревянная лестница вела наверх на балахану (пристройку над верхним этажом).

Переезд ознаменовали строки в честь Елены Сергеевны, булгаковской Маргариты: «В этой горнице колдунья / До меня жила одна: / Тень ее еще видна / Накануне новолуния».

На месте этой горницы колдуньи после ташкентского землетрясения появился типовой панельный дом. Но ведь история, как рукописи, не горит, не рассыпается от землетрясений. Рукописи улиц переходят в дневники, воспоминания и письма из того Ташкента.

Вчитаешься, и удивительное чувство: голоса из прошлого – опять про нас, про день сегодняшней.

Эвакуация эвакуацией, но в творческой среде всё будто повторяется. Всё те же полюса, те же вопросы и рефлексии – какие они, западные или же восточные? Зачем нужны поэты на войне и без войны.

Сижу на кухне у ташкентского русского поэта Сухбата Афлатуни (он же Евгений Абдуллаев), он меня предупреждает от поспешных умозаключений:

«Многие, конечно же, в Великую Отечественную в Ташкент эвакуировались или попросту бежали от войны. Кому-то деваться было некуда, кто-то даже после войны остался здесь. Но, хотя многие из них друг друга недолюбливали и начинали что-то делить между собой, было то, что всех объединяло: однозначное желание победы над врагом. Помни-те же, знаменитое “Мужество” Ахматовой печатали в газете “Правда”: “Мы знаем, что ныне лежит на весах, / И что совершается ныне”.

И там же еще:

“И мы сохраним тебя, русская речь, / Великое русское слово”...

И, между прочим, многие у нас в Ташкенте считали, что картина Германа “Двадцать дней без войны”, конечно, гениальная, но совершенно не передавала подлинный Ташкент тех времён. Он в фильме серый и мрачный – а здесь, при всех лишениях и бедах, была атмосфера светлая на удивление. Даже радостная. По улицам тогда еще верблюд-ды ходили. И люди гуляли, и музыка звучала, и даже, представьте, театральная жизнь бурлила».

* * *

Целая армия голодных взвинченных поэтов и писателей со всей страны одновременно – на маленьком клочке пространства. Кстати, почему все разговоры тут – мол, если уж музей, то, разумеется, Ахматовой.

А почему не Алексей Толстой? Не Симонов, к примеру?

Мощные фигуры, будто отодвинутые в тень.

Рассказы об Ахматовой в эвакуации все время начинают со стесненных обстоятельств. Хотя стесненными они были у всех.

Тем, кто с детьми и стариками, – каморки относительно просторней. Вообще в Ташкент народу прибыло в три раза больше, чем тут было горожан.

Великих, выдающихся и знаменитых – чуть не каждый третий. Литераторов одних – а кто из них не гений? – больше двух сотен.

И все-таки возможность перебраться в более удобную квартиру у Ахматовой была.

Насчет ее переезда в «дом академиков» договорился Алексей Николаевич Толстой. И что же?

Отказалась.

Рассуждали: ну, конечно, там же дорого – 200 рублей за комнату, а здесь всего лишь 10.

Так она сама и объясняла Лидии Чуковской: «Здесь я могу на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток. А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах».

Толстой назвал ее «негативисткой». Она ответила, мол, сам такой.

Зато соседи «ликовали по поводу ее решения». Профессор-пушкинист Мстислав Цявловский «кинулся целовать ее руки, когда она несла выливать помой», – записала склонная к преувеличениям Лидия Чуковская.

И все же дело не в деньгах, ну хорошо, не только в них. Тут всё гораздо тоньше.

Комфортнее устроишься – а сколько будет пересудов. Сколько пыльных строчек в письмах, дневниках, воспоминаниях. Все это ляжет в биографию поэта, а зачем ей прозелень на бронзе?

«Делать биографию» – Ахматова не забывала никогда.

Вот же Толстой: сколько кому добра ни сделал Алексей Николаевич, будут шуршать до наших дней: вот «барин». «Красный граф». «Приспособленец». Даже «шут». А справедливо или нет – какая разница. Злорадство для кого-то тоже счастье.

А потому что надо было «делать биографию».

Тем более что было у кого учиться.

Зато Толстой был выдумщик и весельчак.

В один из дней устроил у себя в квартире детский праздник. Шуточный спектакль.

* * *

Раневская в восторге описала этот вечер у Толстого: скетч назвали «Где-то в Берлине» – он был незамысловат и до колик смешон.

В темной подворотне к красавице Татьяне Окуневской подбирался извращенец Гитлер (его изображал Сергей Мартинсон). Но чуть приблизится – выходят двое из ларца (в роли могучих плотников Соломон Михоэлс и хозяин, Толстой). Маньяк скрывается.

И сцена повторялась до тех пор, пока маньяк не был изгнан с позором. Все это с песнями и плясками – попадали со стульев все.

Детей в эвакуации – болезненней всего – спасали как могли. Попробуй научи детей терпеть, когда им нестерпимо. Все старались как могли, поэты тоже. Выходило по-разному.

Ахматова отправилась на один из «грандиозных вечеров в пользу эвакуированных детей». Чуковская – за ней. Записывает: выступала, прочла «Воронеж», «Веет ветер лебединый», но так, что Чуковской «было стыдно». Не за поэтессу, а за публику.

«Всех встречали бурно, провожали с треском, а ее и встретили вяло, и проводили почти молча... Читала она напряженным голосом, чтобы ее слышали – но все равно было не слышно, – и торопливо, как школьница, чувствуя неуспех, чтобы поскорее кончить».

В чем дело? Чуковская знает ответ: «в общей благотворительно-эстрадно-кабаретной настроенности публики».

Куда деваться в этой атмосфере настоящему поэту? Депрессии ему не избежать, если, конечно, он не какой-то примитивный, а изысканный поэт, ну, настоящий.

Все знали, что поэт Владимир Луговской в Ташкенте страшно рефлексировал.

Но дети промелькнули и в его стихах. Под «сонный разворот ташкентских дней» он написал «Алайский рынок».

Все в его стихах прекрасно так, что жить не хочется: «Мне, собственно, здесь ничего не нужно, / Мне это место так же ненавистно, / Как всякое другое место в мире...»

И тут еще ребенок вдруг – поэт скис окончательно:

«Здесь столько горя, что оно ничтожно, / Здесь столько масла, что оно всесильно. / Молочнолицый, толстобрюхий мальчик / Спокойно умирает на виду...»

Другой поэт, Иосиф Уткин, – противоположность Луговскому.

Он не юн, ему под сорок, он недавно из-под Ельни, там он потерял в бою четыре пальца. Теперь в Ташкенте лечится и действует на нервы всем соседям: ни минуты не сидит, издал подряд «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», а к ним еще и песенный альбом.

Изысканности не хватало Уткину.

Есть у него и про детей, и даже умерших, но Луговской смотрел на них с вершин Олимпа, а Иосиф Уткин по-земному содрогается от ужаса:

«Я видел сам... Я видел их – / Невинных, мертвых и нагих, / Штыками проткнутых детишек! / И, как слепой, руками шаря, / Не веря собственным глазам – / Их матерей в костре пожара, / Товарищи, я видел сам!»

Конечно же, война. Конечно, время обострило до предела эту противоположность взглядов двух поэтов. Или даже двух литературных лагерей.

Но вот... внезапно в этот спор о взглядах, о месте и степени изысканности настоящего художника – вопреки всему, что думала Чуковская о ватниках из зала, – вмешалась Анна Ахматова.

Хотела или нет вмешаться, а сердце заставило. И точки расставились сами собой.

В 1942 году Ахматова в Ташкенте не написала – простонала – о далеком соседском мальчике из Ленинграда. Да не о нем одном: «питерские сироты, детоньки мои» – они были теперь и тут кругом.

«Памяти Вали», две части как два голубя, двадцать две строки: «Под землей не дышится, / Боль сверлит висок, / Сквозь бомбежку слышится / Детский голосок...»

У Анны Андреевны сохранилась расписка от мальчика Вали Смирнова: «Обещаю больше никогда не кривляться, за что Ахматова будет со мной дружить». У него еще был младший брат Вова. А с Валею она занималась французским.

А в Ташкенте ее догнала весть: Валя с братом погибли при артобстреле. «Принеси же мне горсточку чистой, / Нашей невской студеной воды, / И с головки твоей золотистой / Я кровавые смою следы».

Чуковская была взволнована: Ахматова «вдруг объявила мне третьего дня, что она хочет ехать с подарками ленинградским детям в Ленинград и что она уже возбудила об этом ходатайство. “Поеду. Приду к Алимджану и скажу: в Ленинграде меня любят. Когда здесь в декабре вы не давали мне дров – в Ленинграде на митинге передавали мою речь, записанную на пластинку”».

Да, речь ее слушали, затаив дыхание, в сентябре 1941-го по радио в Ленинграде. Запись повторяли – ей внимали. А она же говорила вовсе не о чем-то неземном.

О мужестве. О силе русской речи. О том, что мы не отдадим врагу своей земли.

Простые вещи говорила – как большой поэт.

К ней как-то пришел в Ташкенте юноша-танкист.

Чуковская фиксирует:

«Двадцать три года, серьезный, измученный. Что-то страшно трогательное и правдивое, и строгое. Совсем неинтеллигентный (представляется “Виктор”), но тонкий... Сорванный голос.

Возвращается на харьковское направление. — Я был в атаке два раза. После первого кажется, что больше уже не пойдешь».

Чуковская записала: «Братское чувство, хочется обнять его и плакать. Усталые, строгие мальчики».

А юноша-танкист сказал им вдруг тогда:

— Как странно, что тут танцуют. Хорошо бы, если бы этого не было.

Соседи были рады, что Ахматова от них не переехала.

Соседи были рады: наконец уехал Уткин.

Он такой прямолинейный.

Он на фронт.

В ноябре 1944-го погиб в подбитом самолете, возвращавшемся от партизан.

Его нашли среди обломков с томиком Лермонтова в руках.

* * *

Но все же почему история жизни литераторов в эвакуации не начинается с Толстого? Надо бы так по справедливости, но это слово слишком часто похоже на дышло: зависит от тех, кто это дышло поворачивает.

Алексей Николаевич тоже из Серебряного века. Не чужой Ахматовой: она когда-то с Гумилевым позвала Толстого на свою московскую свадьбу (обвенчались раньше в Никольской Слободке под Киевом). Он ей насолил потом: не раз в своих произведениях изображал претенциозных декадентов, чем-то напоминающих Ахматову, она, конечно, это помнила.

По возвращении из эмиграции Толстой издал свое «Хождение по мукам» в Ленинграде — на обложку водрузил двойной портрет Ахматовой с художницей Судейкиной, о похождениях которой всем было известно.

Знак внимания — такой двусмысленный.

Перед войной, в 1939-м, Сталин вдруг спросил: а почему не печатается Ахматова?

Пространство власти вздрогнуло — по вертикали побежал сигнал. Впервые за семнадцать лет ее напечатали в журналах. Через год приняла в Союз писателей. И даже Алексей Толстой пробил ей сборник «Из шести книг».

Но тут же бдительность «творческой среды» и литсобратьев вернула мяч в обратном направлении, снизу вверх пошел сигнал о безыдейности. А вертикали, чтоб изъять ахматовскую книгу, никакого Сталина уже не нужно.

Вертикаль всегда сильнее.

Ахматовой сочувствовали многие: известно, сколько трагических страниц в ее судьбе. Но ей запомнилось, как на вокзале в Куйбышеве (Самаре), по пути в Ташкент, ее обняла и прослезилась незнакомая старушка. «Бедная, так жалеет меня. Думает, что я слабенькая, — а я танк!»

После войны с Ахматовой пять раз встречался в Ленинграде английский дипломат Исайя Берлин — и тогда его ужасно удивил один нюанс. Ее не просто беспокоит Сталин — но она, как показало Берлину, будто мифологизирует вождя: отбрасывая прочих мелких сошек, только с ним, как с равной по величине фигурой, связывает каждый поворот

своей судьбы. Рассказывала: будто Сталин отдавал приказ отравить ее, но передумал. Из блокадного Ленинграда вывезли Ахматову – все стали повторять: конечно, это Сталин беспокоился. После войны блюститель Жданов обозвал ее «блудницей и монахиней» – и тут Ахматова давала Берлину такое объяснение: а это Сталин к ней ревнует публику. Весной 1946 года она читала стихи в Колонном зале – ей хлопали стоя. У творческой среды тотчас родился анекдот о реплике вождя: «А кто организовал вставание?»

У Алексея Толстого свои особые отношения и с властью, и с творческой средой. Для одних он крупный писатель, разочаровавшийся в правде белых и выбравший правду красных. Для других он разрушитель вековой концепции о том, что подлинный художник в принципе не может разделять те идеалы и держаться тех основ, которые объединяют власть, кроме элит, со всем, что называется, простым народом (разговоры о творческом кризисе Пушкина, если кто забыл, завело прежде всего его ближайшее окружение – как только автор «Вольности» написал «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России»).

Перед войной Сталин изложил Толстому, каким ему видится значение Ивана Грозного в истории страны, для которой единение всегда было вопросом выживания. В эвакуации Алексей Николаевич работал как боец на фронте. Создал дилогию о Грозном – пьесы «Орел и орлица» и «Трудные годы». Малый театр и МХАТ не захотели эти «заказные» пьесы ставить: миллион предложений.

Толстому пришлось подробно объяснять в письме вождю свою идею, прилагая тексты пьес, – тот кивнул в ответ. Пьесы поставили, но чуть не сразу же театры вычеркнули их – сослались на опасный перегиб по линии интимности.

Не привилегия, а крест быть «красным графом»: счет его читателям шел на миллионы, а в ближнем круге избранных глухое раздражение.

Еще раз Толстой обратился к вождю – уже с просьбой перечислить собственную Сталинскую премию за «Хождение по мукам» (в Ташкенте он закончил и свою трилогию романом «Хмурое утро») на постройку именного танка фронту.

«Ваше желание будет исполнено» – и всё.

Несмотря на нездоровое сердце и возраст за шестьдесят Толстой уезжал в командировки – чуть ли не к передовой. По следам встреч с солдатами написал «Рассказы Ивана Сударева». В 1943-м сел за третью книгу «Петра Первого». Написал десятки очерков с понятными названиями. «Вера в победу», «Мы сдуюжим!», «Родина», «Что мы защищаем».

«В русском человеке есть черта... Был человек – так себе, потребовали от него быть героем – герой... А как же может быть иначе?»

Писал он так, что фронтовые писатели опубликовали в «Правде» благодарность Толстому за простую человеческую правду.

Ну и что?

Он многим помогал, он разрывался, но ведь за спиной Толстого – только беспрерывное шипение. С тех пор – до наших дней.

Из дневника Всеволода Иванова: «Погодин считает Толстого приспособленцем».

Иванов и Погодин тоже здесь, в Ташкенте. Надо пояснить, что оба были авторами известных произведений, прославлявших советскую власть. Погодин – автор «Кремлевских курантов». Иванова прославил «Бронепоезд 14-69» (как с белыми бились за советский Дальний Восток).

«Приспособленец» Алексей Толстой не уставал мотаться по госпиталям и выступать перед рабочими заводов, перебравшимися в эвакуацию. Как успевал – понять трудно. И одышка мучила.

Работал – и не протирал штаны – в Комиссии по расследованию злодеяний фашистских оккупантов. О зверствах на Ставрополье – в его очерке «Коричневый дурман». Ездил на процессы в Краснодар и Ростов.

Актриса Рина Зеленая уверяла: сердце там окончательно надорвал.

До Победы не успел дожить, скончался в феврале 1945-го.

Так в грядущем прошлое тлеет

Под присмотром Алексея Толстого в 1943-м в открывшемся ташкентском филиале издательства «Советский писатель» вышел сборник Ахматовой. Первый за 20 лет – если, конечно, не считать «изъятый» за год до войны книжки.

Как-то Толстой пришел к Ахматовой с двумя корзинами: в них яблоки, варенье и дрова. Не черная икра. Ушел – она, как говорит предание, все раздала соседям (нет, дрова оставила). Соседи быстро сгрызли яблоки – и записали в дневники: вот барин, всё жирует, да у него еще, небось, на запасных путях стоит несъеденный вагон с деликатесами.

Соседи, «атмосфера» и «среда» – такое колесо, которое кого угодно переедет. И ведь всегда найдется «Сталин» – «это Сталин виноват».

Ахматова в Ташкенте прожила до мая 1944 года. Написала здесь свою «Поэму без героя» – хотя работала над ней и в шестидесятых. Сожгла написанную драму «Энума Элиш». Создала стихотворения «Мужество», «На Смоленском кладбище», «Три осени», «Где на четырех высоких лапах...», цикл «Луна в зените», в котором и «Ташкент зацветает», и «Пальмира», и «Еще одно лирическое отступление». Там у нее пылал «Ташкент в цвету, / Весь белым пламенем объят, / Горяч, пахуч, замысловат, / Невероятен...»

В феврале 1942-го у Толстого слушали Вильгельма Левика: переводы лирики Ронсара и «Ленору» Эдгара По. Потом Толстой читал свою сказку о Синеглазке. Потом Иосиф Уткин со своими фронтовыми правдами. И композитор Леонид Половинкин с песнями на его стихи. Чуковская немедленно в дневник: «Очень глупый композитор».

Ахматова читала у Толстого «Поэму без героя». Поэма возвращала в 1913-й предвоенный год. Угадывались между строк такие фейерверки множества романов всех со всеми! А в конце концов густые карнавалы Серебряного века будто бы грозили неизбежной всеобщей расплатой. Поэма как предчувствие войны и неизбежного водораздела: белые и красные (а если вглубь задуматься – можно дойти и до раздела на мадам Шерер и «дубину народной войны»).

«Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет – / Страшный праздник мертвой листвы».

Толстой был от поэмы в восторге – в ней каждый до сих пор может услышать что-нибудь свое, истолковав по-своему. Чуковская ревниво записала, что «Толстой похож на дикого мужика», нюхом художество чует, но говорит «в большинстве чушь».

Зачем Ахматовой толстовские яблоки – она просила, чтобы он помог ее безвинно осужденному сыну Льву Гумилеву. Но, кажется, она переоценивала степень его весомости для власти.

А в пьесе Толстого «Трудные годы» в том самом 1942 году появилась Аннушка. Княгиня Анна Вяземская у него – тайная любовь Ивана Грозного, оставшегося в полном одиночестве. Да и она сама несчастлива с супругом. Всё так запутанно, ему покоя не дают ее глаза. Нет, не зеленые.

«Лазоревые глаза твои, невинные... Далеко ли до них мне идти еще? Аннушка...»

После войны, когда Толстого уже не было в живых, Ахматова разоткровенничалась с тем же англичанином Исайей Берлиным:

«Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации... Эдакий мерзавец, полный шарма... Называл меня Аннушкой, что меня всегда корбило. И тем не менее он чем-то привлекал меня...»

И Аннушка в той пьесе – неспроста? Впрочем, Ахматова сейчас же спохватилась и выпалила Берлину – безо всяких оснований: но вообще Толстой «антисемит» – и даже Мандельштам будто погиб после того, как дал ему пощечину.

Берлин и без того воспринимал ее слова как смесь реального с воображаемым. Но эта-то ее фантазия была – с чего?

* * *

Летом 1942-го до Ташкента добралась вдова поэта Надежда Мандельштам, жила уроками французского, пока ее не приняли преподавателем в университет. Жила в том же доме, где Ахматова.

Здесь жили многие, всех уплотняли, по комнате на семью, а то и на две, если разделить перегородкой. Одно слово – «Ноев ковчег».

Тут и семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера и плохо говоривших по-русски. Тут и венгерский пролетарский писатель Виктор Мадарас. Тут и поэт Сергей Городецкий с женой Анной, тоже поэтессой с псевдонимом Нимфа Бел-Конь Любомирская.

Нимфа любила на крылечке вспоминать свои романы – сценаристка Мария Белкина записала за ней – «как был в нее влюблен даже Анатолий Франс и как лежала она однажды, обнаженная, на белой медвежьей шкуре, а на пороге появился он». (На этом Белкина запуталась – который именно?) А Нимфа повторяла: «Но трижды, трижды я вошла бы в двери ада / Лишь за одну из девственных его ночей». Это впечатляло.

Но про Городецкого. Был когда-то близок к Гумилеву, вместе создавали «Цех поэтов», потом пути их разошлись. Городецкий больше не писал сколько-то значимых стихов и даже обзывал Ахматову прилюдно «контрреволюционеркой». Однако же в Ташкенте жили по-соседски дружно. Было что вспомнить. До поры до времени.

Он рисовал Ахматову, расписывал ей комнату и выступал с ней в госпитале. Она на день рождения вручила ему пару яблок. Он даже подстригал ей челку – осталось письменное заверение, что справился: «Верно. А. Ахматова. Хорошо».

Но с появлением Надежды Мандельштам все церемонии закончились. Совпало так.

Возможно, что и фантазия вокруг Толстого с Мандельштамом тоже стала отголоском этих дней.

Мало ли кто, и что, и как нашепывал Ахматовой – но, значит, нравилось, раз слушала.

Желающих злословить о Толстом всегда хватало. По любому поводу. Вот, например, жена у Алексея Николаевича слишком молода. Людмилу Баршеву подозревали в «шашнях» с сыном видного историка, Борисом Виппером. Корней Чуковский тут же выдал злую эпиграмму – радовались страшно: «Старик терпел большой урон / Пока щенка не виппер вон».

Злословие особая статья – в эвакуации сгустился этот концентрат.

Дочь Корнея Чуковского негодовала, что Раневская с Ахматовой «после большого пьянства» кричат на весь двор. После эвакуации она с Ахматовой лет десять не встречалась, это уж «потом подружилась с нею снова и дружила до гроба»... А Елене Булгаковой, которая выхаживала ее во время тифа, припомнила электроплитку: «В одну из тяжких голодных ташкентских зим, будучи оправдомом, она вошла ко мне и перерезала (с Евгением Хазиним, братом Надежды Мандельштам) у меня свет за то, что я якобы жгу плитку сверх меры. Это было смерти подобно: не на чем же было стряпать, топлива, плиты у меня не было... Думает, что я забыла?»

Корней Чуковский разругался насмерть с Самуилом Маршаком: тот не хотел в 1942 году поддерживать переиздание кроважидного детского триллера Чуковского «Одолеем Бармалея!» – «И всадил он Каракуле / Между глаз четыре пули». Хотя Чуковский сам перечитал лет через десять и признал, что как-то тут погорячился.

Пламенная запись в ташкентском дневнике Всеволода Иванова. Услышал от Маруси, домработницы, – муж ее, оказывается, капитан и служит в штабе полководца Жукова где-то под Сталинградом. Реакция у Иванова неожиданная. Раскалился добела: какая-то Маруся – и при этом муж при штабе Жукова?!

«По прежним масштабам, Жуков – вроде генерала Брусилова – кто же был бы тогда этот капитан? Сын банкира, крупного промышленника, университетское, может, и академическое, образование – а теперь? И жена его не придает этому значения, да и он, небось».

Оказалось, что война во многих, даже с виду патриотах, поднимает ностальгические чувства: кто сказал, что с кукишем в кармане жить легко?

Двадцать дней Симонова

Вот в это всё у Симонова в повести майор Лопатин, между прочим, окунулся прямо с фронта – и контраст был ощутим. Под пулями какое «словоблудие». Тут любят рассуждать, как жизнь невыносима, – там просто «до смерти четыре шага».

Почтенная актриса в симоновской повести – а в Ташкент приехали в эвакуацию и театр Ленинского комсомола (нынешний «Ленком»), и театр Революции (нынешняя Маяковка), и киевский театр Ивана Франко, и киноактеры организовали свой театр, и... всего к десяти ташкентским прибавилось еще восемь «новых» театров – так вот, почтенная актриса задает вопросы прибывшему военкору. И ядовито так: ну что, мол, «человек, бывающий на войне»?

Ей хочется не столько расспросить, сколько уесть Лопатина – и смотрит сверху вниз, как человек высокого искусства: ну что, убивали кого-то на фронте? Получили удовольствие – или испытали наслаждение? Откуда вообще берется в людях эта вот «решимость умереть за родину»?

Майор Лопатин терпеливо отвечал. «Наслаждение» – это не про войну. «Решимость умереть» – из области самоубийства. Тут вообще другое: «решимость сделать все, что от тебя зависит, в условиях, когда это грозит смертью».

Лопатин тут – как в параллельном мире. Как его угораздило?

Помимо всего прочего в Ташкенте военкору Лопатину важно было встретиться со старым знакомым, Вячеславом Викторовичем, – не секрет, что в повести описана встреча самого Симонова с давним товарищем, отличным боевым поэтом Владимиром Луговским.

Когда-то тот наотмашь звал читателей такими пулеметными очередями строк: «Заветная ляжет дорога / На юг и на север – вперед. / Тревога, тревога, тревога! / Россия курсантов зовет!»

Когда-то в довоенном фильме Эйзенштейна хор звал читателей под знамя Александра Невского словами Луговского: «Вставайте, люди русские!»

И началась война, и люди, которые поэту верили, вставали – что же Луговской?

Отправился было на фронт, но по пути попал под бомбы – и бегом: он в кризисе, он комиссован, он – в Ташкент, в Ташкент, в Ташкент.

«“Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и послали б, а демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с ограниченной годностью”, – жестоко подумал Лопатин».

Сидит теперь здесь среди сплетен и злословия – и ему прекрасно дышится?

В повести Симонов не пытался быть судьей. Он недоумевал. Ведь Луговской совсем не одинок – такое «было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы».

Писатель Симонов, как и его герой Лопатин, честно пытается найти ответ: отчего война так неожиданно их разделила? Священная, и на кону вопрос о выживании всего народа, и они здесь все – любимые, народные, глубокие и понимающие. Вот из нынешнего Луговского:

«Три дня я пил и пировал в шашлычных, / И лейтенанты, глядя на червивый / Изгиб бровей, на орден – “Знак Почета”, / На желтый галстук, светлый дар Парижа, – / Мне подавали кружки с темным зельем».

Недоумение того, кто очутился в этом мире прямо из войны, – как минимум понятно.

Но Симонов еще не раз услышит – да кто из нас не слышал даже и сегодня: дело не в страхе смерти, нет, просто любой большой поэт, как Луговской, конечно, непременно должен надломиться, потому что он ведь про свою страну «понял всё».

А всякий, кто поэта спросит – как же так? – услышит то же, что шипели Симонову вслед: «любимец Сталина».

Ну что-то вроде.

Конечно же, судачили о Луговском в Ташкенте и без Симонова. Обсуждали: должен бы жениться на Елене Сергеевне (Булгаковой) – а женился вдруг на Елене Леонидовне (по псевдониму – Майя Луговская).

Сестра Татьяна (замечательная мхатовская художница) не выдержала пьянства Луговского – попросила как-то повлиять Ахматову.

Анна Андреевна ответила резонно, что поэту можно всё.

Не задыхалась ли сама Ахматова в этом окружении – среди злословия и сплетен?

Майор Лопатин в повести у Симонова слышит ее имя – и в ответ ни слова.

А при всей ее любви к двусмысленностям – не случайно все-таки Ахматова писала, отмечая «чуждый небосвод», «защиту чуждых крыл», вот эти строки: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

В Ташкенте у Радзинских, вроде бы полушутя, Ахматова предложила основать «общество людей, не говорящих худо о своих ближних».

Все насторожились.

Ей пришлось мягко объяснить:

«Я просто хотела в деликатной форме намекнуть присутствующим, что я не желаю слышать каждую минуту какую-нибудь гадость об одном из наших коллег – будь то Уткин, П. или Городецкий».

Мы здесь все живем так тесно, что нужно принимать специальные меры, чтобы сохранять минимальную чистоту воздуха... Когда я вспоминаю, что говорят обо мне, я всегда думаю: “Бедные Шаляпин и Горький! По-видимому, всё, что о них говорят, – такая же неправда”».

...И вроде бы – что общего между изысканной Ахматовой и прокурренным симоновским военкором?

Но если вслушаться – майор Лопатин говорил о той же чистоте, о нравственной:

«Всё-таки война – как труба Страшного суда – заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное... Всё это, конечно, только если он верит во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны».

* * *

У эвакуированного литератора Виктора Шкловского на фронте погиб сын, гвардии старший лейтенант Никита Шкловский. Весь его класс добровольно пошел на войну и весь – погиб.

Сын Корнея Чуковского Борис погиб осенью 1941-го под Москвой, возвращаясь из разведки. Сын Николай всю блокаду пережил в Ленинграде, был участником обороны города.

Писатель Евгений Петров, написавший с Ильфом про Остапа Бендера, – разбился в самолете, возвращавшемся из Севастополя в разгар боев. Ему лишь сорок лет. (Всеволод Иванов по этому поводу тут же записал в дневник: «Странно, но все, кто умеет и страстно хочет устроить свою жизнь советским, легальным способом, от страсти своей погибают».)

Погиб и юноша Георгий Эфрон, Мур, любимый сын Марины Цветаевой. В Ташкенте он еще доучивался в школе. Сообщал сестре Ариадне, сидевшей в лагере по бредовому обвинению в шпионаже, – как помогает Алексей Толстой. А поначалу и Ахматова. Устроили в писательскую столовую – подкармливали.

Подростку без семьи, конечно, не хватало денег и еды. Влип в историю, продал какие-то хозяйкины вещи. Замяли кое-как.

Ахматова не стала помогать мальчишке: «Я видела убийцу».

Он написал сестре: «Подчас мне завидно (по смыслу: обидно. – И. В.) – за маму. Она бы тоже могла быть в таком “ореоле людей”, жить в пуховниках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова. Она не была

способна вот так просто сидеть и слушать издаваемый ртами мёд и пить улыбки...»

Муру помог Толстой – после школы выбрался в Москву и поступил в Литинститут. Но в 19 лет записался добровольцем – и погиб в 1944-м.

Возле ташкентской школы номер 64 есть мемориальная табличка с именами не вернувшихся с войны выпускников – не забыт и Георгий Эфрон.

Талантливый был юноша – все говорили. В 17 лет в Ташкенте записал в дневник такие удивительные наблюдения за эвакуированной творческой средой:

«Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги – без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя...»

* * *

Они, конечно, победители. Но самое печальное: война ведь выбила как раз вот это поколение – максималистов, юных, умеющих честно и искренне верить. Даже упрекавших власть за то, что та способна предавать высокую идею.

Симонов в Ташкенте набросал вчерне свое честное стихотворение «Зима сорок первого года»: «Хоть шоры на память наденьте! / А все же поделишь порой / Друзей – на залегших в Ташкенте / И в снежных полях под Москвой».

Напечатал позже, в пятьдесят восьмом.

А кто же выиграл в споре военкора и приятеля в эвакуации – «погибшие» или «залегшие»?

В 1958-м Симонова отстранили от руководства журналом «Новый мир». Опальный писатель уехал – и куда?

В Ташкент.

Там он узнал, что одного из героев его повести, доблестного руководителя Узбекистана Усмана Юсупова, не жалевшего себя в войну, тоже сместили – директором отсталого совхоза в глушь.

Кто был победитель – кто стал проигравшим?

Тоже история по кругу.

В Ташкенте конца пятидесятых Симонов написал трилогию «Живые и мертвые», десятки очерков, переводил узбекскую поэзию, его жена Лариса Жадова работала над книгами по узбекской керамике и живописи. Тогда же писатель познакомился в редакции «Правды Востока» с дочерью поэта – Татьяной Есениной. Помог напечатать в «Новом мире» и издать отдельной книгой ее повесть «Женя – чудо XX века»...

* * *

...Ахматова читала в госпитале раненым любовные стихи из «Anno Domini».

Один боец спросил: а правда, что была поэтом-акмеистом? Неужели и Есенин тоже – акмеист? – Нет, он имажинист, ответила и гордо вышла.

«Какая есть, желаю вам другую».

И тут пора на Боткинское кладбище. Там похоронена та самая Татьяна, дочь Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Там даже больше: целая история страны...

Потерянные и усыновленные

Где искать на огромном Боткинском кладбище в Ташкенте могилу дочери русского поэта Есенина? В Музее поэта мне объяснили: главное, попасть на «коммунистическую» часть кладбища. Через дорогу, там отдельный вход. Зайдете – и направо, сразу увидите.

В самом деле, найти оказалось легко. На черном мраморе доброе лицо дочери Татьяны Сергеевны – светится. Рядом цветы – и свежие.

Прощались с Татьяной Есениной в мае 1992 года в том же музее ее отца. В Ташкенте она прожила полвека. Как оказалась здесь? В эвакуацию, в войну. Приехала, осталась – как и многие.

Работала в «Правде Востока», потом – в научном издательстве «Фан», воспитывала детей и внуков. Кроме повести «Женя – чудо XX века» вышли ее книги «Лампа лунного света», «Дом на Новинском бульваре», воспоминания об отчине Всеволоде Мейерхольде и матери, Зинаиде Райх.

Когда-то Райх играла Фосфорическую женщину из будущего в «Бане» Маяковского у Мейерхольда. Повесть Есениной «Женя – чудо XX века» из шестидесятых тоже футуристическая и при этом актуальная для наших дней. Там появляется искусственно созданный человек – и сразу же вокруг него посыпались вопросы: сможет ли такой искусственный любить, уживется ли с простыми смертными? А совесть у такого есть?

Есенина писала весело и намекала на обещанный хрущевский коммунизм в ближайшем будущем: в него должны были войти уже какие-то другие люди... Что же не вошли?

Пожалуй, с высоты сегодняшней можно сказать уверенно: хоть коммунизма нет – но люди во всем мире с каждым днем становятся искусственной. Сплошные фосфорические генерации – так что Есенина попала в точку...

А за могилой дочери поэта тут идут аллеи бесконечные. Кругом – народные, заслуженные, чемпионы, гордость некогда большой страны.

Неподалеку Валентин Овечкин. Публицист, автор прославленных «Районных будней», обещал Твардовскому прислать отсюда, из Ташкента, рассказ о знаменитом колхозе «Политотдел» и его легендарном председателе Ман Гым Григорьевиче Хване. Не успел.

Мемориал в память погибших в авиакатастрофе футболистов «Пахтакора» – скорбела вся страна, не только лишь Узбекистан. Герой Крымской войны и обороны Севастополя, генерал Кривоблоцкий. Генерал Востросаблин, перешедший на сторону красных. Автор одного из основных «Толковых словарей русского языка» Дмитрий Ушаков. Легендарный Сидней Джексон тоже тут: боксер-американец, бившийся за дело революции, стал тут основателем узбекской школы бокса и гордился, что среди его учеников не только чемпионы, но и три Героя Советского Союза.

И отец Юнгвальд-Хилькевича, снявшего «Трех мушкетеров», тоже здесь – он был одним из создателей узбекской оперы. И здесь же похоронена легенда Серебряного века Черубина де Габриак, она же

Елизавета Дмитриева, по мужу Васильева. Из-за нее стрелялись два поэта – Гумилев с Волошиным...

На Боткинском в Ташкенте похоронена и близкая родня Керенского, возглавившего после демократического госпереворота Временное правительство и едва не развалившего страну...

Здесь же представлена и сторона Романовых. Дарьей Часовитиной, неофициальной женой (и матерью троих детей) великого князя Николая Константиновича, внука Николая I.

Сам-то великий князь, когда-то сосланный родней из Петербурга, встретил революцию здесь с красным флагом, сразу объявил себя жертвой коварного царизма. И новая власть отнеслась к этому с пониманием.

В январе 1918 года великий князь скончался – после отпевания исполнили «Интернационал», потом уже Шопена.

Правда, он был похоронен возле своего дворца в центре Ташкента – и его могилу как-то затеряли. Но зато дворец – роскошнейший – стоит! Шесть лет назад решили ремонтировать. Копнули – обнаружился подземный ярус, в нем сокровища на миллион долларов: слитки золота, монеты, уникальные картины, книги, рукописи и посуда. Это при том, что после революции богатые коллекции внука Николая Первого составили основу нынешнего ташкентского Музея искусств.

Да, кстати, есть на Боткинском и могилы родителей Анатолия Собчака: отец Александр Антонович был ветеран войны, имел боевые ордена. Рядом его жена, Надежда Андреевна.

Куда ни повернись тут – мостики истории. Идешь по кладбищу, как по музею, и не отпускает мысль – наивная, конечно.

Умирили – думали, за Родину. Думали, на Родине. А оказались за границей? Это вот их отрезали, как неуклюже подсказал когда-то классик, – чтобы Россия «освободила сама себя для драгоценного внутреннего развития»? Это вот, в сущности, они – тот самый «давящий груз подбрюшья»? Кто они теперь, чужие среди своих или свои среди чужих?

Как говорит ташкентский поэт Санджар Янышев, сама страна однажды эмигрировала из-под ног, так что люди, не сделав ни одного шага, оказались эмигрантами в своем доме.

Санджар с Вадимом Муратхановым и Сухбатом Афлатуни в конце девяностых создали свою поэтическую «Ташкентскую школу», издавали самиздатовские сборники... Правда, теперь двое из них уже давно живут в России. В Ташкенте из поэтов той «Ташкентской школы» – только лишь Сухбат Афлатуни. Он же Евгений Абдуллаев.

А почему же он остался?

20 нынешних дней

Сухбат Афлатуни рассказывает мне, как он когда-то, были времена, ходил на лекции Абрама Вулиса по теории детектива. Лекции Вулиса перебивались вечными его воспоминаниями о встречах с Еленой Сергеевной Булгаковой – и еще неизвестно, что было слушать интереснее: про теорию детектива или про встречи с булгаковской Маргаритой.

Константин Симонов в Ташкентском университете был оппонентом на защите диссертации Вулиса по истории советской сатиры. Он же познакомил Вулиса с Еленой Булгаковой, и потом в ташкентском толстом журнале «Звезда Востока» появилась работа Вулиса – и вот там впервые выплыли на свет фрагменты из романа «Мастер и Маргарита».

Сухбат Афлатуни теперь сам входит в редакционный совет той самой «Звезды Востока» – журнал по-прежнему выходит, но теперь не ежемесячно, а через раз. И это объяснимо: «Исчезает языковая среда – скукоживается литература».

...В эвакуацию в Ташкент попал известный критик Корнелий Зелинский. Здесь же он преподавал в университете... «Зелинский – своеобразная фигура, – рассказывает мне Сухбат Афлатуни, – гнобил Пастернака, с которым дружил, гнобил сына Всеволода Иванова Вячеслава... Но при этом именно Зелинский написал предисловие к вышедшему в Ташкенте сборнику Ахматовой». А предисловие к воспоминаниям сына критика – так сложилось – написал как раз Сухбат Афлатуни.

Его романы, между прочим, хорошо знакомы внимательным читателям: Афлатуни был финалистом и лауреатом многих литературных премий – от «Триумфа» и «Русской премии» до «Ясной Поляны». Он сейчас входит и в состав экспертов «Большой книги».

И уезжать из Ташкента не думает.

«Я человек отсюда. Что не мешает мне чувствовать себя своим и в России... Конечно, от того Ташкента и от тех людей здесь мало что осталось. Тут ведь дело в границах языка. Что, опять же, не мешает оставаться оптимистом.

Возвращать Ташкент в контекст русской литературы, мне кажется, дело стоящее».

В книгах Афлатуни нетрудно встретить пролетающего русского космонавта Лермонтова. Можно столкнуться с Владимиром Ильичом Маяковским. Или услышать кредо старого учителя: «Жить надо так, чтобы ни один душман не мог из-за куста крикнуть: эй, печально я гляжу на ваше поколение!»

И всех героев множества его романов и рассказов мучит загадка этого пространства, уместившего в себе и Александра Македонского, и Тамерлана, и героев вплоть до тех времен, «когда Москва нашей столицей быть расхотела».

Разгадывает внутренний смысл движения России в Азию, и вся история вдруг разрастается в библейскую... И вся, выходит, неспроста – и вся не зря.

«Что волнует, о том и пишу. Литература, – говорит Сухбат, – возводит языковые башни – каждая из них как ось. И может показаться бесполезной, даже обреченной на разрушение. Но все равно продолжает тянуться в синюю пустоту».

В его рассказе «Проснуться в Ташкенте» ходит странная Люба Холоденко, сочинительница тысячи песен. Она поет про все, что видела с войны, с эвакуации.

Жила тогда она дом в дом с одним известным старым певцом-акыном. Люба дружила с его семьей. Акын садился под старый тутовник и пел. Примерно так: «Я слишком стар, чтобы понять новую власть и ее прихоти, но когда я вижу прекрасную пионерку Любу, я готов принять и Маркса, и Энгельса, и других неверных. Ее родинка, как фисташка, щеки – тюльпан, на устах – веселый смех».

Люба в ответ тоже пела – уже и не помнит, о чем. Давно это было.

* * *

От моей гостиницы до площади Дружбы народов рукой подать. Прогуливаюсь – тут все время многолюдно.

В центре площади – любопытная скульптурная композиция, сразу 17 фигур: двое родителей с детьми.

С ними на площади тепло, поверьте. При мне такие вдумчивые солидные мужчины выстроились и сфотографировались на фоне памятника.

А памятник известный, появился здесь в 1982-м. Буквально через сорок лет после того, как Самуил Маршак написал свой очерк «Любовь и ненависть».

Героями очерка стали кузнец ташкентской артели имени Калинина Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова. Они усыновили 15 детей, приехавших в эвакуацию из разных уголков страны, национальности у всех разные, как и фамилии: русские, белорус, молдаванин, еврейка, латыш, казах, немка, татарин... Двухлетнего мальчика, не помнившего родителей, назвали Ногмат, что значит «дар».

Маршак писал, что с фронта Шаахмеду незнакомый старший лейтенант Левицкий прислал несколько сот рублей и обещал все время присылать – «пока будет жив».

В том же 1942 году у Эренбурга вышел в «Красной звезде» очерк «Узбеки»: «Странно видеть этих смуглых юношей с лицами, обожженными солнцем юга, среди болот и лесов нашего сурового севера. Но ласково говорят узбеки: “наша земля” – они сражаются за древний русский город Ржев, и для них это родной город».

У Эренбурга говорилось о храбрых сыновьях Узбекистана, сражавшихся на всех фронтах не за чужую землю, за свою.

А в Ташкенте о семье Шамахмудовых стали снимать кино, писали книги. После войны четверых усыновленных нашли родные. Двое из детей выросли и поженились – узбечка Муаззам и белорус Михаил. Один много лет спустя успел найти состарившуюся мать в Днепропетровской области. Страна, история такая – все родня.

А скульптурную композицию в Ташкенте авторы – скульптор Рябичев и архитекторы Адамов и Адылов – сразу же назвали так: «Дружба народов».

Но судьба у памятника оказалась непростой.

В 2008-м «Дружбу народов» попытались отменить. Сместили с постамента, вывезли куда-то на окраину, где стали потихоньку распиливать и растаскивать в пункты металлолома.

Так было десять лет, пока...

При новой власти, в 2018-м, как раз к 9 Мая кузнеца вернули на прежнее место. Реабилитировали. Как и собственно «Дружбу народов».

* * *

Я заглянул в уютный домик Россотрудничества в Узбекистане – руководительница Ирина Старосельская только что вернулась из Самарканда. Человек она невероятно обаятельный, рассказывает очень увлеченно:

«Вот сейчас в рамках программы “Большие гастроли” узбекский Молодежный театр везет в Калугу и Истру спектакль “Казбек. Судьба героя” о судьбе Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, воевавшего в годы войны в партизанском отряде в Белоруссии. И поставил его белорусский режиссер.

Я была на премьере – по-моему, получилась очень яркая история ко Дню Победы... Для меня вообще это святой праздник. У меня самой оба деда воевали, бабушки – одна в плену была у немцев, вторая работала в московском госпитале...»

Что же касается истории с семьей кузнеца Шамахмудова, надо напомнить, что Узбекистан принял больше миллиона человек, приехавших отовсюду, и около 250 тысяч из них – дети.

Усыновляли многие: кроме семьи Шамахмудова у Самадовых – 12 детей, у Касымовых – 10, у Жураевых и Ашурходжаевых – по восемь...

И, кстати, такая душевная щедрость людей поразила многих поэтов и писателей в те годы. Кроме Маршака и Симонов в своих военных дневниках поражался, скольких детей из детдомов да и просто с вокзалов брали к себе узбекские семьи... И у Ахматовой в ее автобиографических заметках было о том же – как усыновляли и удочеряли и «делились последним куском хлеба, сахара, последней пиалой плова или молока»...

Был у Ахматовой даже перевод стихотворения Гафура Гуляма «Ты не сирота», там были такие строки: «Здесь ты дома. Здесь я стерегу твой покой. / Спи, кусочек души моей, маленький мой!»

...А я уже иду мимо Большого театра – да-да, в Ташкенте свой Большой театр, их было три в СССР – в Москве, Минске и здесь. А знаете, как вспоминает легендарная балерина Бернара Кариева про времена эвакуации?

Малышкой же была тогда – пятилетнюю Бернару ее папа, возглавлявший театр, привел (еще была другая сцена и другое здание, бывший цирковой «Колизей», театр имени Свердлова), и девочке надо было изображать птенчика, порхавшего по сцене, пока «птица-мать», настоящая балерина, делала арабеск. Так вот, осталось в ее памяти такое тесное и шумно-сказочное детство:

«На мою судьбу во много повлияла та атмосфера времен эвакуации. В войну в Ташкенте жили все артисты. Никита Богословский, например, жил в нашем доме, у моих родителей. Рядом с нами соседка приняла Бориса Андреева и Марка Бернеса. А мы жили в маленькой двухкомнатной квартире, и вторую комнату мама отдала Богословскому. Никита Владимирович жил у нас пять лет. И вот “Темную ночь” для фильма “Два бойца” он писал у нас дома! А Марк Бернес потом исполнил ее в Ташкентской киностудии, где снимались “Два бойца”...»

Бернара стала балериной, училась при московском Большом театре, вернулась, когда в Ташкенте у театра было уже нынешнее роскошное здание, выстроенное по проекту Щусева, и театру дали имя Алишера Навои... В девяностые, оставив сцену, Бернара Кариева много лет возглавляла Союз театральных деятелей и сам Большой театр Узбекистана.

Вспоминает, как в 1959-м привезли в Москву балет по лермонтовскому «Маскараду» композитора Льва Лапутина, и газета «Правда» скаламбурила: напечатала статью об успешных гастролях под заголовком «Головокружение от узбеков»...

Всю свою биографию Кариева построила на русской классике. Так и говорит: «Это моя судьба». Танцевала в блоковской «Незнакомке», в тургеневском спектакле «Как хороши, как свежи были розы», в «Анне Карениной»: «Только хореография, рисунок танца остались от Плисецкой. У меня все-таки узбекский менталитет, и он давал о себе знать. Анна у меня была гораздо мягче воинственной героини в постановке Майи Плисецкой. Но она мой образ приняла...»

...У входа в театр, между колоннами, какие-то девчушки весело фотографировали друг друга. Принимают разные художественные позы. Смотрю издали – будто немое кино...

А что они когда-то скажут про свою судьбу?

Будет у них возможность вспомнить искренне вслед за Бернарой: как хороши, как свежи были розы?

* * *

Бледно-зеленый кук-чайи томится в пиалах. Налили – ритуально сполоснули пиалу, налили – вылили обратно в чайник. Как говорят здесь, «лой-мой-чай»: первый чай – глина, второй – не лучше, а вот третий – самое то.

Под зеленый узбекский чай можно вести «чай-пой», разговор о том о сем.

Но я сейчас иду по улице Ташкента, веду «чай-пой» с самим собой.

Ахматова, кстати, писала название города на узбекский манер, через «о» – Тошкент. В стихах она благодарила всех:

Рахмат, Айбек, рахмат, Чусты,
Рахмат, Тошкент! – прости, прости,
Мой тихий древний дом.

Чустий, он же Набихон Ходжаев, был знаменитым поэтом-певцом, а в эти годы возглавлял в Ташкенте музыкально-драматический театр имени узбекского мыслителя Муками.

Айбек, он же Муса Ташмухамедов, написал роман об Алишере Навои. А на «рахмат» Ахматовой он отвечал своими строками:

«Из комнаты пустой и душной, / Из тех военных долгих лет / Так величаво безыскусно / Выходит женщина на свет. / Она, седин своих не пряча, / Идет всем горестям назло. / И зонтик так ее прозрачен, / Как стрекозиное крыло...»

Старые дворики давно здесь разбежались. Балаханы поскрипывают лишь в воспоминаниях. Все это драгоценный «сор» – ведь из него слагается искусство с вечными вопросами.

Зеленые глаза подмигивают нам с заборов. Жизнь рассыпается по улицам на буквы и слова. Ташкент уводит нас, как текст, к самим себе: а что там?

Рукопись судьбы ведет нас всех – нам бы успеть, нам бы только суметь – вчитаться.

P. S.

Сухбат Афлатуни советовал читать узбекского поэта Турсуна Али. Вот в его переводе:

Осень.
Вечерний намаз.
В небесном море,
как ряды кораблей – журавли.
В их строе один
знакомый мне раненый журавль.
Окажи ему помощь, Господи.

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт. Член Союза писателей России. Автор 14 сборников прозы и публицистики. Лауреат литературных премий «Серебряный Витязь» (2016), трижды «Болдинская осень» и четырежды премии Нижнего Новгорода, финалист международных премий – Буинской (2016) и им. К.Н. Леонтьева (2022).

Ранее – начальник производственного отдела на крупном промпредприятии, действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

Живёт в Нижнем Новгороде.

ЛОЯЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ ТРИФОНОВ

К 100-летию со дня рождения

Для того, чтобы понять сегодня, надо понять вчера и позавчера.

Юрий Трифонов

В далёком 1970 году в издательстве ФиС («Физкультура и Спорт») вышел сборник спортивных рассказов Юрия Трифонова с названием «Игры в сумерках». У книги, кстати, тоже своеобразный юбилей – 55 лет. В те годы повального интереса к литературе и писателям новинки тиражом в 75000 экземпляров буквально расхватывались «на ура». Мне посчастливилось (другое слово трудно придумать) купить за 21 копейку эту скромную книжицу в тонкой бумажной обложке, которая после прочтения всех 167 страниц истрепалась и отвалилась. Но блок с титульным листом, скреплённый двумя мощными скобами, сохранился и до сих пор радует меня своим неповторимым содержанием. Предисловие написал известнейший советский футболист Андрей Старостин, и в нём есть такие строки: «Рассказы Ю. Трифонова овеяны дымкой лирического восприятия описываемых событий, где смешное и грустное, порядочное и непорядочное многогранно, как в жизни, и как бы говорит нам, что спорт – это не самостоятельное явление, состоящее из “объективных критериев”, а сама жизнь». Несколько косноязычно и путано, но главная мысль верна – всё, что с нами случается, это и есть жизнь. За школьной ли партой или за токарным станком, за письменным ли столом или за кульманом (компьютером), на теннисном ли корте (катке, ринге) или на стрельбище.

Кто-то из русскоязычных литературных критиков (нынешних иноагентов) считал, что «Игры в сумерках» (один из рассказов сборника) –

это рассказ-иносказание о внезапном исчезновении людей в годы сталинского «террора» тридцатых годов. Нет, и ещё раз нет, этот рассказ – лишь естественная ностальгия о детстве, о котором только и хочется вспоминать. Именно поэтому, Трифонов говорит в заключение этого рассказа: «В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее». А герой другого рассказа как бы подтверждает предыдущие слова автора: «Потому что нет на свете более крепкого вина, чем то, которое называется “память”». Вот мы с читателями и глотнём этого вина. Но в меру.

1

Кто бы и когда узнал и помнил бы о таком герое Гражданской войны в России, как Валентин Андреевич Трифонов (1888–1938), если бы не его сын Юрий, ставший очень известным писателем в Стране Советов. Юрий Трифонов написал об отце документальную повесть «Отблеск костра» (1965). Под костром писатель понимает весь исторический процесс, а в частности социалистическую революцию в России. «История полыхает, как громадный костёр, и каждый из нас бросает в него свой хворост». Почему «отблеск» костра? Потому, пишет Ю. Трифонов, что «Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но существует на всех». Продолжим сравнение писателя Юрия Трифонова. Объём «пищи», бросаемой в костёр (участие в истории) у каждого свой. Охапка дров или кучка мелких щепок – зависит от величины личности человека и степени вовлечённости его в исторический процесс. Огненные языки костра вознесли отца писателя до всероссийской известности, а потом спалили до смерти. Так часто бывает.

Валентин Андреевич был скромн и замкнут. Это заметила известная литератор Лариса Рейснер (1895–1926), не обладавшая такими чертами характера. Она двигалась по жизни, беря от неё всё, что попадалось на пути. Захотелось ей стать поэтессой, она знакомится с известным поэтом Николаем Гумилёвым и предлагает себя в жены. Получив отказ, едет с новым мужем – комиссаром по морским делам Фёдором Раскольниковым, назначенным 23 августа 1918 года командующим Волжской военной флотилией (заместитель – Н.Г. Маркин) – на фронты Гражданской войны. Кстати, формирование Волжской флотилии проходило в Нижнем Новгороде на заводах «Красное Сормово» и «Теплоход».

В годы Гражданской войны Рейснер пишет книгу «Фронт», где есть такие красивые фразы о Валентине Трифонове, члене Реввоенсовета 3-й армии Восточного фронта. «Осколок разбитого чёртом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжёлую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. <...> Неудержимый ветер времени рвёт серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня всё так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувств». Да, Валентин Трифонов не умел, скорее не хотел делать любой ценой политическую карьеру и добиваться личной популярности в отличие от Рейснер, своего антипода, раз уж речь зашла об этой Комиссарше, с которой лепил свою героиню Всеволод Вишневский в «Оптимистической трагедии».

Валентин Трифонов, родом из донских казаков, участвуя в революционном движении с 1905 года, прошёл через множество ссылок и тюрем. В очередной ссылке, в Туринске, Валентин Трифонов знакомится в 1907 году с Ароном Сольцем, а писатель Юрий Трифонов позже замечает: «Пожалуй, у отца и не было друга ближе, чем Арон Сольц». Сольц позднее отметил в своих воспоминаниях, что «источником этой оппозиционности (к царским властям. — М. Ч.) было, несомненно, моё еврейство». За Сольцем, занимавшим в довоенном СССР высокие партийные посты, закрепилась слава «совести партии».

Именно Арон Сольц и привёл Валентина Трифопова в квартиру № 21 дома № 35 по 16-й линии Васильевского острова в Петербурге; хозяйкой этой явочной квартиры была Татьяна Александровна Словатинская, дальняя его родственница. В 1912 году у Словатинской (1879–1957) жил в одной комнате с Сольцем бежавший из ссылки Иосиф Сталин. Словатинская (будущая бабушка писателя Юрия Трифопова) тепло вспоминала о Сталине. «Он показался мне сперва слишком серьёзным, замкнутым и стеснительным. Казалось, больше всего он боится чем-то затруднить и стеснить кого-то». Кто-то даже утверждал, что Сталин, а позднее и Валентин Трифонов с Словатинской были в «романтических отношениях». Эта теплота в воспоминаниях Татьяны Александровны, написанных после XX съезда, «развенчавшего культ личности» Сталина, когда на него можно было лить любую грязь в любом количестве, несказанно удивляла Юрия Трифопова в «Отблеске костра». Он искренне не понимал, как «злодей» Сталин, разрушивший бабушкину семью — зять погиб, сын Павел Лурье сослан, дочь Женя (мать писателя) осуждена на десять лет, — так достойно представлен бабушкой в воспоминаниях. Как это так? Почему «отзвука всей этой боли нельзя найти в воспоминаниях Т.А. Словатинской»? — вопрошает Юрий Трифонов. Он пытается найти ответ, задавая риторические вопросы: «Что ж это: непонимание истории, слепая вера или полувековая привычка к конспирации?.. Это загадка, которая стоит многих загадок».

Сейчас, в XXI веке, можно ответить на эти вопросы. Дети и внуки видных репрессированных революционеров, движимые лишь осознанием личной обиды, не понимали и не хотели понимать всех ценностей социалистической идеи, главной составляющей в которой было истинное равенство, отсутствие имущественного разделения на богатых и бедных. Дети и внуки воспринимали социальные преимущества, дарованные советской властью, как данность, как право бесконтрольно пользоваться ими, часто забывая об обязанностях. Именно дети и внуки пламенных революционеров стали разрушителями СССР.

Кстати сказать, бабушка Словатинская, спасшая внука Юру и внучку Таню, оформив через М.И. Калинина над ними опекунов, часто ругалась с будущим писателем, получавшим в школе тройки по естественным наукам. Именно бабушка Таня, в дневниках юного Юры имеваемая презрительно «бабишка», отвела внука в Дворец пионеров, где он занимался в литературном кружке у известного писателя Бенямина Ивантера (1904–1942), редактора журнала «Пионер». Когда Юра получал тройки, бабушка Таня не пускала его на занятия в Дворец пионеров, требуя прежде исправления оценки на «отлично», что являлось причиной гнева юного Юры.

Вернёмся к отцу будущего писателя. Валентин Трифонов был одним из создателей Красной гвардии, до отправки на фронт входил в президиум ВЧК, был членом коллегии Наркомвоенна, членом РВС Республики,

последовательно членом РВС 3-й Армии, Особой группы Южного, Юго-Восточного и Кавказского фронтов. Постоянным адъютантом у него был Павел Лурье, скрупулёзно ведший подробный дневник, который сохранился и стал основой для Юрия Трифонова в повести об отце.

Дочь Валентина Трифонова Татьяна позднее писала в своих воспоминаниях об отце: «Авторы статей пишут, что он был истинным большевиком. На мой взгляд, сказать это об отце никак нельзя. Потому что с 1918 года до конца его жизни у него были свои взгляды на методы построения и управления государством, не совпадающие, даже резко отличающиеся от большевистских методов». Дочь также приводит услышанную от отца фразу, сказанную им жене в середине 30-х годов: «Мы создали паскудную власть. Это фашисты». Рискованные слова – не правда ли? Мне лично не верится, что так говорил Валентин Трифонов, иначе они служат весомым оправданием действий Сталина по отношению к обуржуазившимся представителям коммунистической власти.

В повести Юрий Трифонов пытается разобраться в семейной истории, в судьбе поколения «старых большевиков», а значит, своих родителей, и в большой истории страны, перемоловшей это поколение в конце 1930-х. Но попытка разобраться в прошлом всегда трагична, есть риск наткнуться на скелеты в шкафу или на слова отца, о которых не хотелось бы знать.

Валентин Андреевич Трифонов был прямодушным, принципиальным и смелым человеком. Он резко конфликтовал с Климом Ворошиловым и Семёном Будённым, упрекая их за низкую дисциплину бойцов Первой Конной армии, допускавших антисемитизм и мародёрство. Недаром, злопамятный Ворошилов, став военным наркомом в 1925 году, тут же снял В. Трифонова с поста председателя Военной коллегии Верховного суда. После чего Трифонова направляют на дипломатическую работу в Китай, где он разошёлся во взглядах с послом Караханом. «Отец был строгий. Если он говорил “нельзя”, это значило – нельзя», – отмечает Трифонов-младший в рассказе «Серое небо, мачты и рыжая лошадь».

Писатель Юрий Трифонов очень ценил принципиальность отца, которой ему порой самому не хватало. В повести «Дом на набережной» он резко высказался против «всеядности» своего героя Вадима Глебова. «Он был совершенно *никакой*, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть *никаким*. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом *никакими*, продвигаются далеко. <...> *Никакие* всегда везунчики» (выделено мной. – М. Ч.).

В документальной повести «Отблеск костра» Юрий Трифонов скороговоркой перечисляет высокие должности отца: заместитель начальника Главтопа, председатель Нефтесиндиката, дипломатическая работа в Китае и в Финляндии, Главконцесскоме. «Он всю жизнь интересовался военными вопросами, – отмечает сын, – и написал незадолго перед своей гибелью военно-теоретическую книгу “Контурсы грядущей войны”». В ней «отчётливо ощущалась неизбежность скорой схватки с фашизмом. Весь тон книги был суров и тревожен. И это, между прочим, отличало её от многих, появившихся в те годы, книг и кинофильмов, которые убаюкивали народ самоуверенной похвалой и непониманием грозящей опасности». В начале 1937 года Валентин Трифонов послал рукопись нескольким членам Политбюро – Сталину, Молотову, Ворошилову, Орджоникидзе. Никто ему не ответил.

Юрий Трифонов, заканчивает документальную повесть об отце, более всего напоминающую учебник истории Гражданской войны, словами: «Их молчание и было ответом. И “ответ” этот скоро пришёл: его принесли люди в военном, которые приехали ночью в Серебряный бор. Отцу было тогда 49 лет».

2

Дом правительства, занимающий часть Болотного острова на Москве-реке, в жизни семьи Трифоновых сыграл исключительную роль. Семья «старого большевика» и государственного деятеля всесоюзного значения Валентина Трифонова въехала в дом правительства в 1931 году. Официальный адрес громадного дома на Берсеневской набережной таков – улица Серафимовича, 2/20. В небольшой повести «Дом на набережной» (1976) Юрий Трифонов описывает его так: «Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу».

Об этом доме надо рассказать чуть подробнее. В связи с переездом в 1918 году советского правительства из Петрограда в Москву, остро встал вопрос жилищного размещения чиновников советской власти. В 1926 году была создана специальная комиссия, которая должна была заняться строительством жилого «Дома ЦИК и СНК». Место под застройку долго не могли выбрать. А выбор при долгом раздумье часто бывает неудачным. Он остановился на Болотной площади. В Средневековье на «Болоте» были казнены колдун Элизий Бомелий (во времена Ивана Грозного), Степан Разин, Емельян Пугачёв. Археологи не раз во время раскопок обнаруживали здесь и кандалы, и человеческие черепа. Со Средних веков москвичи считали это место «тёмным», гиблым, дьявольским.

Здание в конструктивистском стиле построили «на Болоте» в 1931 году по проекту известного архитектора Бориса Иофана, только что вернувшегося из Италии. По первоначальному плану предполагалось, что фасады Дома на набережной будут красного цвета, что обеспечило бы созвучие с цветом государственного флага и стен древнего Кремля, который возвышался на холме через Москву-реку. Но в смету, как обычно, не уложились, и потому наружные стены остались просто оштукатуренными и покрашены в мрачный тёмно-серый цвет, что отвечало тёмной славе этого места.

На 11 этажах располагалось 505 квартир, для входа устроили 25 подъездов, один из них секретный, без жильцов. На лестничной площадке было всего по две квартиры. В них изначально был настилен дубовый паркет, потолки были декорированы художественной росписью, которую выполнили живописцы-реставраторы из ленинградского Эрмитажа. «Старые большевики» любили чаёвничать, а потому на кухне были оборудованы специальные отверстия-дымоходы для самоварной трубы. По своему социальному положению этот дом можно причислить к домам Коммуны, появившимся во многих областных центрах СССР. В доме размещалось всё, что необходимо для быта и отдыха: клуб (ныне Театр эстрады), кинотеатр «Ударник» на 1500 мест, столовая, спортивный зал, универсальный магазин, сберкасса, почтовое отделение, прачечная, амбулатория, детский сад и ясли. В общественной столовой жильцы Дома на набережной бесплатно, по предъявлении

специальных талонов могли получить как сухие пайки, так и горячие обеды. Но всё это только для жильцов, то есть для номенклатурной элиты, для «своих». Въезжавшие в дом семьи элиты получали полностью меблированную квартиру с практически одинаковыми стульями, столами, шкафами, буфетами, имевшими бирки с инвентарным номером. Это было весьма удобно: когда одну семью врагов народа выселяли, прямо на их место въезжали другие – будущие враги народа. Они пользовались той же мебелью, что и предыдущие жильцы. Так могло повторяться несколько раз. Люди пропадали, а мебель оставалась, не подлежа конфискации.

Вот только несколько имён из живших здесь когда-то знаменитостей. Писатель Александр Серафимович (его именем названа улица), кинорежиссер Григорий Александров с женой Любовью Орловой, дети Сталина – Светлана Аллилуева и Василий, маршал Георгий Жуков, академик и хирург-онколог Николай Блохин, летчик Михаил Водопьянов, создатель ракетной техники Валентин Глушко, поэт Демьян Бедный, маршал Иван Баграмян, летчик Николай Каманин, бывший председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, хореограф Игорь Моисеев, Никита Хрущев и многие-многие другие.

К квартирам в Доме правительства бесплатно прилагались дачи в Серебряном Бору Хорошёвского лесничества. Здесь была дача и у Валентина Трифонова. События и жизнь в доме на улице Серафимовича, 2, а также на даче хорошо и подробно описаны в произведениях Юрия Трифонова, отличающихся особой автобиографичностью. В повестях «Дом на набережной», «Обмен», романе «Время и место», и первом романе «Студенты», и в рассказах «Игры в сумерках» можно найти строки, посвящённые этим значимым и дорогим сердцу Трифонова местам. Например, в романе «Студенты» читаем о Серебряном Боре: «Летом здесь былолюдно и весело, наезжало много дачников, молодёжи, на реке открывались лодочные станции и пляжи, с утра до вечера гулко стучал мяч на волейбольных площадках, – жизнь была увлекательной и лёгкой, похожей на кинофильм». А вот описание внешности самого Юрия Трифонова в двенадцатилетнем возрасте из романа «Время и место» (1980):

Он был толстенький, кудрявый, дома ходил в бархатных коротких штанах, очков не носил, хотя был близорук, в классе сидел за первой партой, указательным пальцем часто оттягивал кожу возле угла левого глаза, отчего глаз сощурился и видел немного лучше...»

В этом романе на склоне лет Трифонов восклицает:

Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет.

Замечательные слова! Вывод таков: к произведениям Юрия Трифонова нужно прибавлять слово «вспоминание». Таковы у Трифонова рассказы-вспоминания, повести-вспоминания, романы-вспоминания. Он и сам как-то признавался, что не отличается богатой фантазией и воображением, а все сюжеты почерпнуты им из собственной жизни.

После расстрела отца в 1938 году арестовывают и мать Евгению Абрамовну Лурье, которую отправляют по этапу в Карлаг под Карагандой. Над тринадцатилетним Юрием и десятилетней Татьяной бабушка Словатинская оформляет опеку и тем самым спасает их

от детских домов для детей врагов народа. Конечно, они уже живут не в Доме на набережной, а в коммуналке на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект). В 1946 году благодаря хлопотам бабушки перед М.И. Калининым мать Юрия и Татьяны возвращается в Москву, не досидев двух лет. О возвращении матери и чувствах, владеющих им и сестрой при её возвращении, Юрий Трифонов подробно рассказывает в романе «Время и место», отмеченного критиками как весьма слабый в художественном отношении.

Большевики-политкаторжане, легко переносившие тяготы тюрем и ссылок, придя к власти, стремились всячески облегчить жизнь себе и своим детям, забывая элементарное: что роскошью легко испортить детей. 3-летнему Юрию нанимают немку-бонну, которая, как у свергнутых дворян, исполняет роль воспитательницы-гувернантки. К моменту поступления в советскую школу (пошёл он сразу во второй класс) Юрий уже в совершенстве знал немецкий язык, стихи Гейне и Гёте, не говоря уж о командах типа: *hande waschen, zahne putzen, schlafen!* (Руки мыть, зубы чистить, спать!) В школе Юра гордится своими знаниями и подчёркивает своё превосходство над одноклассниками. Как-то на уроке немецкого языка в пятом классе он сказал учительнице длинную фразу на немецком, суть которой состояла в просьбе выйти в туалет. Ученики, как говорится, прижали уши, ничего не поняв, но после ухода Юры преподаватель объяснила им суть сказанного. Мальчишки потом долго куражились над Трифоновым, спрашивая, «не наложил ли он в штаны».

Такая и им подобные обиды гнетут душу Трифонова практически всю жизнь. Он говорит о Глебове, его alter ego из повести «Дом на набережной», следующее: «Но вот от чего Глебов не мог освободиться, что мучающе сопровождало его все годы, начиная с самых ранних, — это глубоко на дне теснящая душу обида...» Недаром его лучшим другом был писатель Лев Гинзбург, также имевший в детстве немецкую бонну...

После начала войны Юрия, сестру Таню и бабушку эвакуируют в Ташкент, где живёт вся московская элита. В Ташкенте Юрий оканчивает в 1942 году школу, и семья возвращается в Москву, от армии его освобождают из-за сильной близорукости. Он оформляется на работу на оборонный завод слесарем, скрывая, что его отец враг народа, но там не сильно-то интересовались анкетными данными из-за нехватки рабочих рук. Пройдя ряд рабочих специальностей, он, имея за плечами хорошую школу писательского кружка Дворца пионеров и неодолимую тягу к творчеству, становится заместителем редактора заводской многотиражки. Представив на творческий конкурс в Литературный институт им. М. Горького стихи и два рассказа, он в 1944 году поступает в институт на заочное отделение, а через два года переводится на очное. Об этом периоде Трифонов рассказывает в нашумевших повестях «Студенты», «Дом на набережной» и в итоговом романе «Время и место». Посещает он семинары прозы Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) и Константина Александровича Федина (1892–1977).

3

Инна Гофф, учившаяся с Трифоновым в одно время в Литинституте, вспоминала об отличнике Юрии Трифонове, получавшем с 1947 года стипендию В.Я. Шишкова, так: «Теперь война кончилась, и среди бушлатов и кителей кургузые гражданские пиджачки выглядели сиротливо. Но к нему

это не относилось. Он уже утвердил себя, удачно выступив на семинаре Федина... Великое дело – заявить о себе. Утвердиться. Он уже утвердился, в отличие от тех, в морских бушлатах и армейских гимнастерках. Здесь, на мирном полигоне, они выглядели в сравнении с ним необстрелянными новобранцами». «Они» – это сокурсники, ставшие затем выдающимися писателями (Бондарев, Ваншенкин, Бакланов, Друнина, Солоухин, Гофф и другие) – безоговорочно признавали талант Трифонова. Старшие товарищи, например, К. Федин, помогали Юрию публиковаться в «толстых» журналах. Студент Трифонов, реализуя свои творческие силы, за полтора года пишет в качестве дипломного проекта роман «Студенты» о годах в Литинституте, о борьбе с космополитами.

«Суд» литературно-студенческой общественности – чтение избранных глав из романа «Студенты» – состоялся в ноябре 1948 года на семинаре Константина Паустовского. Невозмутимость и внешнее спокойствие Юрия Трифонова была притчей во языцех Литинститута. Инна Гофф вспоминала:

В ту пору чтение и впрямь несло в себе некий заряд, подобный атмосферному электричеству... Он читал неторопливо, размеренно, несколько скучным голосом. И это было резким контрастом с тем, о чем он читал. И тем, как это было написано, – нам казалось, что блистательно... Юркина повесть показалась мне многообещающей. Такую вещь послушаешь – и заражает, хочется писать... Тогда был его триумф. Юра был бледен. Красные пятна на лице подчеркивали бледность. Значит, волновался...

Осенью 1950 года в литературной Москве случилась маленькая сенсация. Александр Твардовский сразу в двух номерах «Нового мира» напечатал дебютный роман «Студенты» мало кому известного автора Юрия Трифонова. Через неделю после публикации автор, как говорится, проснулся знаменитым. Признанные мэтры литературы поздравляли Трифонова с успехом, а Андрей Лобанов, режиссёр театра имени М.Н. Ермоловой, загорелся желанием поставить спектакль по мотивам романа. Триумф был оглушительным и полным. Редакция журнала «Новый мир», где Федин входил в редколлегия, выдвинула Юрия Трифонова на Сталинскую (ныне Государственную) премию II степени. Говорят, что в декабре 1950 года сам Сталин присутствовал на заседании комитета по присуждению литературных премий. Всё шло по привычному сценарию, но кто-то встал и сказал, что Трифонов скрывает факт, что отец его был «врагом народа». Якобы Сталин улыбнулся и спросил: «Книга действительно хорошая?» Федин подтвердил: «Да, хорошая». Тогда Сталин зачеркнул «II степени» и написал «III степени».

Казалось бы, что лауреату такой премии, как Сталинская, прямая дорога в Союз писателей СССР, но секретариат Союза решил провести своё расследование по поводу сокрытия Трифоновым фактов своей биографии. Не вдаваясь в подробности, заметим, что Трифонов был принят лишь в качестве кандидата сроком на один год, а уж потом, обещали ему, включают в основной список Союза писателей. Но ещё пять лет Трифонова не принимали в Союз. Кроме того, районная организация ВЛКСМ провела совещание с намерением исключить Юрия Трифонова из комсомола. Нюансы подготовки и итоги этих совещаний нашли отражение в рассказе «Недолгое пребывание в камере пыток», а также в повести «Дом на набережной».

Что же касается романа «Студенты», то прав оказался Илья Эренбург, заметивший: «Автор весьма талантлив, но я хотел бы надеяться,

что он когда-нибудь пожалеет о том, что написал эту книгу». Так оно и получилось. Уже в 1970 году Трифонов признался Л. Левину, что из «Студентов» получилась «странная смесь искренности и хитрости, которую я наивно считал обязательной».

Только в конце 1956 года по совету Константина Федина Трифонов вернулся к вопросу вступления в Союз писателей СССР и написал справку в президиум Московского отделения Союза писателей СССР с просьбой перевести его из кандидатов в члены Союза. В ней Трифонов указал свои творческие достижения за последние пять лет.

С 1951 года я активно работал в литературе, написал две пьесы: «Молодые годы» (1952 г.) и «Залог успеха» (1954 г.), поставленные в Моск. т-ре им. Ермоловой. Напечатал три рассказа о Куйбышевской стройке под общим заголовком «Встречи на Волге» («Смена» 1951 г.), рассказы «Фёдор Кузьмич» («Огонёк» 1955 г.), «Случайный сосед» («Огонёк» 1956 г.), «Доктор, студент и Митя» (Молодая гвардия, № 1) «Последняя охота» (Литературная газета, 1956). Печатаал очерки о поездках по стране в Лит. газете, Комсомольской правде, Советской культуре и о поездках за рубеж – в журнале «Новое время» (1955 г.) и в «Лит. газете» (1956 г.). Кроме того напечатал несколько рецензий на книги в Лит. газете, в журналах «Новый мир» и «Октябрь».

В мае 1951 года Трифонов женится на солистке Большого театра Нине Нелиной (1923–1966). Она была дочерью балерины Полины Мамичевой и известного в Москве художника Амшея Марковича Нюренберга, в их квартиру-студию молодожёны переезжают жить. В рассказе-воспоминании «Посещение Марка Шагала» Юрий Трифонов подробно останавливается на этом периоде жизни.

Я жил в странном доме на Масловке, который был построен в тридцатых годах с расчётом на то, что тут поселятся дружные жизнерадостные творцы пролетарского искусства, не озабоченные ничем, кроме своего дела, своего мчания вперёд, поэтому как на вокзале: одна уборная и один водопроводный кран на этаж, где жили человек двадцать.

Тесть, как пишет в этом рассказе Трифонов, «сначала меня любил, потом возненавидел». Первая жена явилась прообразом героинь в произведениях Трифонова: «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Бесконечные игры».

На премиальные деньги Трифонов купил автомашину «Победа», но сам машину не водил и не хотел заниматься этим беспокойным делом. Нанял водителя, зарплата которого быстро съела все денежные запасы.

Нелина была уже сложившейся артисткой, солисткой Большого театра и являлась главным кормильцем в доме. Ее карьера набирала обороты, а Трифонов только прикидывал, что делать дальше. У Нины было прекрасное колоратурное сопрано, и, помимо того, она была яркой женщиной: шатенка с вьющимися волосами и ярко-голубыми глазами да еще в молодости красилась в блондинку. Возможно, именно ее красота и известность в качестве оперной дивы послужили причиной слухов о ее любовной связи с «великим и ужасным» Лаврентием Берия. Такие слухи, разумеется, доходили до Трифонова, возбуждали ревность, которая отнюдь не способствовала взаимопониманию. Ради Трифонова Нина бросает сцену Большого театра и переходит на работу в Москонцерт, чтобы иметь больше времени для общения с мужем и больше заработать, чтобы избежать упреков матери. Их бригада давала

концерты в Арктике и на дрейфующей льдине, за что Нелина удостоилась звания «Почётный полярник».

Подобный дисбаланс уязвлял самолюбие Юрия Трифонова и служил поводом для конфликтов. «Нина думала, что я буду получать Сталинские премии каждый год», – с горечью напишет Трифонов впоследствии, но он был не прав в осуждении жены. В декабре 1951 года в семье Трифонова и Нелиной родилась дочь Ольга, что ещё более усложнило ситуацию. Молодожёны жили, по сути, на зарплату Нины, которая разрывалась между работой и уходом за ребенком, чтобы муж имел возможность творить. А Трифонов, тем временем, либо сидел дома, читая газету «Советский спорт», либо пропадал в Доме литераторов, либо ходил с друзьями на футбол на стадион «Динамо», который был в двух шагах от дома.

Поэт и однокурсник Константин Ваншенкин, писал в «Воспоминаниях о спорте»: «Юрий жил на Верхней Масловке, возле стадиона “Динамо”. Начал ходить туда. “Прибаливал” за ЦДКА по личным мотивам – из-за Боброва. На трибуне познакомился с закоренелыми спартаковцами: драматургами Арбузовым и Штоком, начинающим тогда статистиком футбола Константином Есениным. Они убедили его в том, что “Спартак” лучше. Редкий случай».

Теща Полина (Пелагея) Мамичева упрекала зятя за то, что он «валяет дурака», лежа на тахте, пока ее дочь-артистка летает с концертной бригадой по всей стране вплоть до Северного полюса. В семье нарастало напряжение, «опыт» его Трифонов ярко описал в последующих «московских повестях».

Коротенький рассказик «Путешествие» Трифонов начал так:

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале – уехать немедленно. Почему мне стало так худо – это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему.

Говоря современным языком, теща и тесть «достали» Трифонова, который готов был уехать «куда глаза глядят», лишь бы не видеть и не слышать упреков в лени.

К тому же Трифонов мучился поисками темы для второго романа. Первый роман «Студенты» он стал, и не без оснований, считать уступкой «сталинскому режиму» и предательством по отношению к отцу. Есть в «Студентах» и откровенно конъюнктурные моменты: студент Белов обличает преподавателя Козельского за низкопоклонство перед Западом и космополитизм. «Студентов» Трифонов расценивал как обмен памяти об отце на деньги и известность, но смело, антисталински, писать боялся. В повести «Дом на набережной» (1976), герой которой Глебов часто выступает трифоновским alter ego, говорится об «осторожности, проявлявшейся иногда безо всяких поводов, по наитию. <...> На самом деле работал тайный механизм самосохранения...»

Забегая вперед, надо сказать, что жена Нина Нелина разгадала характер мужа. Она тоже вела дневник, в котором 5 марта 1966 года записала: «Ю.В. влип в дело Аксенова. Васька поднес им с Рыбаковым письмо на подписи об освобождении Синявского и Даниэля. И вот мой тоже влип. Хочется из тщеславия и благородства подписаться, с другой стороны – мысль: что будет? Рыбаков и мой Юрка – люди осторожные, но тщеславные и карьерные. Они решили подписать письмо, и, может быть, послать. Они якобы хорошие, но где-то их гложет страх...»

И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить!

Писать так, как Всеволод Кочетов написал роман «Чего же ты хочешь?» (1969), Трифонову мешал инстинкт самосохранения. Кочетова травили и слева, и справа так, что в 1973 году он выстрелил себе в сердце. Система безжалостно расправлялась с правдолюбцами и идеалистами, ратующими за справедливость и достойное отношение к народу.

Роман Кочетова вызвал бурную полемику в обществе и в партийных кругах тех лет. Кочетов первым увидел и описал перерождение интеллигенции, партийной и хозяйственной верхушки, отрыв власти от народа. Он рассказал, как многие номенклатурные деятели, с восторгом смотрящие на Запад, создают свой класс «для себя». Роман свидетельствует, что уже к 70-м годам в Москве правят балом подпольные дельцы, называемые «цеховиками», карьеристы от КПСС, диссиденты, фарцовщики. «Проклятая каста» (так Сталин называл чванливо-чиновную номенклатуру) к 80-м годам своими щупальцами охватила уже и провинцию, потому неудивительно, что началась «перестройка» с последующим разрушением СССР.

И тут Трифонову вспомнились творческие успехи поэта Николая Тихонова, создавшего ещё до войны цикл стихов о Туркменистане. Вспомнилась тихоновская книга очерков «Кочевники», роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», а главное повесть «Кара-Бугаз» его литературного наставника Паустовского о социалистических преобразованиях в Средней Азии. Эти произведения наталкивают Трифонову на мысль о создании очередного романа соцреализма, подобного «Студентам». Кроме всего прочего, непременно хотелось удрать из семейной душно-тяжёлой обстановки на «волю». И «познать себя», как в последствие напишет Трифонов. В 1952 году Трифонов с трудом уговаривает Твардовского командировать его на деньги «Нового мира» в Туркмению для сбора материала нового романа «Канал», впоследствии переименованного в «Утоление жажды». Трифонов наблюдал строительство канала от Аму-Дарьи в Каспийское море, посещал геологические экспедиции, работал специальным корреспондентом в газетах Ашхабада, переводил с подстрочников туркменских писателей. Позже он вспоминал: «Мотался по Каракумам на вездеходах, на верблюдах, на маленьких самолетиках, знакомился, узнавал, записывал».

В туркменских рассказах Трифонов оформляет жизненное и творческое кредо: в каждом человеке столько хорошего, сколько и плохого. Трудная семейная жизнь подтолкнула его к этому осмыслению. Справедливости ради надо сказать, что в такой пропорции он оценивал и себя, и своих близких, которых изображал в своих произведениях достаточно беспристрастно – без упрека, но и без снисхождения.

Твардовский не оценил рассказы и роман «Утоление жажды», отказался их печатать в «Новом мире», тогда Трифонов отнёс их антиподу Твардовского Вадиму Кожевникову, редактировавшему «Знамя». И печатался Трифонов в «Знамени» с 1959 года шесть лет. Там его вещи, к великому счастью, редактировала Софья Разумовская, человек с огромным литературным вкусом. С ней Трифонов четыре раза переделывал «Утоление жажды». В художественном плане роман не представлял собой ничего нового. Хотя впоследствии критики усмотрели в нём умение «запечатлеть время не сюжетно, не в слове героя, не в его интеллектуальной рефлексии, а в настроении».

В 1964 году роман «Утоление жажды» был выдвинут на Ленинскую премию за свою партийную направленность, но комитету по присуждению премий этой направленности показалось мало, произведение

прокатали. Но за издание романа отдельной книгой Трифонов получил большой гонорар, на деньги которого он купил недостроенную дачу в посёлке писателей Красная Пахра. В соседях у него оказался Твардовский (участки разделял невысокий штакетник) и друзья: Иосиф Дик, Виктор Драгунский, Григорий Бакланов. За хозяйственные работы по достройке дачи с энтузиазмом взялась Нина. Она приложила много сил, чтобы его достроить: нанимала рабочих, указывала им, что и как делать, покупала краски и другие отделочные материалы по своему отменному вкусу. Так появился прекрасный просторный дом с террасой. Перед террасой Нина разбила сад: посадила грядки с клубникой, по бокам высадила кусты со смородиной. Но воспользоваться своими трудами и пожить в этом раю она не успела.

Сам Трифонов не занимался ни строительством, ни садоводством или цветоводством, как и большинство его соседей, несмотря на уговоры русского по духу Александра Твардовского.

4

В это время осторожного Трифопова увлекла своей аполитичностью и беспронимчивостью новая тема – спорт. Отличное знание немецкого языка и приличное владение английским позволили Трифонову в 1950–1960-е годы работать в качестве спортивного корреспондента на многих международных соревнованиях. В то время поездки за рубеж были привилегией избранных. У Трифопова имелись все предпосылки, чтобы попасть в их круг – литературная известность, знание иностранных языков, любовь к спорту. Кроме того, спортивная журналистика помогала безбедно жить: командировки оплачивались валютой, появилась возможность покупать импортные вещи, познавать капиталистический образ жизни и писать очерки и репортажи. Они печатались в газетах «Физкультура и спорт», «Советский спорт», «Футбол», «Литературная Россия», «Литературная газета».

Государственный контроль в спортивных изданиях был менее строгим, чем в других изданиях. Видимо, поэтому редактору «Советского спорта», а затем «Физкультуры и спорта» Николаю Тарасову удалось собрать вокруг себя группу молодых и талантливых авторов, предоставив им относительную свободу самовыражения. Зарубежные поездки дали Трифонову неоценимый материал для его будущих рассказов и книг «московского цикла». Его интересовали прежде всего не результаты спортивных игр, а способности человека выстоять и победить в трудных условиях. Он изучал психологию спортсменов как личностей, разгадывающих секреты своих побед и поражений. В этом трифоновские рассказы и очерки очень похожи на психологические поиски Жоржа Сименона (1903–1989) в романах «Поезд из Венеции», «Неизвестные в доме», «И всё-таки орешник зеленеет», «Пассажир «Полярной лилии», «Тюрьма», «Смерть Беллы» и рассказах о комиссаре Мегрэ. Только предметом изучения Трифопова являлись спортсмены и семейные отношения, а второго – преступники и те же семейные отношения.

В спортивных текстах было легко избежать образов прошлого и не менее легко вписаться в образы современности. В течение 18 лет Трифонов входил в редколлегия журнала «Физкультура и спорт», написал несколько сценариев к документальным и художественным фильмам: «Стартует молодость», «Ловкость, красота и здоровье», «Мы были на Спартакиаде».

В уже упомянутом рассказе «Недолгое пребывание в камере пыток» Трифонов говорит мимоходом о себе, как об авторе «отличного фильма “Хоккеисты”». Трифонов заслужил, и не без оснований, звание основоположника психологического рассказа о спорте и спортсменах. Хотя Константин Ваншенкин считал его «человеком с трибуны» (да и сам был таким), то есть не испытывавшим спортивные нагрузки на своём горбу, в отличие, например, от штангиста Юрия Власова, также авторе замечательных рассказов о мире спорта и психологии спортсменов. Константин Ваншенкин писал: «Сидели когда-то с Ю. Трифоновым в кафе Дома литераторов и говорили, между прочим, и о футболе. Кто-то сказал: “О чем вы! Как вы можете?...”» Мы вежливо объяснили: “Это гораздо интереснее, чем говорить о ваших повестях и пьесах. Вот так...”»

Как писатель и человек с тонко организованной душой Трифонов приходит к мыслям о бренности человеческой жизни, о той острой её несправедливости, когда человек, зная о своей смерти, живёт, словно его не ждёт определённый, печальный конец. И в этом счастье человека и его поражение. Заканчивая один из спортивных рассказов, он с острой ностальгией напишет после разговора с молодым австрийцем:

Я вдруг подумал: да, да, он прав, все это происходит единственный раз в жизни и больше никогда не повторится. Я никогда больше не приеду в Инсбрук. Никогда больше не буду разговаривать с этим Кристианом, сидя в темном автобусе, который медленно поднимается по горной дороге. Никогда не увижу вот этой горстки огня на вершине, где приютился какой-нибудь отель или санаторий. Все это – никогда больше.

Выезжая за границу, Трифонов порой берет с собой и жену. Но на июльский чемпионат мира по футболу в Англии (1966) возможности такой не представилось, что возмутило Нину. Разразилась дикая ссора с взаимными упреками и обвинениями. «Ю. конечно противный парень. Я люблю труд писателя, понимаю в литературе, я могу любить его, мне не нужны другие, но он так мало уделяет мне внимания, так дразнит мою ревность унижительно и зло – что он мне делается ненавистен... и я найду другого человека..», – записала в своём дневнике Нина. А Трифонов пишет о том же самом так: «Во время ссор и скандалов Нина кричит, выбалтывает непоправимое. Иногда мне кажется, что она больна душевно. Но уже очень скоро она другая... глаза у нее словно выплывают». Трифонов как-то не выдержал, сказал, что уйдёт от неё. «Подожди, – ответила Нелина, – я скоро умру, и ты женишься или на какой-нибудь редакторше, или...». Второй вариант касался тогдашней жены прозаика Берёзко Ольги Мирошниченко. И она оказалась права.

Муж улетел на чемпионат мира, а рассерженная с больным сердцем жена поехала в курортный литовский городок Друскининкай. Райское место, в котором автор сих строк побывал в начале 80-х годов. Юго-запад Литвы рядом с границами Польши и Белоруссии, верховья Немана среди стройных сосен, чистейший жёлтый песок, голубые небеса и озёра, на берегу одного из них стоит этот уютный городок с непреходящим костелом. Родина знаменитого литовского художника Чюрлёниса с домом-музеем, где он жил. На телефонный звонок Нины из Литвы с просьбой, чтобы Трифонов приехал, он не отозвался. В Друскининкае Нина и умирает в возрасте 43 лет от обширного инфаркта, но шли слухи, что она наложила на себя руки, приняв большую дозу снотворного.

Трагические переживания Трифонова от смерти жены воплотились впоследствии в рассказе «В грибную осень», где есть страшные слова, сказанные Фросей (в жизни – тёщей) в лицо сестры (Трифонову): «Заездила, заездила мать...». Надо понимать, что Трифонов «заездил» жену.

По описаниям друзей, Юрий Трифонов тяжело переживал потерю жены. Третья жена Трифонова Ольга Мирошниченко рассказывала:

Однажды мы говорили о шокирующей непредсказуемости поведения человека, переживающего подлинное горе, и Юра сказал неожиданное: «Через две недели после смерти Нины я с двумя бутылками водки поехал к незнакомой женщине».

А женщина позвонила сама и сказала, что совсем недавно потеряла мужа и, может, им вдвоем будет легче. Юра поехал к ней на Ростовскую набережную в изогнутый дугой дом. Легче ли им было вдвоем, он не сказал, сказал только, что женщина была умной и доброй. Вскоре она умерла. Вот и вся история.

Через полгода, весной 1967 года Трифонов едет спортивным обозревателем на чемпионат мира по хоккею в Вене. Об этой поездке говорит рассказ «Травничек и хоккей».

5

В 1967 году Трифонов познакомился с Аллой Павловной Пастуховой (1936–2014), редактором «Политиздата» в серии «Пламенные революционеры». Писатель Аркадий Ваксберг отзывался о ней очень тепло: «Алла Павловна работала в Политиздате... Она была одним из лучших, если не лучшим, редактором в этом издательстве. Все, кому привелось с ней сотрудничать, отмечали её культуру, благожелательность и вкус. Она всех и все понимала и делала максимум возможного, чтобы рукописи достойных авторов не слишком жестко страдали от придирок начальства и от цензорских ножниц».

Она предложила Трифонову развить очень выигрышную для Запада тему терроризма и написать исторический роман, например, о русских террористах, убивших императора Александра II. Трифонов послушал дельного совета и создал роман «Нетерпение» (1973) о народовольце Желябове. По причине набирающей актуальность темы терроризма его роман стал наиболее известной книгой за пределами СССР, суммарный тираж этой книги составил 900 тыс. экземпляров. Особенную актуальность «Нетерпение» приобрёл в Западной Германии, где в 70-е годы появилась леворадикальная террористическая организация «Красные бригады», совершавшая кровавые акции. Именно этот роман, пятый в списке немецких бестселлеров того времени, заинтересовал Нобелевского лауреата по литературе Генриха Белля (1917–1985). Под влиянием Аллы Пастуховой возник лестный для Трифонова термин «густое письмо Трифонова». Сам Трифонов прекрасно сознавал, как велик был вклад Пастуховой в его работу. Он часто повторял, что своим успехом обязан Алле. Неслучайно Трифонов называл Пастухову своим любимым, «пожизненным» редактором. Как профессионал Трифонов за время брака с Пастуховой сильно вырос. У нее был прекрасный вкус, по ее рекомендациям он убирал из своих произведений лишнее, по несколько раз переписывал отдельные места.

Но длинноты в первой повести «Обмен» (1969), созданной в первые годы их совместной жизни, ещё сохранились. Так, в одном из абзацев

на 17 строк Трифонов подробнейшим образом расписал, как жена Дмитриева Лена разбирает постель на тахте. Что простыня легла неровно, и пришлось наклоняться, чтобы достать углы, и лицо Лены при этом наклоне «налилось краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим...». Конечно, это очень «важно» для характеристики жены.

Деловые отношения переросли в официальный брак в 1968 году. Браком этот деловой союз назвать было трудно. На даче Пастуховой не нравилось, и она там почти не бывала. В Москве они тоже жили порознь, за Трифоновым новая жена практически не ухаживала.

В ноябре 1975 года Юрий Трифонов принёс в редакцию «Дружбы народов» повесть «Софийская набережная». Через месяц, уже после публикации журнального анонса повести, Трифонов меняет её название на «Дом на набережной». Ошеломительному успеху этой повести (1976) в первом номере «Дружбы народов» Трифонов также во многом обязан Алле Пастуховой. Вместе с ней Трифонов сократил повесть *в три раза*, сделав её, с одной стороны, более емкой и концептуальной, а с другой – проходимой для цензуры. Изъятые же места составили основу неоконченного романа «Исчезновение», опубликованного посмертно.

В течение двух лет повесть «Дом на набережной» была переведена на немецкий, английский, венгерский, датский, итальянский, норвежский, финский и другие языки. Трифонов внезапно становится мировой литературной знаменитостью, его приглашают на международные книжные ярмарки, он выступает с лекциями о советской литературе в университетах США и Западной Европы. Убежденность Генриха Бёлля, что Трифонов достоин Нобелевской премии по литературе, крепнет, и он выдвигает Трифопова на эту премию, которую тот не смог получить по самой прозаической причине – смерти.

Дочь Трифопова Ольга Трифопова-Тангян (живёт в Дюссельдорфе, ФРГ) вспоминала:

Это был творческий союз, настоящий литературный дуэт. Этот период был самым продуктивным в жизни Трифопова. В 1969–1972 г. он издал одну за другой свои «московские повести», в 1973 – роман «Нетерпение». Все отмечали, что в «московских повестях» Трифонов переродился, но забывали отметить, что переродился он под влиянием своей второй супруги Аллы Пастуховой. Считаю это в высшей степени несправедливым. Она сама мне говорила: «Каждую его строчку я пропускала через себя». Могу засвидетельствовать их кропотливую совместную работу над рукописями.

В этом отрывке из воспоминаний чувствуется глубокое уважение Ольги Тангян к Алле Пастуховой.

Но вскоре Алла перестала Трифопова удовлетворять в прямом и переносном смысле. Он стал искать связи на стороне. Одной из его тайных привязанностей стала с 1972 года Ольга Романовна Мирошниченко, младше его на 13 лет. Им удавалось скрывать от окружающих свои отношения семь лет. Грубо говоря, когда Алла Пастухова правила рукописи Трифопова, он в это время встречался со «второй» Ольгой. Так её позже называли в семье Трифоповых, так как «первой» считалась дочь его от Нины Нелиной. Кстати, обе Ольги резко враждовали, особенно на даче в Красной Пахре, где, чтобы развести двух Ольг, для младшей был построен отдельный небольшой дом в углу участка. Когда дочь Трифопова вышла замуж и уехала с мужем, она с облегчением вздохнула и порадовалась, что никогда сюда не вернётся.

Вот как описывал внешность Трифонова в пору его руководства Литературной студией при МК ВЛКСМ «семинарист» Леонид Бахнов: «Трифонов, во-первых, довольно высокого роста и шире в плечах в два раза. Крупный то есть. Во-вторых, спокойный, вальяжно неторопливый и вполне уверенно высказывающий свои суждения человек. В темно-бежевом хорошо сшитом пиджаке и больших очках с чуть затемненными стеклами». В 1988 году Л. Бахнов напишет о Ю. Трифонове статью «Семидесятник», где в частности есть такие слова:

Этим названием мне хотелось подчеркнуть грань, отделяющую Трифонова от «шестидесятников». Я попытался взглянуть на позицию Юрия Трифонова как бы изнутри – изнутри его творчества, судьбы, его эстетических пристрастий. И связать это с тем временем, в котором ему – и всем нам – довелось жить. Говорил о его органической тяге к недосказанности, о том, что его чисто эстетические требования к собственному творчеству «полярно сошлись» (его выражение!) с требованиями цензуры. А закончил я ее такими словами: «Сейчас настала пора прямого слова. Уходит, улечивается аромат намека, недомолвки, иносказания. Но трифоновские “пробелы” не выглядят анахронизмом. Потому что они насыщены мыслью – той, что звучала в 60-х, глушилась в 70-х, которую нам еще долго (вспомним напоследок любимое слово писателя) “дочерпывать”».

Дружеские связи Трифонова с немецкими издателями и критиками (знание немецкого языка способствовало) были настолько сильны, что последний прижизненный его роман «Время и место» был впервые издан не в СССР, а в ГДР. Но о диссидентском характере этой вещи говорить не приходится, просто немецкий критик Ральф Шрёдер (1927–2001) считал Трифонова своим другом и свой долг увидел в том, чтобы несмотря ни на что перевести последнюю вещь своего товарища на немецкий язык.

В 1979 году у пары родился сын Валентин, названный в честь деда-большевика. И, понятное дело, Трифонову-старшему очень хотелось жить, но с детства было больным сердце, а зачастую болезнь сердца отражается на почках, или наоборот. Трудно сказать, что в этой «паре» играет первичную роль, а что вторичную. Трифонову сделали операцию, удалили почечную опухоль. Все прошло успешно, он находился в обычной палате, а 28 марта 1981 года перед обходом врачей Трифонов взял газету, чтобы скоротать время за чтением собственного интервью. Когда доктора зашли к нему в палату, он уже не дышал. Писатель умер от легочной тромбоэмболии – закупорке тромбом артерии, доставляющей кровь к лёгким. Юрий Трифонов не дожил пять месяцев до своего 56-летия.

Молодая вдова проявила недюжинную активность и оформила на себя квартиру Трифоновых № 137 в Доме на набережной для создания квартиры-музея. Она состояла при нём одновременно и хозяйкой, и экскурсоводом. Характерную особенность подметила Ольга Романовна, которой поделилась с очередным интервьюером: «Дедушки ковали революцию, а внуки почти все живут за границей».

6

Начало своего творческого пути Трифонов ретроспективно развернул в ранее упомянутом рассказе «Недолгое пребывание в камере пыток»:

Но меня это не трогало. Я был занят другим. Я писал книгу. Другие женщины с белошеничными косами возникали и пропадали. Вдруг я женился. Летела в молодом нетерпении жизнь. Моя слабая книга получила известность, глаза мои застилал туман, и тут на меня обрушилась гора. <...> Дело в том, что мне грозило исключение. Я окончил институт, но продолжал находиться в комсомольской организации института. Слабая книга внезапно получила премию. Поэтому было сладко меня исключать. И было за что: я скрыл в анкете, что отец враг народа, во что никогда не верил.

На жизненные коллизии Трифонова, творческие и бытовые, повлияла, прежде всего, его элитарность, выпестованная с детства. Его бабушку знал и ценил сам Сталин. Принадлежность к элите – это как золотая вещица (кольцо, перстень или что-то иное), подаренная при рождении. Кольцо можно исцарапать, обляпать, но золото, как материал, из которого оно сделано, остаётся тем же самым золотом, будь ему 50, 100 и более лет. К чему это?

Интеллигенция боготворила Трифонова, как кумира, как своего защитника. Его повести семидесятых годов интеллигенты считали оправданием своего собственного незавидного, по их мнению, положения в душные годы, так называемого «застоя». Однако в силу своей элитарности Трифонов писал не об учителях, научных сотрудниках, врачах, тем более, инженерах. Он был далёк от них. Он писал о себе, о своём почти постоянном раздражении, безнадёжности и об усталости. Писал густо, плотно, талантливо, скорее всего, не специально о ней, но всё получалось так же – об усталости. Вот в романе «Время и место» он говорит о себе: «Это становилось болезнью, он жил теперь, последние года полтора, какой-то двойной жизнью: всё, что случалось с ним, с его друзьями, с далёкими знакомыми, о которых он узнавал понаслышке, окружал загадочный ореол возможного воплощения». Вроде отражены муки творчества, но получилось про ту же самую безнадёжность. «Давно нет <...> знобящего чувства, что – все впереди, все еще случится, произойдет», – думает о себе герой «Предварительных итогов». Или: «Все вместе и еще много другого, такого же чужого, нанесенного издалека – казалось бы, чужого! – и составляет громадную нелепицу, вроде нескладно сложенного стога сена, мою жизнь». *Мою жизнь!*

И это не только моё мнение. Во время публичного обсуждения повести «Дом на набережной» в Центральном доме литератора (ЦДЛ) прозаик Владимир Дудинцев сказал, что ему неинтересны такие произведения, посвящённые «микроорганизмам» на лезвии гильотины, отсекающей «великие головы». Он имел в виду ничтожность жизненных проблем и этических дилемм Вадима Глебова и других героев «Дома на набережной» в годы, когда в тюрьмах и лагерях гибли лучшие учёные, писатели и политические деятели. Между тем, Семён Экштут, написавший монографию о Трифонове в серии ЖЗЛ, подсчитал, что в «Доме на набережной» ни разу не упомянуто имя Сталина, но зато слово «страх» упоминается 17 раз... «страшное» – 14 раз, и лишь один раз – ключевое слово «террор». Юрий Трифонов был осторожен всю свою жизнь.

Автор исторического исследования «Россия век XX» в 2-х томах, литературовед Вадим Кожин, ученик Михаила Бахтина, написал статью «Проблема автора и путь писателя». Он упрекал Трифонова в конъюнктурности и намекал, что надо было писать «Дом на набережной» раньше, в конце сороковых – начале пятидесятых годов, когда происходят основные действия повести и когда Трифонов получил Сталинскую

премию за свой дебютный роман «Студенты», написанный в духе социалистического реализма и борьбы с космополитизмом.

Эти упреки больно задели Трифонова, но они были справедливы. Если бы они не были таковыми, то не задели бы самомнение.

В статье с символическим названием «Нет, не о быте – о жизни» (1976) Трифонов пытается снять со своих произведений навешенный критиками ярлык «бытовизма» и говорит:

Нам, по-моему, следует словечко «быт» как-то укоротить. Поставить его на место. Иначе будем без конца путаться и недоумевать.

Далее он рассуждает, что нет такого термина «бытовая литература» и с юмором добавляет, что есть «бытовой сифилис», «бытовая комиссия», «бытовой сектор»... Но чтоб литература бытовая? Заключает он статью выводами:

Советская литература – это громадная стройка, в которой участвуют разные и непохожие друг на друга писатели. Из наших усилий создаётся целое. Между тем критика подчас требует такой цельности, такой универсальности от каждого произведения, будто каждое произведение должно быть энциклопедией. Неким универсамом, где можно достать всё. «Почему здесь нет этого? Почему не отражено то-то?» Но, во-первых, это невозможно. Во-вторых – не нужно. Пусть критики научатся видеть то, что есть, а не то, чего нет. Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчётливо, чем то, что есть.

Что же читатели могут узнать из произведений, а точнее, из жизни Трифонова и чем себя обогатить? Возьмём, к примеру, повесть «Дом на набережной». Большая часть повести – это воспоминания Вадима Глебова о времени своего детства, юности (1930-е) и студенчества (конец 1940-х), переданные со множеством умолчаний и намёков. Главный герой припоминает людей, встречи, интерьеры и обстоятельства времени: из всего этого он создаёт избирательную и непротиворечивую картину прошлого, в которой для неприятных событий и подлых поступков не оставалось места. То есть Глебов постоянно оправдывает себя во всём (предательстве, измене, зависти, трусости), что с ним происходило, в той линии поведения, перед выбором которой ставила его жизнь. Трифонов говорит об этом всепрощенчестве: «Всё было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать». Намёк, который можно вынести из повести, один и главный, заключён в образе Шулепникова, его жизни и падении. Высокопоставленные родители при воспитании своих деток не руководствуются преемственностью, не передают традиции русского народа, растя Иванов, не помнящих родства. А вместе с падением таких, как Шулепников, да и Глебов тоже, и государство падёт. Наверное, этот намёк прекрасно поняли в СССР и на Западе, что и сделало повесть столь популярной и здесь, и там.

Чуткая душа поэта Андрея Вознесенского верно подметила в поэме «Оза» (1964): «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Обрушение человека действительно началось с 1961 года, когда Хрущёв поманил советских людей иллюзией коммунизма с обещанием давать каждому по потребностям, независимо от вклада, т. е. способностей и трудолюбия. Мудрый немецкий социолог Эрих Фромм (1900–1980) пророчески заметил: «Хрущёв организовал гуляш-социализм. На этом всё и кончится». И действительно кончилось через 30 лет, но именно

с Хрущёва началось движение за «удовлетворение материальных потребностей населения». Потребительский зуд охватил советский народ, ещё морально не созревший для коммунистических отношений, и в конце концов «вещизм» (так тогда говорили) разрушил социалистическую и социально ориентированную страну.

В чём могут люди реализоваться и подтвердить социальный статус? Для этого нужно постоянно доказывать себе и другим, что ты лучше, успешнее, попросту выше других. Кто-то добивается этого через знакомства и связи – умеет достать дефицит («шерстяные рейтузы и билеты на Райкина»). Кто-то может похвастаться новым автомобилем или фотографиями из загранпоездки. Кто-то уходит в «духовность», покупая из-под полы Бердяева или отправляясь по северным деревням искать старые иконы. А Лена, героиня «Обмена», например, кичится своими культурными запросами и «клокочет по поводу тех, кто не признает Пикассо и скульптора Эрзю».

Есть и более тонкий способ: можно смотреть свысока на тех, кто сумел хорошо устроиться: пропихнул диссертацию, написал пьесу на одобренную сверху тему или просто смог договориться с рабочими, чтобы починили канализацию на даче. Презрение есть последнее убежище тех, кто не пробился наверх или остался не у дел в этом новом остановившемся времени. «Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия, – говорит Ксения Федоровна, мать Дмитриева из “Обмена”. – Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть». Но презрение не плодоносящее чувство, а разрушающее. И в этом тоже явный намёк на недолговечность государства, населённого такими «простыми» людьми, презирающими достижения страны.

В интервью немецкому журналу «Веймарер байтреге» (№ 8 за 1981 г.) Трифонов сказал: «...для меня самое важное – показывать жизнь человека, простого, обычного, сегодняшнего человека, со всеми перипетиями его сложной жизни, потому что жизнь совсем простого человека, которую я хорошо знаю, всегда очень сложна. Наверное, поэтому у меня много читателей. Они видят в моих книгах не только московскую жизнь, они находят в них собственные проблемы и сложности».

При этом признании мы проглотим последние капли «крепкого вина, которое называется “память”», как это сделал когда-то герой рассказа «Испанская Одиссея» Юрия Валентиновича Трифонова.

Выше упомянутый Фромм определял смысл жизни так: «Быть означает давать выражение всем задаткам, талантам и дарованиям, которыми наделён каждый из нас. Это значит преодолевать узкие рамки своего собственного “я”, развивать и обновлять себя и при этом проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать». Думается, что Трифонов полностью соответствовал этим требованиям.

Вера СЫТНИК

Родилась в Комсомольске-на-Амуре. Филолог по образованию, окончила Омский государственный университет. Работала музыкальным руководителем в детском саду, корреспондентом районной газеты, преподавателем мировой художественной культуры, русского языка и литературы. С 2006 по 2019 год проживала в Китае, где преподавала русский язык.

Автор двадцати книг для детей и взрослых, участница коллективных сборников, альманахов. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Берега», «Южная звезда», «Сура», «Новая скала», «ЛитОгранка», «Православная радуга» и других. Лауреат ряда литературных конкурсов, обладатель специального приза от издательского дома РПЦ на Международном славянском форуме «Золотой Витязь» (2018) в номинации «Дорога к храму». Живет в Ессентуках, Ставропольский край.

ЧАЙКА. С РЕВОЛЮЦИЕЙ ПОЛЁТ

*Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.*

Б. Пастернак «Памяти Рейснер»

Имя Лариса в переводе означает «чайка».

Есть люди, которые воплощают в себе приметы конкретного времени столь ярко и точно, что, глядя на них, даёшься диву, настолько они суть истории страны. Словно некий скульптор вылепил их из подручного материала, произведённого на данной почве и в данный момент. Будто собрал острые приметы общественного строя, подмешал к ним нравственные устои, главенствующие в тот период, и наградил этим добром индивидуумов, которые могли бы сказать про себя, что они – герои своего времени.

Индивидуумы в качестве выразителей исторического момента могут быть невзрачными, как и само время, а могут являть собой яркие характеры, если им выпало жить в переломные моменты истории, когда всё вокруг дымится и взрывается. Они, как искры огромного костра, устремляются вверх, туда, куда зовут их пламенеющие сердца, и сгорают, не выдержав жара породившего их огня. Такой была Лариса Рейснер. Она – не искра, а огонь! Символ Социалистической революции 1917 года.

Писать о Рейснер было легко в годы советской власти, ибо Лариса, во всём совпадающая с идеалами революции, воспринималась как яростная участница яростных событий. Она остаётся такой и сейчас,

но изменились обстоятельства и критерии оценки того времени. Сместились акценты в спорах о революции, которая оценивается сейчас не так однозначно. Мы уже не столь доверчивы, чтобы не видеть за её патетическим фасадом намёки на разлом в фундаменте нового строя. Разлом, который через семьдесят с небольшим лет приведёт к распаду великой державы.

Закономерно, что герои социалистической революции потеряли в глазах наших современников те пафосно-монументальные черты, что были приписаны им советской властью. Ветры истории сдули с них шелуху, под которой скрывались обычные люди, впитавшие в себя приметы своего времени. Лариса Рейснер видится мне не рьяной революционеркой, вдохновляющей матросов на бой, а холерической, в меру эксцентричной, отчаянно эгоистичной и чрезвычайно романтической натурой, отягощённой манией величия и любовью к роскоши. Такие натуры в любое время находят для себя приключения и во всём видят объект для испытания своего неуёмного характера.

Почему я назвала Ларису Рейснер символом революции, в то время как мы привыкли, что таковыми являются крейсер «Аврора», красноармеец или, на худой конец, «Рабочий и колхозница»? А всё потому, что жизнь Ларисы прошла стремительно и была сравнима с бушующим морем, выбрасывающим на песок останки взорванного общественно-политического строя. Останки – в виде раскуроченного внутри Эрмитажа и разобранных на булыжники мостовых.

Весь её образ – в кожанке ли с кобурой на поясе или в роскошном платье, добытом на царской яхте, – ассоциируется у меня с образом молодой революции, которая ярко вспыхнула и бурей прошла по стране, вырвав деревья с корнями, повредив тем самым землю и создав предпосылки для разлома, о котором я писала выше. Затем быстро затихла и растворилась в небытии... Ведь что такое 70 лет (возраст советской власти) для истории? Даже меньше, чем мгновение! Так и жизнь Ларисы Рейснер – мгновение. Только мгновение гораздо меньшее, чем судьба обычно одаривает человека.

Я гляжу на фотографию Ларисы Рейснер и думаю о том, что короткая жизнь этой удивительной женщины может служить иллюстрацией к самой революции. Её, Ларисины, многочисленные участия в боях, выступления перед матросами, разграбление царской яхты «Межень», которую её муж Фёдор Раскольников превратил в плавучий штаб и с которой она уносила женские наряды, а потом блистала в них перед матросами же, её бесконечные поездки по стране и странам, германские баррикады и страстные, полные вдохновения публикации в газете «Известия» – всё это штрихи к портрету не только самой Ларисы, но и к портрету социалистической революции.

В Ларисе было всё, что характерно для любой революции: дерзость мысли и поступков, смелость намерений и следование лозунгам, фанатичное упрямство, грубое хулиганство и жестокость, смешанная с романтикой переломного момента, когда впереди, сквозь дым пожара, брезжит светлое будущее, о котором ни у кого не было чёткого представления. Романтика бури, романтика очистительной грозы, романтика перемен захлестнули Ларису Рейснер, и она, не задумываясь, отдавалась революции, получая взамен жизнь, полную шика и приключений, пусть иногда опасных, но зато безумно интересных.

Гляжу на фотографию и за тонкими, выразительными чертами Ларисино лица вижу надменность, привитую ей в детстве, неистребимое

тайное кокетство, желание нравиться и повелевать. В этом она схожа с революцией, которая, несомненно, была надменна в отношении всего, что противоречило её взглядам; была кокетлива, если учесть её умение привлекать на свою сторону людей; желала всем нравиться и всеми повелевать. Лариса и революция – две подружки, в итоге сгоревшие в собственном пламени. Революция, породив новый общественный строй, просуществовала дольше. И погибла. Стаканом инфицированного молока, погубившим Ларису, для революции оказалась жадность партийной верхушки, настолько оторвавшейся от народа, что перестала видеть, как этот самый народ живёт. То, за что боролась Рейснер, превратилось со временем в пшик.

Жизнь Ларисы Рейснер оказалась короткой: она прожила тридцать лет и скончалась в 1926 году от брюшного тифа, выпив стакан сырого молока. Но историки и литературные критики до сих пор обсуждают её внешность, броскую, яркую; её поведение, отличавшееся мужскими, порой жестокими повадками; и её творческое, в основном журналистское, наследие, о котором говорят, что это новая ступень в литературе. Её обвиняли в акмеизме, в излишней цветистости художественного стиля, в чрезвычайной предметности и чёткости образов. Обвиняли вчерашние символисты да влюблённые в символизм люди, привыкшие к изящной недосказанности и изысканной туманности в текстах. Хотя на самом деле, как это видится сегодня, публицистическая проза Ларисы Рейснер – не что иное, как ступень к реализму. И даже сам реализм, только, может быть, не обострённый в социальном плане.

Пылкость Ларисиной публицистики свидетельствует о большом художественном таланте, выраженном в умении видеть значительное в незначительном и замечать говорящие мелочи. Кроме того, Лариса обладала прекрасным чувством языка, безупречно владела ритмом в прозе и так умела выделять главное в своих текстах, что читателю бывало трудно оторваться от них. Она не кривила душой, когда писала о рабочих, о нищих, о меньшевиках, о большевиках и о многом другом, на что обращался её заинтересованный взгляд. Взгляд неравнодушного человека.

Откуда же явилась миру эта восхитительная дива, сумевшая в своё время очаровать таких ярких представителей литературы и политиков, как Николай Гумилёв и Лев Троцкий, Фёдор Раскольников и Карл Радек, и ставшая прообразом женщины-комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского? Писатель видел команду корабля, которую своими речами вдохновляла Рейснер. Его тогда поразило, что Лариса и на корабле оставалась женщиной с присущей ей шармом. Борис Пастернак, считавший её «воплощенным обаянием», назвал в память о Рейснер главную героиню своего романа «Доктор Живого» Ларой, Ларисой... Кто же она? Откуда и когда вошла в революцию и о чём писала в своих очерках, о которых позже стали говорить, что это новое слово в журналистике?

Родилась Лариса 1 мая 1895 года в семье профессора права Михаила Андреевича Рейснера в Польше (Люблин). Мать, Екатерина Александровна Хитрово, была из старинного, знатного дворянского рода. С детства прививала дочери чувство исключительности. Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, вспоминал: «Гордость шла Рейснерам, как мушкетерам Александра Дюма плащ и шпага». Раннее детство Ларисы пришлось на город Томск, где Михаил Андреевич преподавал

в университете. В Томске родился младший брат Ларисы – Игорь, впоследствии ставший известным востоковедом.

После Томска семья недолго жила в Германии, во Франции. Профессор Рейснер имел демократические взгляды. В его доме собирались русские, французские и немецкие социал-демократы. Даже Ленин, будущий вождь революции, состоял с ним в переписке. В 1906 году осели в Петербурге. Здесь Лариса окончила женскую гимназию и поступила в Психоневрологический институт – в 1912 году. Училась и одновременно слушала лекции по истории политических учений.

С детства привыкшая к разговорам о социал-демократии, впитавшая в себя дух грядущей революции, о которой в семье говорилось открыто и громко, Лариса к семнадцати годам была политически образованна и красива внешне. Вадим Андреев писал:

Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам... Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту, как факел... Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий... смотрел вслед.

В 1914–1915 годах Лариса и её отец выпускали журнал «Рудин». Налёт революционности и декаденства лежал на его страницах. Журнал был призван «клеить бичом сатиры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось». Лариса под разными псевдонимами писала стихи, статьи и очерки. Проявила недюжинные организаторские способности: искала средства, вела переговоры с типографией, искала и закупала бумагу. Александр Блок назвал журнал «грязным, но острым». Через полтора года «Рудин» был запрещён цензурой. Однако Лариса уже успела заявить о себе в литературных кругах. И не только своими текстами. В фантастических декадентских нарядах, с синей помадой на губах, она привлекала внимание окружающих – запоминалась надолго.

Осенью 1916 года познакомилась с поэтом Николаем Гумилёвым. Случился роман, закончившийся тем, что поэт бросил Ларису, нанеся ей душевную рану, печать которой Лариса ощущала всю жизнь. Революцию семья Рейснеров встретила восторженно. Сразу после переворота Лариса работала под руководством наркома просвещения Луначарского: отвечала за охрану сокровищ Зимнего дворца и была корреспондентом газеты «Известия». В ноябре 1917 года повстречала Фёдора Раскольниковца, одного из виднейших деятелей большевистской партии. Вспыхнула страсть. Они поженились. В 1918 году Раскольниковца отправили на Восточный фронт, с ним поехала и Лариса. Там познакомилась со Львом Троцким, позже писавшем о Ларисе: «Внешность олимпийской богини, ее иронический ум сочетался с мужеством воина». Она очаровывала всех, с кем заводила знакомство!

В 1918 году Рейснер вступила в ВКП(б) и была назначена на пост комиссара Генерального штаба ВМФ страны. Сражалась наравне с моряками. В России бушевала Гражданская война. В середине 1920 года супруги, Лариса и Фёдор, из Москвы переехали в Петроград. Раскольников стал командующим Балтфлотом, а Лариса – комиссаром. На Балтийском море шли сражения с британскими кораблями, присланными на подмогу белогвардейцам. В 1920 году по приказу Льва Троцкого Лариса заняла руководящую должность в Политуправлении Балтийского флота. Дерзкая, вызывающе красивая, Рейснер надела на себя сшитую

по фигуре солдатскую шинель и стала командовать сотнями матросов, но от роскоши отказываться не собиралась.

Ещё в Москве она взяла за привычку ни в чём себе не отказывать. Надежда Яковлевна Мандельштам, жена поэта, писала:

О. М. рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно – особняк, слуги, великолепно сервированный стол... Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность – созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достаётся людям, стоящим у власти. Лариса опередила свое время и с самого начала научилась бороться с еще не отмененной уравниловкой.

В 1921 году Лариса Рейснер отправилась в Афганистан: её мужа, Фёдора Раскольникова, назначили полпредом РСФСР в Кабуле. Пробыла она там недолго, уехала, объявив супругу, что бросает его. Вскоре познакомилась с известным революционером, видным деятелем Коминтерна Карлом Радеком, человеком заурядной внешности, но чрезвычайно образованным, знавшим несколько языков, искусство и литературу. Остроумный, циничный, он был автором множества политических анекдотов. Вместе они уехали в 1923 году в Германию помогать германской революции и освещать её в прессе. Революция провалилась. После поездки в Гамбург Рейснер рассталась с Радеком и уехала в Донбасс. Затем почти весь 1924 год ездила по России, посещала заводы, шахты. Вернувшись из одной командировки, ехала в другую.

В 1925 году выходит очередная книга Рейснер «Портреты декабристов». Лариса работает разъездным корреспондентом «Известий» и полна творческих планов: собирается в длительную командировку в Париж. Но в феврале 1926 года случился тот злополучный стакан молока, после которого Ларисы Рейснер не стало.

Смотрю на портрет, где Лариса в капоре и с муфтой, и думаю, чем она заслужила наше внимание к ней? Столько лет прошло... И сама же даю ответ: природной красотой, дерзкой экстравагантностью. И тем, что оставила литературное наследие, у которого не грех поучиться. Да, именно поучиться, ибо в наше время, ещё только ищущее общенациональную идею, так мало крепкой публицистики, которая бы очертила путь, по которому движется страна.

В том же, о чём писала Лариса, был виден путь страны. Речь с моей стороны не о социализме, который оказался слишком слаб, чтобы не допустить развала страны. Речь о взгляде писателя-публициста, кем являлась Лариса, на современность. На её умение запечатлеть эту современность на бумаге. Да, в её текстах нет суровости, нет агрессивности, казалось бы, присущих революции, но есть ум, глубина и изящество.

Лариса Рейснер начала писать в девятнадцать лет, когда вместе с отцом выпускала журнал «Рудин». Начала с публицистики, ставшей для неё любимым жанром. Удивляет, что в столь молодом возрасте она прекрасно ориентировалась в политической обстановке, в литературных течениях и отваживалась писать о Шекспире, Гумилёве, Блоке, Северяnine, Маяковском. Отлично разбиралась в символизме и акмеизме. Её слог, ровный и меткий, словно стрела, видящая цель, отлично гармонировал с содержанием. Так, в статье «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому» Рейснер в сдержанном тоне даёт потрясающую характеристику трём поэтам, столь же разным по стилю, как и по характеру.

Начиная с Блока, Лариса замечает, с первых же строк ухватывая суть его поэзии:

Александр Блок... Всегда большой и незабываемый, даже в пошлых образах, даже в поблекшей теме, он бесшумно переступил черту временного и ничтожного. Его влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, тончайшей математической формулы. Из сумерек социального упадка он вынес цветок мистической поэзии, бледный, но благоухающий, и в этом его величайшая заслуга. Но подражать Ал. Блоку, его полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянной в сером, холодном небе, – невозможно и бесполезно. Как всякое завершение – Блок неповторим.

Далее следует такая же конкретная, на грани жёсткости, характеристика Северянина и Маяковского, отражающая индивидуальное восприятие Ларисой этих поэтов. Игоря Северянина она называет «талантливым лейб-революционером современного искусства». О Маяковском пишет, что «Камень, железо и асфальт гнутся и стонут в стихах Маяковского. Через толщу тротуаров, из-под каменных гор приходит его гнев, его месть, его жажда освобождения».

Лариса пробовала себя в стихах – в ранней молодости. Сонет, посвящённый Рудину, тургеневскому герою-революционеру, открывал первый номер журнала «Рудин»: «Всегда один, смешон и безрассуден, на баррикадах умер Рудин». Однако стихи ей не давались: в них преобладала манерность... Зинаида Гиппиус, услышав, как она читает стихи, припечатала: «С претензиями; слабо». Но и в поэзии у Ларисы случались строки, обворожительно-возвышенные, говорящие о тяге Рейснер к лиричности и зовущие к природе. Стихотворение «Дождь после засухи» (1916) полно очарования и метафор:

И вслед водоносной разорванной туче
Понес утоленных лесов славословье
Туда, где рождается ливень певучий,
Где солнце находит свое изголовье...

Оставив стихи пылкой юности, Рейснер сосредоточилась на прозе, где её критический взгляд нашёл благодатное поле для самовыражения. Будучи активной участницей Гражданской войны, в реальности познакомившись с Германией, Донбассом, Лариса Рейснер запечатлела свой опыт в книгах очерков: «Фронт», «Афганистан», «Гамбург на баррикадах», «Уголь, железо и живые люди», «Берлин в октябре 1923 года», «В стране Гиндербурга» и в других отдельных публикациях.

Её публицистика – на грани с художественным рассказом. В 1918 году она отправилась в захваченную белогвардейцами Казань, о чём позже написала в очерке «Казань». Хотела узнать о судьбе красногвардейцев, не успевших покинуть город. В действительности же – найти мужа, о котором пришла телеграмма, что Раскольников взят в плен. «Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую (штаб белых на ул. Грузинской); от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей», – писала Рейснер. Вскоре она была арестована белыми, но самым чудесным образом смогла сбежать.

Очерк весьма динамичен и богат событиями. Описание отступления в числе других беженцев в Свияжск и затем резкого поворота на Казань даются в контексте времени и места. Перед нами Россия периода Гражданской войны: разбитые, размытые ливнем дороги и бед-

ный растрёпанный люд, убегающий от опасности. Рисуя неприглядную картину города и деревенской жизни, Рейснер то и дело отвлекается на пейзаж, который существует не сам по себе, а в тесной связи с творящейся историей:

Летний дождик превратился в ливень, поля почернели и стали нескончаемо тяжелыми. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой. Орудийный гром притих, и в грозовом небе бесшумно запылали зарева пожаров и далекие зарницы. Вороны скучной стаей потянулись в предместья.

Лиричность стиля Рейснер, цепкость взгляда и объективность повествования особенно проявились в книге «Афганистан». Очерк «Туркестан» начинается словами, невообразимо тонко передающими ощущение страны:

Между совершенно плоским небом и плоской землей – дым, уходящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы нетающего снега и замурованная тишина на протяжении сотен верст. Дороги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей; пустыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.

Наряду с этим – грозное описание жизни военных (очерк «Плац-парад»):

Армия воспитывается в жесточайшем религиозном фанатизме. За нарушение поста, за глоток воды и корку хлеба, проглоченную солдатом после томительного учения под тропическим солнцем, его подвергают позорному публичному наказанию. Виновный должен проехать через весь город верхом на осле, лицом к хвосту, причем народ и конвоиры подвергают его побоям, плюют в лицо, поносят самыми отборными ругательствами. Во время 30-дневного поста солдаты и вообще трудовое население пьяно от голода, жажды и жары.

Гляжу на фотографию Ларисы Рейснер... и вижу чайку, широко и смело парящую в революционных вихрях. Иногда ныряющую в самую пучину истории и подбитую на самом взлёте...

Дмитрий АНИКИН

Родился в 1972 году в Москве. По образованию математик. Предприниматель. Член Союза писателей XXI века.

Публиковался в журналах и альманахах «Нижний Новгород», «7 искусств», «Новая Литература», «Перископ-Волга», «Арина», «Поэтоград» и других изданиях и сетевых ресурсах. Автор книг «Повести в стихах», «Сказки с другой стороны», «Нечетные сказки».

Лауреат конкурса «Золотое перо Руси». Шорт-лист конкурсов MyPrize, «Мыслящий тростник».

Живет в Москве.

ПЯСТ. КОШМАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Тот, кому стать бы эпигоном модернизма, оказался по времени если не в первом, то в первых рядах. Не диво, что ему было так неуютно.

Пяст* был потомком польских королей. Во всяком случае, он так думал. Ему очень шло быть нищим королевских кровей.

«Водянисто-белое, неподвижное лицо. Голова откинута назад, глаза полузакрыты», – писал о внешности Пяста Георгий Иванов.

А ещё всем запомнились клетчатые, какого-то диковинного диккенсовского покроя брючки.

Во многих воспоминаниях о Пясте совершенно, как будто её и не было, обходится вниманием поэзия. Получается персонаж Серебряного века, участник событий и скандалов, друг Блока. Поэт? Нет, не слышали.

А Пяст писал свои безупречные стихи. Слишком безупречные для того, чтобы быть живыми.

От чтения стихов Пяста возникает ноющее, тревожное ощущение: вроде и чувствуется, что была рядом поэзия, но воплотиться в слова не смогла, только бросила на них сомнительную тень.

Пяст был обследованным, «дипломированным» сумасшедшим со склонностью к самоубийству.

Душевная болезнь была не к смерти – наоборот, она спасла своего владельца от фронтов Первой Мировой. Пяст называл свой недуг «нервной инфлюэнцей».

После всех попыток самоубийства умер он от рака лёгких.

Сюда нередко вхож и част
Пястцкий, или просто Пяст.
В его убогую суму
Бессмертье кинем и ему.

* Пяст (псевдоним; настоящая фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик, литературный критик, теоретик стихосложения.

Так написал другой классический сумасшедший Серебряного века – Хлебников.

Вот только Хлебников смог приспособить своё сумасшествие к делу.

А Пяст... Что Пяст? Действительно расщедрились, накидали ему бессмертья: не поднять убогую суму, Святогорову котомку. Такая эпоха – Серебряный век: все, кто хоть краешком зацепил, нам дороги. А Пяст по центру гулял.

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!

Это стихотворение Блок посвятил Пясту.

Место в истории русской поэзии досталось Пясту за дружбу с Блоком. Это не совсем справедливо. Совсем уж несправедливы были разговоры о том, что Блок окружает себя ничтожествами.

Блок окружал себя не ничтожествами, Блок окружал себя героями Достоевского. Вся эта гоп-компания – Евгений Иванов, Зоргенфрей, Пяст – они шатались вслед за Блоком по грязным питерским кабакам, танцевали с проститутками последнего разбора, пили, пили, пили.

И казалось, создается из дымного небытия этакий коллективный Фердыщенко. Вот сейчас откроет наглые, навывкате, глаза, окинет компанию насмешливым взором и начнёт рассказывать по правилам рокового пети жё такие похабные истории, которые только и годятся что для поэзии. О доблестях, о подвигах, о славе...

Пяст ввёл в русскую поэзию форму ноны: итальянское девятистишие, достаточно редкое, чтобы заинтересовать одинокого оригинала, и достаточно ненужное, чтобы не заинтересовать более никого.

И уж ввёл так ввёл, целую «Поэму в ногах» написал.

Рассказ мой в трёх словах изобразить легко:
Младенцем я был хил, болезненно способен;
Мечтами юности ширял я далеко,
И был как Донкихот беспечен и беззлобен.
Натура нервная, я принял глубоко
Всё, чем в России год усобиц был утробен
(Год Витте, Дурново, Иванова и Ко);
В чужих краях меня загрызла до психоза
Тоска по родине. – Всё «умственно» и проза.

Действительно, всё умственно и проза. Неплохо и даже не без проблемов чего-то настоящего.

Кто только ни жил в доме Мурузи – была там своя квартирка и у Пяста. Жил у подножия Башни.

Было что-то связывающее, рифмующее Пяста и Мандельштама. Связь была не братьев, но двоюродных братьев, а рифма консонансная, то есть совпадало всё, кроме главного, кроме ударных гласных.

Над Мандельштамом смеялись все. Над Пястом – все, кроме него самого. В смехе над Мандельштамом то тут, то там прорывались преклонение и любовь. В смехе над Пястом не было никакого второго дна, только желание потешаться. Мандельштам иногда обижался на шутки, но попробуйте по-настоящему обидеть гения... Обидеть Пяста было легко.

Много чего у Мандельштама и Пяста было общего – в том числе, любовь к сладкому.

«Кошмарный человек читает “Улялюм”», – писал о Пясте Мандельштам. Пяст не был просто чтецом стихов Эдгара По. Тут можно говорить о чём-то большем. О реинкарнации? Они ведь даже внешне были похожи. А если бы Пяст больше пил, то сходство стало бы совершенным.

Впрочем, современники, которые знали внешность Пяста не по фотографиям, считали, что он похож на Данте.

Георгий Иванов вспоминал, как Пяст читал свои стихи об Эдгаре По:

Начало аудитория слушала молча. Потом, при имени По, начинали посмеиваться. Когда доходило до строфы, которую запомнил и я:

И порчею чуть тронутые зубы –
Но порча их сладка –
И незакрывающиеся губы –
Верхняя коротка –
И сам Эдгар...

– весь зал хохотал. Закинув голову, не обращая ни на что внимания, Пяст дочитывал стихотворение, повышая и повышая голос – до какого-то ритмического вопля.

Ежегодно 6 октября, в день гибели Эдгара По, Пяст поминутно восстанавливал смертный путь поэта, каждый раз надеясь, что уж теперь-то получится его защитить, спасти, заслонить от ножа убийцы своим эфирным – или как там у мистиков называется – телом.

На кресло у огня уселся гость устало,
И пёс у ног его разлёгся на ковёр.
Гость вежливо сказал: «Ужель ещё вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, сёр».

А эти блоковские стихи с эпитафией из Эдгара По разве не были вдохновлены Пястом? И кто, как ни Пяст, заслуживал такого невозможного в русском языке слова – «сёр»!

Мистика Серебряного века была карикатурной. Пяст был идеальной карикатурой на карикатуру, так что даже жутко становилось.

Теоретизирования Пяста о природе стиха казались смешными профессиональным филологам, но это не мешало его упорной работе.

Пяст оставил воспоминания. Интересные факты об интересных людях. Читаешь и не понимаешь, почему же так скучно. Только раз позволил себе Пяст оригинальность, когда вспомнил «упойительно-умные зубы» Андрея Белого. Написав это, он тут же раскаялся и поспешил извиниться, признав фразу глупостью.

Пяст писал, что как-то, разоткровенничавшись, Ремизов сказал ему: «Сплетня очень нехорошая вещь – вообще, в жизни, в обществе; но литература только и живёт что сплетнями, от сплетен и благодаря сплетням». Не послушал Пяст совета. Вон старый знакомец его, Георгий Иванов, – сплетничал, как саратовская кумушка, завирался, как депутат Государственной думы, а досплетничался, доврлся в конце концов до самой последней правды об эпохе и её насельниках.

Была любопытный случай на Башне у Вячеслава Иванова. Жандармы ворвались на одну из знаменитых сред, обыскали всех участников –

с выворачиванием карманов и прочими прелестями защиты государственного строя; забрали мать Волошина (не за политику, а потому, что она была в брюках) и ретировались.

Когда участники собрания, вдоволь обсудив случившееся, стали расходиться, выяснилось, что у Мережковского пропала шапка. Хорошая, дорогая, недавно купленная.

Дмитрий Сергеевич, лишившись головного убора, получил превосходный повод для публицистики, и на следующий день в газете появилась статья, где, обращаясь к премьер-министру Витте и делая далеко идущие политические выводы, Мережковский требовал вернуть шапку.

Ничем бы эта история не была примечательна, если бы через несколько дней не нашли завалившуюся за шкаф шапку.

Такой вот – в добром, старинном значении слова – анекдот.

Пяст был одним из многих, кто не упустил возможность описать историю с шапкой.

На протяжении нескольких страниц убористым шрифтом длится обыск. Читаешь – и уже хочется понукать нерадивых жандармов, а они только вошли во вкус. Копошатся, как сам автор очерка. Наконец-то жандармы уходят. Уфф! – насилу-то выпроводили из квартиры и из текста.

Мережковский пишет журнальную статью.

А вот всю соль истории – найденную шапку – Пяст забывает.

Пяст обильно и успешно переводил. Казалось бы, при его вкусах он должен был оставить множество переводов из «безумного Эдгара», – но нет, Пяст считался специалистом прежде всего по испанской литературе. Многие пьесы Тирсо де Молина до сих пор публикуются в его переводе.

Профессиональный чтец, Пяст создал целую школу декламации. Он негодовал на современную ему артистическую манеру чтения:

С нарочито-подчеркнутою невыразительностью, с одной стороны, и с тем самым виртуозно-скороговорчатым проглатыванием рифм, стиха и строфы, которое составляло тогдашнюю гордость некоторых актёров.

Пяст учил читать стихи как стихи, а не как испорченную прозу.

Будучи поэтом, Пяст понимал, что «музыка музыки» и «музыка поэзии» – «враги-близнецы». Он учил передавать чтением собственную музыку стиха, а не привносить музыкальную отсебятину.

В самом деле, есть ли худшее издевательство над поэзией, чем романсы Чайковского? Вся пушкинская ритмика намерено изничтожена, никакого акцента на рифмах не делается. Пушкинские слова остались, а о пушкинской поэзии и помина нет.

О декламациях Пяста сохранились противоречивые отклики. Брюсов признавался, что до пястовского прочтения сам не понимал, что заключено в его собственных стихах. А вот Георгий Иванов утверждал, что Пяст читал из рук вон плохо, постоянно и самозабвенно задыхаясь.

Во время Первой мировой человек культуры, завзятый западник, Пяст обратился в воинствующего патриота. Надо быть Пястом, чтобы даже в этой роли остаться смешным чудачком.

Поэма «Двенадцать» прекратила дружбу Пяста с Блоком. Непонятно, что Пяста больше возмутило: то, что он посчитал оправданием большевизма или формальная расхлябанность поэмы?

Свой досуг и каждый свободный клочок земли
По-прежнему всякий старается заполнить семечками,
Поклявшись не оставить незаплёванным ни клочка своей родины...

Так писал Пяст о блоковских героях.

Это был обычный спор правды с гениальностью, где у правды никаких шансов нет, но в конце концов оглядываешься и видишь: всё заплёвано так, что ступить некуда. «Слопала-таки... как чушка своего поросёнка», — незадолго до своей смерти говорит Блок о России, о правде, о поэзии, а верней всего, обо всём сразу. Не до тонких разделений, когда жрут. Может, и вспоминал о Пясте перед смертью.

Пяст был человеком чести. Когда даже в эмиграции пошла диффузия ценностей и иной человек с принципами и совестью начинал поглядывать на большевиков без прежней ненависти и задумываться о смене вех, Пяст сохранял лютую непримиримость.

С другой стороны, каждодневно видя большевиков, легче не соблазниться о них.

Кем ещё был Пяст? Прообразом некоторых персонажей блоковской драматургии? Придал некоторые смешные черты, помимо автобиографических, Парноку из «Египетской марки»? В общем, как-то растворился в воздухе русской литературы.

Пяст был в 1930 году арестован. По 58-й статье. Остаётся только порадоваться, что невиновный человек отделался ссылкой. В 1932-м пошли слухи, что Пяст покончил с собой. Появились некрологи в эмигрантских газетах. Но ссылку Пяст пережил, стараниями друзей был в 1936-м возвращён в Москву, в 1937-м его не тронули, чтобы в 1940-м он наконец-то умер и лёг на Новодевичьем кладбище.

Михаил Леонович Гаспаров считал, что литературные направления стоит изучать на примере второстепенных писателей, первостепенные слишком много своего собственного привносят.

Эпоха тоже яснее всего видна в судьбах людей дюжинных. Пяст — прямо-таки пособие по истории Серебряного века: человек, который был рядом со всеми, но сам так и остался никем.

«В иных веках, в иной отчизне, как нежно славим был бы я», — писал Сологуб. А вот с Пястом всё наоборот. Только в Серебряном веке такой человек мог оставить след, хоть как-то состояться.

Среди множества жертв эпохи оказался один бенефициар.

Литпроцесс

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Родилась в Красноярске. Окончила Горьковский государственный пединститут (историко-филологический факультет, выпуск 1980 года). Работала в СМИ – корректор, корреспондент и обозреватель в газетах «Саров», «Саровская пустынь», «Городской курьер», «Новый город» и «Вести города», редактор информационного «Центра развития Саровского инновационного кластера».

Лауреат ряда всероссийских журналистских конкурсов, дипломант межрегионального литературного конкурса «За далью – даль» и международного литературного конкурса «Русский Гофман».

Живет в Сарове.

ОХ КАК НЕПРОСТ ПРОСТОЙ МУЖИК ОПАРИН!

О рассказе Елены Крюковой «Последний конь»

«Последний конь» – этим рассказом Елены Крюковой открывается 6-й номер журнала «Нижний Новгород» за 2024 год. Елена Крюкова – прозаик, поэт, эссеист. У автора немало публикаций в российских и иностранных толстых литературных журналах – в том числе в «Нижнем Новгороде» и «Неве», победы на российских и зарубежных литературных конкурсах. Е. Крюкова – автор необычных, остросюжетных ситуаций, она обращается к жизненным впечатлениям и профессиональному опыту, к чистому вымыслу и историческим фактам. Крюкова-прозаик – автор многоплановый: мастерски пишет и романы со сложной композицией, мозаичные, мощно, симфонично звучащие, и короткие рассказы. Пример тому – «Последний конь».

...Что такое хороший рассказ? Это история и язык. Правда, иногда в рассказах важнее, *как* ты рассказываешь, чем *о чём* ты рассказываешь. Лет семь читаю работы участников международного литературного конкурса «Русский Гофман» и нередко сталкиваюсь с таким: и историю-то незаурядную, яркую претендент направляет на рассмотрение жюри, но... написана она таким суконным языком, что диву даёшься – своими руками губят рассказ.

«Последний конь» Елены Крюковой языком впечатляет! Сочно, разнообразно, зримо.

Рядом с миской мёда стоит фарфоровая чашка, в ней – холодные блины, это Ирина утром пекла. Ещё стоит тарелка, и в ней размазана сметана. Надо сворачивать блин трубочкой, обмакивать в сметану и наяривать. Вкусные блины у Ирины Петровны.

Или:

Хм! Плотником, говоришь? – Юра задумывается. – Поп наш, отец Виктор, нам этого не говорил. А только невнятицу бормотал да кадилом вонючим кадил. Охмурил!

Что у иного автора выглядело бы пошлостью, у Е. Крюковой, именно благодаря её умению обращаться со словом, вовсе не грубо, не грязно и не постыдно – и неприличные частушки с прозрачайшими эвфемизмами, и голые задницы в кустах у церкви:

– Гармонист, гармонист, шишка фиолетова!.. Ледянова не люблю, а люблю нагретова... Эта девка ничаво, и вот эта – ничаво, а вот эту я заметил – она дышит чижало... Э-э-эх-х-х-х!..

Он-то, живой муж, сам хрен не промах! Сам с кралюшкой очередной за углом да под кустом, то на Ястребином бугре, то на Венце, у церкви, и не стыдно сношаться-то, голожопым, у храма Божьего в кустах... охальники!

Завязка рассказа: чаепитие главного героя – простого мужика и интеллигентной дамы. Елене Крюковой нескольких штрихов достаточно, чтобы читатель увидел живую картинку и много понял о героях. Простой мужик Юрий Опарин ох как непрост! Не впрямую, не в лоб автор показывает разницу в социальном статусе персонажей: «Я отпиваю чай из маленькой, кокетливо-городской – странной в деревне – чашечки», непонятно как затесавшейся в этот дом, и «Фарфоровая чашка чуть позванивает, вибрируя, от обертонов (вот она, интеллигентная дама! – Т. К.) его звонкого, пробивающего старость насквозь, вечно молодого тенорка». Автор не растекается описаниями; показатель её мастерства – тонкие непрямые характеристики, крупные мазки. Ничего лишнего. Сочно.

Беседа героев рассказа – не абы о чём, о Боге!..

– Вернёмся ко Христу. – ...Волнуюсь очень. Ну как ему сказать, доказать, показать, что Бог – есть? – Он жил среди людей. О Нём историки Его времени упоминали. Сохранились письма древние... документы. Книжки всякие! Но не в них дело! – Я тороплюсь . Я говорю что-то не то. ...

– Ты медку-то поешь, поешь, – насмешливо и тепло улыбаясь, пододвигает ко мне миску с мёдом Юра . – Я тебя слушаю внимательно.

Катехизатор из героини рассказа так себе, воодушевление и энтузиазм её ожидаемо пропадают втуне. И над этим Е. Крюкова невесело посмеивается.

(Для раздумий есть причина: христианизация поволжских малых народов – не слишком давний процесс, всего-то лет четыреста-пятьсот, и идёт с весьма условным успехом. Да что там столетия подсчитывать! Давний знакомый нашей семьи иеромонах Афанасий лет двадцать назад окормлял жителей соседних с Саровом мордовских деревень. Не допуская эмоций, он рассказывал, как до отпевания приходилось убирать из изголовья домовины у усопших мужчин топоры – это отголоски языческих верований.)

Но далее:

Он не верил в Бога . Никогда не верил в Бога . Почему ж теперь он видел это – и тусклый, тёмно-золотой огонь свечи в сумеречной избе, и закопчённые чернью кровавых веков, как копчёные сурские сомы, иконы...

И нас вовсе не смущает, что «богословская» беседа героев органично заканчивается пением непристойных частушек, а автор в завершение

ненавязчиво подводит к вечному: «Я спрашивала Юру, как по-чувашски будет: хлеб, вода, земля, свет, жизнь. Только как будет смерть – не спросила».

Не спросила...

А что же история? История читается легко, если правильно выстроена. Здесь – классический вариант построения текста. «Последний конь» и история-рассказ, и история-процесс: история человека, рода, страны и жизни вообще, а в дополнение – взаимодействие государства и человека.

И так эту церковь-развалюху Юрий Иванович и фотографировал: с покорёженным крестом, без купола, со стенами, будто бы бомбили её с воздуха. Кино и немцы, седьмая серия! Да ведь это всё свои делали, свои... русские... никакие не фашисты, а свои...

– Русские?.. Не-е-ет, роднулька, народ делится всегда так: на своих и несвоих! На народ – и власть! И так было, есть и будет всегда.

Русские или не русские церковь разрушили – не тот вопрос; вопрос – свои или не свои! И это, кстати, основной вопрос внутрироссийского нынешнего общежития.

Ещё жёстче взаимодействие народа и власти выписано во фрагменте с поджогом дома «мизгирьской царицы» Царапкиной:

Кто-то – на Юру Опарина – пальцем показал.

Показать – дело быстрое и нехитрое. Но тот узловатый палец Царапкина издалека увидала.

Взяли Юру быстро.

Судили.

И – в тюрьму посадили.

При советской-то, нашей, молодецкой, доброй такой власти! Справедливой!

А он на суде и не отрицал ничего.

– Я это, знаешь, Ирине тогда шепнул только: бесполезно отпираться, Царапкина всех судей купила, прокурора купила, всё равно засудят. Ей надо, чтобы виновный был.

А итог отношений «народ – власть» в рассказе «Последний конь» подводит Юрина частушка: «Я работала в колхозе, заработала пятак! Пятаком я зад прикрыла, а перёд остался так! – И-и-и-и-их!»

Каждый из фрагментов – история человека, рода, страны и жизни вообще – могло бы вырасти в отдельное литературное произведение. Но Елена Крюкова спрессовала всё в одну историю, дополненную яркими этнографическими деталями и символизмом образов. «Последний конь» – замечательный образчик классической русской прозы.

Михаил СТРИГИН

Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук, автор ряда научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством. Директор инженеринговой компании «Митриал».

Автор поэтических сборников. Учредитель ряда литературных проектов, в том числе детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется». Член жюри Южно-Уральской литературной премии.

Живет в Челябинске.

ОТЦЫ И ДЕТИ. РЕАЛЬНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Анна Теплицкая. Роман «Все их деньги». Изд. «Альтер Эго Бук», 2024

Когда я приобрёл роман Анны Теплицкой, то, как это ни банально, повёлся на одёжку. Под одёжкой я понимаю ряд отзывов достаточно авторитетных представителей культуры, размещённых на обложке. Как утверждается в этих текстах, роман «Все их деньги» посвящён бизнесменам, начавшим свой путь в «лихие девяностые». И это подкупило, поскольку я сам начинал свой бизнес в то закрученное событиями время. Интерес был усилен тем, что у меня, уже как у писателя, теплится собственная идея создания романа, только о среднем бизнесе, который формирует базовый класс российского общества. Как известно, именно средний класс определяет основу существования социума, и болезни этого класса являются индикатором состояния страны. Поэтому мне был интересен взгляд Анны Теплицкой как филолога и дочери известного российского олигарха на российский бизнес, так сказать, изнутри его. Пусть это и верхний мир – мир олигархов, когда «стодолларовая купюра, оставленная на чай при счёте на тысячу рублей» выглядит вполне естественно.

До этого все столкновения с подобными произведениями в современной литературе оставляли скорее печальный след в моей психике. Как мне казалось, писатели смакуют описываемые беспутства, творимые бизнесменами. Российская страсть подсматривать в замочную скважину известна давно. Не зря в своё время появился анекдот про посетителя публичного дома, рассматривающего прейскурант: базовый акт – сто долларов, наблюдение за базовым актом – двести долларов, наблюдение за наблюдающим базовый акт – триста долларов. Проживание авторами страстей собственных героев, по всей видимости, позволяет им компенсировать невозможность испытать эти чувства наяву. Подобных произведений, описывающих российский бизнес, достаточно много, но везде герои имеют скорее пародийный, басенный окрас.

Поэтому для меня было удивительным, когда в романе Анны я увидел в точности то же описание главных героев, как и у «писателей, не родившихся в семье олигархов». Я испытал некоторую психологическую фрустрацию, поскольку я понимаю, что количество «хороших» и «плохих» персонажей среди бизнесменов ровно такое же, как и среди сантехников, программистов или учёных. Чтобы не быть голословным, могу привести пример Льва Ландау, выдающегося физика, нобелевского лауреата, явно положительного героя, приводившего любовниц прямо к себе домой, в присутствии жены. При этом никому в голову не придёт делать эту линию главной в жизни Ландау. Правда, даже эта отсылка имеет более сложную конструкцию, чем мы видим у Анны. Например, процедура занятия «спортом» в тренажёрном зале у одного из шести героев книги, Михеича, заканчивается «соблазнением» посетительницы. Соблазнение взято в кавычки, поскольку от процесса соблазнения здесь было только взятие девушки в сауне за волосы: «переворачиваю её к себе спиной и долблю суку со всей силы, пока у неё слезы не выступают. Её голова болтается как у куклы». Соппротивление жертвы практически отсутствует. И в следующем абзаце из всех переживаний Михеича от только что пережитого «тайнства жизни» мы видим: «Иду в душ и долго стою под ним, включив холодную воду на полную мощность, это для пользы сердечнососудистой системы».

И меня «холодным душем окатывает» вопрос: кто же тогда может описать жизнь бизнесмена во всей его сложности и противоречивости? У героев романа «Все их деньги» все желания очень прямолинейны: или что-то отжать, или кого-то «отжать». О таких сложных понятиях, как любовь, забота, умение прощать, в романе, наверное, нет ничего.

После такого эпизода в спортзале практически отпадает вопрос: почему вся современная молодёжь матерится, не ощущая никакого дискомфорта в подобной иссушающей вербальности. Исторически мат имел не столько негативный оттенок, сколько эмоциональный. Он использовался для энергетического усиления некоторой мысли. Любые границы, как известно, обеспечивают некоторый перепад напряжения, и они же обеспечивают мощность потока, если эти границы нарушаются. Но поскольку всей эмоцией от пережитого является охлаждение под душем для улучшения сердечно-сосудистой системы, то и мат становится обыденностью, не осуществляющей свою главную функцию. Язык становится «сухим». Без границ общество становится аморфным и однородным, с некоторой средней «температурой по палате».

Описанный в романе эпизод с Михеичем на самом деле крайне мелок по сравнению с калигуловским размахом другого героя романа — Классика. Он организовал целый секс-поезд, отправляющийся от тайной московской железнодорожной станции и курсирующий по столице, где пассажиры развлекаются различными, но достаточно банальными способами, которые не тянут даже на оргии: «наблюдавший мужчина требовательно обхватывает своего спутника за бедра и опускается на колени. За окном мелькает Москва». Я представил следующий уровень такого поезда, когда мимо мелькают Марс, Юпитер, Сатурн... Но всё так же кто-то встаёт на колени.

Неплохая находка автора дать историю развития девелоперской империи через дневник одного из шести её учредителей — Бёрна, который описывал историю становления компании в девяностых, в основном опять же нелицеприятную и большей частью криминальную. Хотя я практически уверен, что помимо силовых методов в реальной жизни

применялись и гибкие «карточные» способы для борьбы с конкурентами и завоевания потребителя. По ходу романа Анна погружается достаточно глубоко в два процесса: игры в покер и создания биткоинов. И то и другое, по-видимому, являются любимыми делами отца автора и его друзей. Подробностям и того и другого уделено по меньшей мере несколько страниц, где описаны подробные инструкции по игре в покер и способы сохранить и приумножить биткоины. Ощущения от прочтения такие, будто ты зашёл на сайт какого-то банка и углубился в финансовые инструкции. Возможно, это одна из фишек уже будущих творений, например, искусственного интеллекта, когда он заменит писателей.

И вряд ли бы я сел писать рецензию на роман, в котором есть только одни пошлости и отсутствует сверхзадача. (Как учили нас классики от литературы, в любом произведении, претендующем на своё место на полке в книжном шкафу, должна быть сверхзадача, решение которой помогает читателю перейти в новое качественное состояние.) И интуитивное желание дочитать роман «Все их деньги» до конца выдавало присутствие в нём некоторого ожидания чего-то большего.

У романа «Все их деньги», как у приличной медали, оказалась и светлая сторона. Во-первых, нужно отдать ему должное, здесь много говорится о дружбе, не менее сложном понятии, чем, например, умение прощать. Описана практически невероятная история сорокалетнего совместного управления крупнейшей в России девелоперской компанией шестью её учредителями. Правда, тут же были вскрыты базовые причины такой возможности: управление уже давно передано в руки Президента, а остальные, по сути, почивают на лаврах уже много лет. Хотя на начальном этапе не обошлось и без синергии, когда каждый из шестерых занял свой лепесток в этом бутоне, управляющем целым садом. Кто-то из них был творческой натурой, кто-то обладал харизмой, кто-то занимался безопасностью. Но достаточно быстро эти лепестки разбросал ветер времени, и каждый начал пожирать плоды юношеских трудов, оставаясь формальным учредителем. «За восемь лет работы Компания построила и открыла всего девять новых торговых центров, хотя за предыдущие годы работы мы открывали порядка двух торговых центров в год». Кроме того, как постепенно выяснилось со временем, возникли перекрёстные адюльтеры среди шестёрки героев: «она перестала вырываться и безвольно обмякла у стены. — Мне кажется, у Лёвы с Эллой роман». И отсюда проистекает второй важный сюжет, поднятый в книге Анны — это отношения отцов и детей. Человек, не занятый делом, вряд ли может оказать существенное влияние на ребёнка.

И здесь снова Анна взяла меня за живое, поскольку я сам отец четверых детей, и отношения с ними вряд ли можно назвать простыми. Конечно, со времён Тургенева многое изменилось, но отрицание отпрыском своих родителей является онтологическим моментом продолжения жизни. Конечно, есть случаи принятия детьми профессий своих родителей, но это скорее является исключением, подтверждающим общее правило. И сама Анна явилась свидетельством этого, она не продолжает реальное дело отца, а отправилась в сложное символическое плавание по морям литературы. И, возможно, здесь кроется ответ на вопрос: почему автор рисовал героев карикатурно, неглубоко. Возможно, именно детское отрицание, которое не подразумевает глубокого копания в причинах, явилось главным лейтмотивом книги, поскольку отрицать всегда проще, чем разбираться в психологическом белом. И, вынеся собственную проблему во главу книги, Анне удаётся построить

в конце концов вполне динамичный сюжет, где главным героем, помимо детей олигархов, является дальний родственник, некий Никита – демиург искусственного интеллекта. Возникает не просто противостояние отцов и детей, но конфликт виртуального и реального поколений, когда дочь говорит отцу: «вы ведь совсем не разбираетесь в том, что происходит вокруг, в разных трендах типа крипты, мемных акций, NFT-активов, понимаете? Как устроена метавселенная, знаете?» И для привлечения виртуальной части читателей Анна активно использует в тексте романа групповые чаты. Возможно, за этим будущее и размашистые тексты литературных произведений скоро будут выстраиваться в узкие столбцы, более привычные молодёжи.

Уже упомянутое повсеместное употребление детьми мата и отсутствие этических границ привело к такому же отсутствию базового чувства уважения между поколениями, которое раньше тоже формировало некие межпоколенческие границы. Это уважение, когда оно ещё было, имело разную природу. Дети уважали родителей за тот жизненный путь, который они уже прошли, а родители уважали детей за потенциал предстоящих свершений и возможного собственного продолжения себя в будущем. Но если отцы в романе ещё как-то могли предположить преемственность поколений, то дети, видя, как живут отцы, желают целиком снести всё нажитое ими. Возникла революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. И, подобно террористическим группам девятнадцатого века, приведшим к революции семнадцатого года, возникает альтернативная обычному интернету виртуальность Даркнет, где живёт криминал. Это своеобразный виртуальный Гарлем, внутри которого отдельная часть молодёжи собирается в идейную группу Chostnet, занимающуюся раскулачиванием «буржуев» и осуществляющую хакерские налёты на их финансы. Они выражают собой в некотором смысле «совесть» эпохи.

И здесь мы видим один из самых ярких и интересно сделанных эпизодов романа, когда виртуальные террористы закрыли главного героя «Книги Президента» в собственном пентхаусе на каком-то там сотом этаже. Они обесточили все внешние источники, в том числе возможность открыть электронно управляемую наружную дверь в квартиру. Теоретически в таких квартирах должен быть собственный лифт, но и его обезвредить несложно. Вспоминается поговорка: на любого мудреца довольно простоты. И, закрыв Президента в квартире, «совесть» в виде ИИ начинает разговаривать с ним:

...Теперь молодые и зелёные могут уничтожать взрослых и опытных, а раньше это было невозможно. <...> Вы думаете, что забрались высоко, но всегда есть кто-то сверху.

– Нет.

– Что нет?

– Сверху никого нет, я живу на последнем этаже.

– Смешно. <...> А мне сказали, что у вас нет чувства юмора.

Кто-то из великих учёных сказал, что научные парадигмы меняются не вследствие появления новой научной идеи, а вместе со сменой поколений. Никто не хочет отдавать не только свои деньги, но и свои убеждения. Теперь появились новые способы виртуальных революций, которые затрагивают и реальность. И возможно, здесь Анна оказалась прорицательницей.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталия Петрищева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 25.07.2025.
Выпущено в свет 25.08.2025.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13